



ЮНОСТЬ



11
1975



М. ЛУКЬЯНОВ. Плакат.

К 25-летию мастерской плаката Московского художественного института имени В. И. Сурикова.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



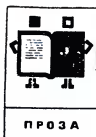
*С 58-й годовщиной
Великого Октября,
дорогие наши читатели!
Встретим XXV съезд КПСС
ударным трудом
и отличной учебой!*

Журнал
основан
в
1955
году

11

[246]
НОЯБРЬ
1975

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



Евгений
БОРИСОВ



У КОСТРА

РАССКАЗ

Их было трое. Как-то собрались у одного, у Павла Ивановича, отметить День Победы. Прикололи, как водится, ордена и медали на пиджаки, жен своих тоже пригласили, и все было хорошо за праздничным столом. Как и полагается в праздники, выпили. Песни запели. Военные, из тех времен. Про темную ночь, про синенький скромный платочек.. Правда, тут больше жены старались, а они все помалкивали. Слушали да вылезали часто из-за стола на кухню покурить. Но и там между затяжками тоже молчали. Не оттого, конечно, что не о чем было говорить или вспомнить было нечего — еще сколько было-то! — но тут такое дело...

Они понимали друг друга, потому что молчали-то об одном. Были они в том возрасте, когда у людей, даже вовсе ничем не похожих друг на друга, в глаза скорее бросается не это их несходство, не цвет волос, скажем, не рост и не походка, а нечто другое, что сделало их до родственной близости одинаковыми, — прожитые ими годы. Но и то верно — не в женихи выбирать. Теперь только разве в президиумы, а туда, как известно, не за красивые глаза, не за осанность сажают. Иначе бы одному из них, Павлу Ивановичу, и не сидеть за красными столами: с хромой ногой да с палкой — не лучшее украшение.

А его-то и выбирали. И в тот день, о котором речь, на городском торжественном собрании он как раз в президиуме блистал, а два друга его, бело-волосый, как лунь, Илья Васильевич и резковатый в движениях молчун Владимир Сергеевич, — эти из зала, из третьего ряда на него глядели, гордились им и невольно завидовали.

Потом уж и в гости пошли.

Во время очередного перекура, когда жены, оставшись в комнате, в какой уж раз запели про синенький скромный платочек, Павел Иванович вдруг нарушил молчание.

— А время-то идет, — сказал он задумчиво. — Может, все-таки стóит, пока не поздно? — Он вопросительно взглянул на товарищей. — Собраться бы да махнуть, а? Теперь и катер туда ходит, я узнавал.

— В шесть ноль-ноль, — тут же сообщил многословный Владимир Сергеевич.

— Четыре часа всего ходу, — уточнил третий. — Завтра бы и махнуть. Чего зря откладывать?..

...Речной катер, почти пустой, добрался до места, где не было никакого причала, и потому он приткнулся носом к берегу, и мальчишка-матрос, похихивая папирской и двяясь прихоти странных пассажиров, пожелавших сойти на неподходящем берегу, сбросил для них жиденькие сходи, и трое в резиновых сапогах и стеганках сошли на песок.

Шли они долго, с передышками, потому что трудно было идти по песку.

Рисунок
Маринны
ПИНКИСЕВИЧ.

Павел Иванович со своим костылем быстро умаялся, но виду не подавал.— Какая сила влекла их все дальше и дальше. Как прошагали они километров пять. Но вот на излучине, там, где река заребрилась каменистым порогом, один из них остановился, стал оглядываться.

— Сдается мне,— сказал он,— что здесь... Здесь надо искать, это место...

— Похоже, что так,— согласился второй,— очень даже похоже. И перекат этот забуст... Он мне и теперь еще снится. Только что ты теперь искать, мыто все перемыто.

— Сколько воды утекло...— сказал третий. Все согласилось: действительно, много ль отыщешь на песке через двадцать то лет?..

Но они еще долго ходили по берегу, месили ногами песок и молчали. Потом поднялись к лесу и там тоже бродили, приглядываясь к каждому деревцу, под каждый кустик заглянуть старались и словно бы спрашивали у них: «А вы-то нас помните?» Павел Иванович все шуровал палкой в пожелухой траве, водил ею, точно минометом. Но ничего, никаких следов не нашли.

Опять спустились к реке, облюбовали местечко — между водой и лесом, без ветерка,—разложили свой первый костер. И порешили: здесь, на этой земле, возле быстрого волжского переката, где много лет назад, обжигаемые студеной октябрьской водой и фашистским свинцом, летящим из прибрежной за-сады, их отряд отходил на левый берег,—здесь отныне собираться им, бывшим партизанам этого отряда. Так и было до поры. И пять и шесть лет подряд. Они приезжали сюда в один и тот же день, девятого мая, и зажигали костер.

...Три года назад, весной, перед самым ледоходом, умер Владимир Сергеевич. Обычно он первый оповещал их о ледоходе, потому что жил на набережной, окнами на Волгу. Он звонил по телефону сначала Павлу Ивановичу, затем Илье Васильевичу, докладывал:

— В восемь ноль-ноль в районе нового моста началась подвизжка.— И кричал радостно:— Тронулась, родимая! Считай, что дожили. Теперь уж скоро!

От этого дня они и начинали считать: сколько им осталось ждать поездки.

И вот они потеряли наблюдателя.

Неделя, кажется, прошла после похорон... К Павлу Ивановичу вдова покойного заглянула. Принесла удочку трехлопную, баночку из-под леденцов с крючками и прочими рыбьими принадлежностями и котелок — все, что Владимир Сергеевич возил с собой «по предписанию».

— Может, согдится,— сказала она сквозь слезы.— Не выбрасывать же.— Уже в дверях спросила:— Как нынче-то, без моего... Поедете или уже все?

— Как это все?— Павел Иванович даже возмущился.— Почему это?... Наоборот. Теперь и за него, значит... Иначе и быть не может.

— И ладно,—отозвалась вдова,— и хорошо. Тогда у меня просьба... Веточку какую, может, отломите или кустик какой... К нему бы на могилку...

И опять той весной на берегу Волги горел костер. Только теперь у огня сидели двое. Два человека, не рыбаки и не охотники, глядели молча на огонь, а рядом, на клеенчатой скатерочке, стояла початая бутылка; они уже выпили малость — «за тех и за него, за Сергееича...»,—а что осталось в кружках, выплеснули в костер и не притрагивались больше к бутылке, забыли про нее; время от времени один из них поднимался, подбрасывал дровишек в огонь, и тогда притухший было костер оживал снова, и они

опять слышали жаркое его дыхание, и им казалось, что там, в огненной глубине его, в эти минуты идет какая-то непостижимо трудная работа, от которой и рождаются на свет тысячи раскаленных добела искр. Ощущая странную причастность к этой работе огня, они неотрывно и долго следили за метущими к небу искрами, старались поймать тот неизбежный, неуловимый миг исчезновения их и не могли успеть, потому что за тысячами пропадающих во тьме искр взметались еще тысячи и было в этом движении что-то неистребимо, вечное.

В такие минуты, чувствуя тайное родство с огнем, они, торжественно-молчаливые, думали о себе... Им казалось, что и сами они, простые смертные, два персональных пенсионера, деды своих внуков, члены разных советов и многих общественных комиссий, кавалеры боевых орденов, даз больных, доживавших век старика, ведущих свой род от безлошадных тверских крестьян, что оба они если и не вечны сами по себе, в своей плоти и крови, то в чем-то в самом главном у них тоже есть продолжение, есть что-то такое, не богом, конечно, и не другой потусторонней силой данное, а собственной их жизнью заслуженное.

Они не говорили о том, что же такое в них — это главное. Должно быть, потому что одинаково понимали и чувствовали его и в себе и в других, в своих сверстниках, поэтому и не сомневались, что ничего главного, чем пережитое, выстраданное и отвоєванное ими, и быть не может. Столько думано-предумано было возле того костра...

Н очью сквозь тягостную бессонницу, ненадолго заглушаемую болезненно чутким сном, Павлу Ивановичу почудилось, будто на Волге тронулся лед. И это было странно. Странность была не в том, что такого быть не могло — могло, самое время! — удивительно было другое: вот так лежать в постели и в какой-то миг до полной уверенности, до ясного видения и до отчетливой слышимости ощущать то, что творится не где-то рядом, а на большом расстоянии, за кварталами высоких домов, пролетами улиц и переулков; именно так и было: он лежал в постели и чувствовал далеком, рождающемся в ночи движении, и слух его цеплялся за эти, еле различимые некомнатные звуки.

Сначала что-то рокотало глухо и сдержанно, будто больной, превозмогая великую боль, вздыхал, ворочался, постанывал. Прислушиваясь к звукам, Павел Иванович и сам уже страдал чужой болью и думал о происходящем, как о чем-то живом, почти человеческом.

Он понимал, откуда пришла к нему эта ночная острота, болезненная чуткость души и слуха и отчего все происходящее там, на апрельской реке, представилось осязанным почти страданием.

Вчера на «Скорой» увезли в больницу второго друга, Илью Васильевича. Врачи сказали: инфаркт.

Накануне, два дня назад, они были с ним на заседании совета бывших партизан, говорили об очередном партизанском слете — где и когда его проводить, — и Илья Васильевич, сидевший рядом с Павлом Ивановичем, шепнул ему:

— А хорошо бы, Иваныч, собрать всех партизан на наш костерок. Место — лучше некуда. Как считаешь?

— Подумать надо, — ответил Павел Иванович, — невозможно.

Потом они шли домой и обмозговывали. Дело, понятно, было заманчивое, но смущало одно: ведь на карте области немало других мест, где сражались партизаны, их же земляки, и, конечно, встанет вопрос, а почему именно здесь, а не в поселке Пено, скажем, и не в Андрееполе?.. И не получится ли так, будто они сами о себе напоминают, о своих особьих заслугах? А какие они особенные? Воевали, как все... И решили: пусть так и будет — они опять соберутся вдвоем, поедут к себе и запалят костер до неба...

И вот нá тебе — инфаркт.
Было о чем подумать Павлу Ивановичу в эту ночь.

Размышлял он и о том, много ли у него самого-то осталось из, этих ледоходов? И остались ли? Может, этот, нынешний, и есть тот самый?..

Три дня и три ночи двое врачи не знали, что будет завтра. Но прошло еще время, и, кажется, прояснилось: из онемелых губ больного родились невнятные, еле слышные слова... Кто-то другой, услышав их, вряд ли бы и понял, подумал бы — бредит человек, но у постели больного сидела жена его и Павел Иванович. Они услышали и поняли.

— Как... костер... наш... — бормотал больной. — Пусть... костер...

— Ясное дело, о чем речь, — торопливым шепотом откликнулся Павел Иванович. — Ты уж лежи знай, не рыпайся, все будет как надо. Еще и вместе посидим, погреемся у костра...

Для себя же он твердо решил: пусть дождь, пусть снег, пусть что угодно, а он поедет! Один поедет, за них за все! Даже рюкзаки своей походный приготовил, и билет на катер уже лежал в кармане, и заветная четвертинка была куплена — на лучший случай, если «мотор» не забарахлит...

А «мотор» и забарахлил... Утром, как ни бодрился перед женой, не спрятал своей тревоги.

— И не выдумывай. — Решительная, она встала перед ним у дверей. — Наездилась, хватит! Туда же захотел, следом...

С рюкзаком, перекинутым через плечо, он подошел к ней и сказал тихо, но так, что продолжать разговор не имело смысла:

— Не надо.

Она поняла и отступила.

— Там я носки тебе подложила в рюкзак, — тоже очень тихо сказала она, — шерстяные, в правом кармане. Будет зябко, поддень под портянки...

Быстроходная «Заря», курсирующая теперь по этому маршруту, укоротила рейс почти на час, и станочка приблизилась к тому месту километра на три, так что идти оставалось всего ничего. Павел Иванович, как спустился на знакомый бережок, так сразу и повеселел, почувствовал: отпустило в груди, дышать стало легче, вольнее. А тут и дождичек, напугавший его с утра, притих, а скоро и совсем перестал, и где-то сквозь легкие, летучие облака уже проклюнулось майское солнышко. Разгуливался денек.

Павел Иванович прибавил шаг. Ему не терпелось поскорее добраться до места, скинуть рюкзак, поджечь дров к кострищу да развести огонь. Как хорошо, просто здорово придушили они однажды — собирать дровишки про запас. Словно чувствовали, что кому-то из них они ох как кстати окажутся. Так и вышло: много ли он один насобирал бы теперь по лесу?..

Павел Иванович так разошелся, так размахался своим костылем, что не заметил, как миновал последний, против белого бакена поворот, за которым

сразу должно было открыться то место, уже издали серебрившееся порожистым перекатом, а когда увидел его, тут же замер, остановился как вкопанный... Ноги, и без того подуставшие, словно налились свинцом и как будто вросли в вязкий приречный песок. Лоб покрылся холодной испариной, и опять, как утром дома, сдавило грудь...

Там, на знакомой излучине, где десять лет кряду и в дождь и в снег, в один и тот же день они снимали с плеч свои рюкзаки, на том самом месте, которое они по неписаному праву первооткрывателей считали своим, горел костер. Он еще только разгорался, и было в нем больше дыму, чем огня, но двое уже возлились, хозяйничали возле него. А рядом — как он сразу-то не заметил! — поближе к лесу, стояла голубая, как лоскуток весеннего неба, палатка.

«Да нет, — попробовал успокоить себя Павел Иванович, — быть такого не может, это какая-то ошибка. Тут что-то не так...»

Но он понимал, что никакой ошибки нет: костер горел на том самом месте... Конечно, и дровишки припасенные пошли в ход, и все, все теперь полетит кувырком...

Жаркая обида от совершающейся, а скорее, уже свершившейся несправедливости обожгла ему лицо. «Ну, нет, — сказал он себе, — мы еще посмотрим, мы еще разберемся, что к чему... Развели, понимаешь, другого места не нашли... А по какому такому праву!..»

И еще крепче сжав рукой костыль, зашагал напрямик к костру.

Сидевшие у костра — один, пристаривший себя бородею, другой в очках, похоже, постарше первого, — тоже заметили его. Они возлились у огня, то и дело поглядывая на хромого путника. Вдвоем, да с расчудесным, поблескивающим на солнце самоваром, да с удочками, чутко нацелившимися у воды на счастливых улов, и с веселой палаткой, им было, наверное, хорошо на этом вольном берегу, под пригревающим солнышком. Гостей они не ждали.

А Павел Иванович уже подходил к костру.

— Денё добрый, — сказал он глухо и неприветливо, останавливаясь шагах в трех от огня и враждебно косясь на самовар, над которым уже струился и плавился сизоватый дымок.

— Привет, привет! — торопливой скороговоркой, как бы между прочим, откликнулся бородач. На подошедшего он даже не взглянул — шуровал палкой в костре, зачем-то распалая его.

Из-за костра от палатки сверкнули очки второго. Он заинтересовался:

— Как тут с рыбалкой, отец? Вы, небось, здешний... Где тут они, заповедные?

— Заповедные... У Павла Ивановича аж дух перехватило, захотелось сказать про эти самые, заповедные, чтобы знали двое молодчиков: не одной удачливой рыбалкой да охотой определяются заповедные места, есть кое-что другое... Но сдержался, сказал, как бы примериваясь к разговору:

— Ишь, как у вас, вынь да положь заповедное. А ты бы и искал. Тут вон их сколько, у каждого свое...

— А это чем плохо? — поднявшись над костром, бородач широко развел руками. — Красота, кто понимает.

— Вот-вот, я и вижу... Вижу, какие вы охотнички до красоты. — Павел Иванович снова возрился на самовар. — Схемались, будто на ярмарку... Цыган вам еще не хватает.

— Не хватает, — снова подзадорил бородач, — так мы и не настаиваем. Извините, как говорится, за компанию. А насчет цыган мы подумаем.



Он хохотнул и снова обратился к костру, как бы за-
был про Павла Ивановича. Но тут очкарик, до поры
не вмешивавшийся в разговор и теперь, похоже,
смекующийся что-то, спросил у Павла Ивановича:

— Чего негодуешь-то, отец? Или место твое занял? Так бы и говорил. Потеснились бы. В тесноте, сам
поймешь...

Бородач с явным неодобрением покосился на оч-
карика и снова съязвил:

— Долго спишь, батя. Свято место пусто не быва-
ет. Да и не написано нигде, чье оно...

— Написано, еще как написано! — вдруг сорвался
на крик Павел Иванович и даже сам испугался, так
неожиданно это вышло у него. Закончил, еле сдер-
живаясь: — Да не всякий, понимаешь, читать это
умеет... Не каждому дано. Привыкли, понимаешь...

Двое полувопросительно, полудивленно перегля-
нулись.

— Привыкли, понимаешь, на готовеньком... Вот и
красота им, видишь ли, подавай. А чего она стоит,
вот эта красота?.. — Голос Павла Ивановича накалил-
ся и окреп. — Знаете ли вы, чего она стоит? А ка-
кую расписочку за нее люди здесь оставили? Знаете?
Кровью писанная расписочка...

Теперь он уже не стоял на месте; прихрамывая, он
топтался перед костром, и кисть его, зажатый в
руке, то и дело угрожающе волнует над огнем, над
головками смутившихся парней. Всплунул и сбавил
на крик, он продолжал что-то говорить им, а они,
пораженные и растерянные, молчали. Наконец боро-
дач не выдержал.

— Будет, остынь, батя,— перебил он. Обращился
к очкарику.— Я что-то не соображу, с чего это он
подхватился...

— Как же, где уж вам! — Павла Ивановича забра-
ло окончательное. — Вам бы чего другого сообра-
зить — на троих или как там у вас, — а это где уж.
Явились, понимаешь, на готовенькое, расплали ко-
стер...

— Да с чего сыр-бор-то, отец? Растолкуй нам, не-
грамотным,— на этот раз выставил очкарик,— объяс-
ни толком, может, мы и поймем...

— Да брось ты с ним связываться,— теряя терпе-
ние, сказал бородач,— не видишь, что ли? Мужик
вожжа под хвост попал.— Разбжавшийся от реки
ветер влетел в костер, бросил в лицо бородач
едкого дыму, тот засверлил кулаками глаза.— Ты, ба-
тя, зануда, выдать, порядочный. Хуже дымного ко-
ста. Этот хоть дымит да греет, а от тебя — один дым...

Очкарик поглядел на него из-под очков:

— Ты сам-то не заводись... Мало ли что с челове-
ком...

— А чего он, в самом деле? Надо было тащиться
сюда из города, себе и другим нервы портить. Си-
дел бы со своей старухой у телевизора, глядел бы
парад...

Он пошел от костра к палатке, с досадой махнул
рукой: отдохнули, мол, порываючи... Но Павел И-
ванович успел-таки крикнуть ему вдогонку:

— Ты старуху мою не тронь, нос еще не дорос!..
Отрастили, понимаешь, борода и занервничали.
Больно нервные стали, не рано ли?

— Так его, отец! — усмехаясь и явно склоняя
Павла Ивановича к примирению, сказал очкарик. —
Нечего с ним церемониться, сунем вот бородач в
костер, и дело с концом. Жена еще спасибо скажет.
— Вот, вот,— отозвался от палатки бородач,— по-
говори с ним, Сань, ты умеешь... Выясни, что такое
хорошо и что такое плохо, а то у нас, видишь ли,

все не так... Дрова не жги, самовар не разводи...
Теперь вот и до бороды добрался.

— Да жгите, палите все подчистую! — снова вы-
крикнул Павел Иванович, но выкрикнул как-то усталю,
без надежды кому-то что-то доказать. — Думаете,
мне дров жалко, не в них дело... Я вот понять хочу,
откуда и кто вы такие и ради чего вы все это...
Вот здесь вы ради чего? И вы, и костер ваш, и само-
вар этот... Для удовольствия или еще как? Что вы за
люди такие, нынешние?

Теперь и Саня очень серьезно и внимательно по-
глядел на Павла Ивановича, будто впервые увидел
его, и даже в затылке почесал. Признался:

— А и верно, зачем мы?... Приехали вот, а не зна-
ем... — Он глядел на Павла Ивановича, будто ждал,
что тот поможет ему разобраться в непонятном этом
деле.

Но и Павел Иванович, обезоруженный откры-
тым признанием очкастого, не нашел что сказать.

— Я же говорю, без пол-литры не разберешься.—
Это бородач вернулся к костру с рюкзаком. — Еще и
биографию рассказать придется... Чем занимались
до семнадцатого года...

И тут, будто кстати, произошло нечто такое, что
наконец пригласило то затухающую, то вновь го-
товую разгореться перепалку... Что-то запылело,
заклокотало, зафыркало за костром, и Саня, свернувшись
очками, ошалело метнулся туда, закричал заполошно:

— Держи его!

Павел Иванович не сразу сообразил, кого же он
кинулся догонять, потом догадался — самовар... Он
даже усмехнулся себе позволив, подумал при
этом: «Ишь, как разыграл, стервец! Как артист на-
стоящий!»

А тут еще и бородач выкинул номер... Тоже со-
рвался с места, как ошпаренный. Одолев в два лоси-
ных прыжка расстояние от костра до реки, он уже
стоял по колено в воде и, замерев в нескладной,
смешной позе, протягивал руку к одной из лесок, на
которой суматошно подпрыгивал и вызывал кол-
локольчик.

— Да дергай, чего ты! — подал Саня голос от са-
мовара.

Бородач что есть мочи рванул леску и стал торо-
пливо перебирать руками, вытаскивая ее из воды.

— Не сутеси, спокойней! — охолокал его очка-
рик. — И втроем старайся вести, дай ей заглотнуть
кислороду.

А в воде уже трепыхалось что-то, какая-то сила,
невидимая еще, упорствовала отчаянно, и, подда-
ваясь этой борьбе, рыбак, словно лунатик, шагнул
глубже, навстречу своей удаче, черпнул голенищем
воды...

— Подсачок бы взял, уйдет ведь!

Саня нервничал на берегу.

Но тут над водой, ощерившись колючим оперени-
ем, затрепыхался пугчелазый, осклизлый ерш разме-
ром чуть больше указательного пальца...

За спиной Павла Ивановича раздался хохот.
Оглянулся. Саня, как стоял у самовара, так и пова-
лился рядом, ничком на траву, и теперь трясся в
безудержном смехе, постанывая. И Павел Иванович
тоже не сдержался: смеясь, глядел на незадачливого
рыбака.

— Ну, паразит, ну, зараза! — Мокрый выше колен,
конфузясь в ухмылке, бородач вылезал из воды. — А
завонил-то как! Как большой. Ну, надо же, нахлобо-
га! Всю обедню испортит!

Саня на берегу досмеивался. А Павел Иванович тем временем скинул с плеча рюкзаки, неловко присел на него: решил закурить... Он не знал еще, что будет делать дальше, но что-то подталкивало ему: нет, не поделить ни этого костра, не для него горит он, а потому и не будет ему ни света, ни тепла от него. Но почему-то медлил, для чего-то удерживал себя возле костра... вот и закурить решил, хотя курить-то ему не хотелось.

Он достал из пачки примятую папиросу, повертел ее в пальцах, стал искать по карманам спички, но почему-то не нашел... В первую минуту это обстоятельство не смутило его — вот он, огонь-то, рядом... Не свой, но прикурить можно. Пригнувшись к костру, он отыскал раскаленный до белого свечения уголек, обжигая пальцы, выхватил его из костра, побросал с ладони на ладонь, потом ткнул в уголек папироской, стал раскуривать... И вдруг словно ожегся: спички... он искал их и не нашел, потому что... Память выхватила недавнее, из вчерашнего дня: он был на кухне, отложил два коробка, хотел завернуть их в целлофановый мешочек — для сохранности, а мешочка под рукой не оказалось, и он оставил спички на столе.

Знакомый ноющий холодок снова проник в грудь, под сердце, и голова пошла кругом, и ползала земля из-под ног, зарыблило, запылило жарким пламенем в глазах... Рука машинально потянулась к земле, за костылем, ища в нем привычную опору. Горячее дыхание костра касалось его лица и рук, и глаза, остановившиеся в недоумении, смотрели прямо на огонь, но он не видел и не чувствовал его. Другое выдвинулось ему: вот он один на этом до последнего, кажется, камешка, до последней головешки знакомом берегу, стоит с рюкзаком за плечами, а в рюкзаке у него есть все и даже четвертичка. Будь она неладна, но нет какой-то малости, сущего пустяка — обыкновенного коробка спичек, цена которому всего один копейка. Но как бы много он отдал теперь за него!

И все же как будто было какое-то обещание, что-то успокаивало Павла Ивановича, сулило ему другой, вполне благополучный исход, и малая эта надежда, не осмысленная еще, отогнала неприятный, сказавший холодок от сердца, вернула его к реальности. «Фу ты, дьявол! — будто освобождался от надежды, подумал он, — чего это я запаниковал-то? Ничего же не случилось еще... Забыл спички, старый дурак, только и всего. Так что бы теперь, волком выть, что ли? Не один же я здесь, не на Северном полюсе... Прикурить вот сумел, и костер, надо будет, свой разведу. Жалко огня им, что ли? Наберу головешек или угольков...»

Теперь он совсем успокоился, вспомнил про папиросу, затаился без удовольствия и отстрелинул ее щелчком в костер. И тут только заметил: двое, хозяева костра, подтащив поближе к огню самовар, уже сидели возле него, и кружки с дымящимся чаем стояли перед ними на скатерточке; они о чем-то перешептывались, поглядывали на Павла Ивановича... Но вот Саня сказал:

— Отец, ты это... Вынимай давай свою походную, иди к нашему самовару, он у нас, небось, тоже заслужонный, с медальками... Тянем по кружечке, на мировую, так сказать, пока на ушину не наловили...

Посторонне, как бы не признавая еще за своего, а только приглядываясь, Павел Иванович поглядывал на «заслужонный» самовар и, чувствуя до тошноты неприятную горечь во рту от двух папиросных затяжек, подумал, как о желанном, о глотке душистого чая и, кажется, уже сделал какое-то неуловимое, ему одному понятное движение — за кружкой, к своему рюкзаку... но что-то удержало, вернее, подтолкнуло

его... Он астал, опираясь на костыль, и, припадая на правую ногу, пошел прочь от костра. Куда, зачем?

— Батя,— крикнул вдогонку бородач,— а мешок-то, мешок свой забыл!

— Кончай, Генчы,— осуждающе сказал Саня.— Оставь человека. Рюкзак здесь, значит, вернется.

А Павел Иванович все дальше и дальше уходил от костра, от реки. Он поднимался к лесу.

Костру он вернулся уже под вечер, когда солнце скатилось к реке. В лесу было сумрачно и стыло, от земли, из лесных овражков с залежалыми, еще не ставшими снегом тнлуо погребенным холodom. Ноги у Павла Ивановича стали замерзать в резиновых сапогах, и все в нем словно бы поостыло, повыветрилось на весеннем ветере, и одно-го теперь хотелось — тепла.

Нет, было и еще какое-то желание: услышать рядом человеческий голос, почувствовать возле себя тепло чьей-то жизни, пусть незнакомой, случайно встреченной, пусть непонятной, но жизни... И чтобы кто-то участливо слушал его, и сам он, благодарный за участие, смог бы тем же ответить...

Бродя по лесу, Павел Иванович о многом успел подумать. Он вспомнил, как однажды, уже вдвоем с Ильей Васильевичем, они заговорили у костра... Прежде ни к чему было: приезжали сюда вдвоем и никого, казалось, не нужно им было. Те, ради кого они приезжали, уже никогда не смогут быть с ними, потому что оттуда, куда ушли они, не возвращаются... Октябрьской ночью сорос первого года их ушла и скрыла студеная волжская вода. Да и других, кто вместе с ними, живыми, вышел тогда из-под огня и жить остался, теперь тоже раз, два и обчелся, их уже не соберешь. Но вот и они вдвоем остались... А что же дальше?

В тот вечер они впервые усомнились в том, в чем прежде не сомневался ни один из них: а все ли, как надо, делали они? Приезжали, сидели вдвоем у огня, точно от людей хоронились. А для чего, спросить, хоронились-то? Чего прятали? Или кто мог отнять у них что-то сокровенное, им одним памятное, или обидеть кто мог?

И вот, оказавшись наедине с собой, он снова вспомнил тот разговор и теперь, кажется, что-то начинал понимать... Правда, того ответа, который они искали вдвоем, еще не было, но Павел Иванович знал, где его искать, и потому невольно, блуждая здесь день по лесу, он то и дело возвращался мыслями к тем двоим, оставшимся на берегу, к чужому костру...

Да, глупо, нескладно все вышло. С чего-то завелся, разнервничался попусту, дровами стал попрекать, а дрова-то, пропади они пропадом, гори они огнем — won они, как лежали, так и лежат целехонько на своем месте, где их упрятали. Конечно, с дров этих все и пошло. Сплоховал. Зря сплоховал. Хотел сразу повернуть назад, попятиться перед ребятами, да не смог... Потом ходил по лесу, то укорял, то успокаивал себя, но уже знал, что рано или поздно вернется к костру, не сможет не вернуться. И дело, конечно, было не только в рюкзаке, который остался там, на берегу...

И еще ему хотелось, чтобы кто-то из них — может, тот ершистый, с бородой, или Саня-очкарик — вдруг забеспокоился о нем, пошел искать его по лесу или крикнул бы ему, позвал. И он невольно замедлял шаги, приостанавливался вдруг — слушал. А лес вокруг и рядом жил всеними пробуждающе-

мися голосами, и голосов и звуков разных было в нем великое множество. И другие, нелесные звуки, нет-нет, добирались сюда, шли они от реки, но разобрать их было невозможно, мешал непрестанный то затухающий, то вновь нарастающий гул моторных лодок. А кто-то и верно как будто покрикивал там... Или ему это только казалось.

И вдруг совсем явственно донеслось:

— Ба-тя-а! Оте-е-е-е!

Павел Иванович замер. Прислушался: не ошибся ли он?

— Батя-а-а! — тут же раздалось снова. — Давай к костру-у-у, уха-а поспела-а-а!

Оказывается, он и ходил-то рядом. А может, это к вечеру так далеко и громко разносится..

...Он появился у костра, когда над огнем в котелке уже кипело варево, а в бурлящей пене плясали, торчком выпрыгивая над ней, рыбы хвосты. Костер потрескивал весело и жарко.

— Ну, батя, ты даешь! — почти радостно воскликнул бородач. — Все глотки пооборвали кричаши. И рыба вои извелась вся. Да и это... — Он прищелкнул пальцем под бородой. — Пора было...

Саня хитровато шурился у костра, снимал котелок с огня.

Потом, когда уха дымилась в деревянных расписных мисках — и для Павла Ивановича такая же нашла — и что надо было разлит по кружкам, трое поглядели друг на друга с одинаковым, сдержанным удивлением — чего не бывает, мол, на свете: утром хит водой разливай, а теперь вот с кружками рядом сидят, — но тут же забыли об этом, и все, похоже, вспомнили о другом, о чем каждый, наверное, не раз подумывал сегодня, вспоминая так, как умело помнит сердце, как понимало оно, как чувствовалось... Теперь они держали кружки, ждали, и ясно было: двое ждали одного, и он, Павел Иванович, знал, чего ждут они от него... Но он не спешил. А не спешил потому, что не мог вот так сразу сказать то, что, не раздумывая, сказал бы, если бы рядом сидели не эти двое, а старые его друзья. Их, старых друзей, теперь не было рядом, а этих он совсем не знал, и они его тоже не знали, и надо было что-то понять, быть уверенным в чем-то, чтобы говорить им те же слова. И потому он спросил сначала:

— Ну, а у вас, у молодых, за что нынче пьют?

Двое переглянулись.

— Вообще-то за то же, что и у вас, — сказал Саня. — В такой день...

— Само собой, — поддержал другой.

— Выходит, за одно. — Павел Иванович поднял кружку, и две другие кружки стукнулись краями об нее. — Значит, за это и пьем, за нашу Победу... И за них, которых нет теперь с нами. Так что вот так...

Он первый выпил, а остаток по привычке выплеснул в огонь, чтобы горелось. Двое, не сговариваясь, тоже плеснули из своих кружек. Потом была тишина, и слышно было, как течет река, как потрескивают, поют в костре дрова, как бьет, играя на перекате, рыба... Огонь костра отгородил от себя непроницаемой стеной все, что было там, за его кругом, и только звезды над их головами горели ярко и чисто. И вдруг что-то вспыхнуло, народилось еще, но не в небе, а на земле — заглохло и замерцало отраженно в воде...

— Вон еще зажег кто-то, — почему-то шепотом сказал Саня, — это на том берегу. — И попросил Гену: — Давай нашу, а?

Гена не отозвался. Как будто не услышал. Он не

спеша докуривал сигарету, задумчиво глядел на тот далекий, только что народившийся в ночи огонь чужого костра, словно ждал чего-то. Но вот, мелкнув светлячком, недокуренная сигарета полетела в огонь, Гена еще подождал немного и зашел...

При первых словах, которые еще и не были песней, Павел Иванович замер: так неожиданно это было — услышать вдруг у чужого костра давно знакомые слова, услышать песню, которую столько раз... Нет, не в шумной праздничной застолье, не по телевизору, а именно здесь, на этом месте, на этом берегу, только у другого, у своего костра... Вот в чем было дело!

Горит свечи огарочек, гремит недалёкий бой.

Налет дружок по чарочке, по нашей фронтовой...

Ну, конечно же, все так и было — и ночь, и костер, и эта песня... Они сами пели ее, и Павел Иванович, бывало, запевал, а двое подхватывали. Но прежде кто-нибудь из них вот так же и предлагал: давай, мол, нашу... Нашу. А теперь эти двое пели, и Павел Иванович, замирая сердцем, слушал их.

Где елки осыпаются, где елочки стоят,

Который год красавицы гуляют без ребят...

Притихший и удивленный сидел у костра Павел Иванович, все словно замерло в нем, и он чувствовал, что вот сейчас, не в эту, так в другую минуту, с ним что-то непременно должно случиться — он или заплачет, или встанет и уйдет от костра, чтобы потом заплакать...

«Вот тебе на! — бормотал он растроганно, стараясь удержать слезы. — Вот и пойми их, этих нынешних, поди разберись, откуда что у них... Вот и песня эта, какими такими судьбами добралась до их сердец и что она говорит им? Ведь столько песен разных насочиняли, а они вот, черти бородастые, нашу поют, да еще как поют-то! И тот самый «недалёкий бой»... Когда они его слышали, где?»

То ли от близкого огня, то ли от мыслей этих теплая волна затопила, затуманила глаза, и сквозь туман, который не хотелось уже ни сморгнуть, ни смехнуть рукой, увиделось Павлу Ивановичу другое, то, что весь день как будто стояло незримо с ним рядом или за спиной... Увидел он всех, кто прорывался вместе с ним в сорок первом через эту реку, сквозь шквал свинца, ударивший из-под кустов... Теперь они словно сошлись сюда, к костру, и трелись у огня и слушали песню, которую ни спеть, ни услышать им не довелось.

Г. Калинин.



Юрий
МАСЛОВ

УРОКИ МУЗЫКИ

РАССКАЗ

Рисунок
М. ЛИСОГОРСКОГО

В аэропорту Комраков взял такси. Взял не потому, что любил шиковать, а потому, что с детства был нетерпелив. Во всем. С годами Борис поборол в себе эту слабость (сказалась выучка геолога-поисковика), но в делах повседневных и обыденных он, как и прежде, был тороплив.

Шофер, видимо, опаздывал и до самого города гнал машину, как сумасшедший. Комраков утишил его сигаретой и закурил сам. Курить ему не хотелось, но он привык закуривать, когда чего-нибудь ждал. Все равно чего: встречи с девушкой, самолета или разноса начальства. Такая уж у него была привычка.

При въезде в город Комраковым вдруг овладело беспокойство, смутное и на первый взгляд беспричинное. Он поглубже засунул кулаки в карманы меховой куртки и некоторое время сидел, не шевелясь, мрачно поглядывая вперед на дорогу. Затем раскрыл лежащий на коленях портфель и, порывшись в бумагах, вытащил старый, замусоленный конверт. Взглянул на штемпель. Письмо было отправлено почти год назад. На этом их переписка оборвалась. «Странно,— подумал Комраков,— при ее пунктуальности... Терпеть не могла слова «забыл» и презирала тех, кто опаздывал...»

— Я вам сказал, куда ехать? — не отрывая от письма глаз, спросил Комраков.

— Серебряный переулок. — Шофер с недоумением посмотрел на пассажира.

— Давайте сперва заедем в Староконовский, это рядом, тоже на Арбате.

— Знаю,— пробурчал шофер, с откровенным и злым безразличием пожимая плечами.

Дом был старый, облупившийся и давно требовал ремонта.

Комраков поднялся на третий этаж. На лестничной площадке было тепло и сухо; как прежде, пахло луком и жареной рыбой, а из квартиры чуть слышно доносились звуки рояля. Комраков потянул носом и, ощутив знакомые с детства запахи, расстрогался. В иные годы Борис бы посмеялся над собственной чувствительностью, но теперь, когда он достаточно помудрел и постарел, ему не хотелось разыгрывать невозмутимость.

Комраков знал, что дверь здесь не запирают, хотел войти, но в последнюю минуту передумал и позвонил. Обычно после этого в квартире воцарялась тишина, и образовавшуюся паузу прерывал сильный женский голос:

— Входите, там открыто!

Именно это Комраков сейчас хотел услышать больше всего на свете.

...Впервые его привели сюда, когда он перешел во второй класс.

— Боря, если будешь себя плохо вести, тебя ждут неприятности,— сказал папа и для убедительности встряхнул сына за воротник пальто.

Борька изобразил на лице гримасу боли и отчаяния. Мама бросила на мужа негодующий взгляд и, пригладив сыну непослушные вихры, с иронией произнесла:

— Слова до ребенка, между прочим, тоже доходят.

Папа кашлянул в кулак и позвонил. Музыка за дверью стихла, и Борька услышал:

— Входите, там открыто!

В коридоре их встретила высокая женщина. Плечи ее прикрывал шерстяной платок, а в правой руке она держала очки.

— Здравствуйте, — сказал папа.

— Здравствуйте, — ответила женщина.

— Мы к вам от Елены Ивановны... Мама подтолкнула Борьку вперед.

— Я знаю, — сказала женщина, — она мне звонила. Проходите.

Вся комната была заставлена цветами. Борька на миг растерялся. Горшочки с дикивинными растениями громоздились на подоконнике и письменном столе, на причудливых стеллажах, избегавших к самому потолку. Они стояли даже на старинном камине и еще более старинном бюро с хрупкими изогнутыми ножками. Единственно свободными оставались только рояль и те места на стенах, которые были заняты картинами.

Некоторое время Борька стоял смиренно, боясь пошевелить и пальцем. Ему казалось: сделал он шаг — и какой-нибудь из цветков с грохотом полетит на пол.

В углу комнаты красовался большой аквариум. Его подсвеченные стекла причудливо преломляли глот и зелень, среди которой юрко сновали золотистые рыбки. С ними Борька должен был познакомиться поближе. Взрослые продолжали разговаривать, и Борька, воспользовавшись их занятостью, осторожно, боком придвинулся к аквариуму, обследовал его со всех сторон, а затем кинул пальцем в зазевавшуюся рыбку.

— Боря, это же тебе не кошка! — возмутилась мама.

Борька спрянул руки за спину и виновато улыбнулся.

— У тебя есть кошка? — спросила женщина.

— Была, — ответила мама.

— С ней что-нибудь случилось? — Женщина подошла к Борьке и усадила его в кресло.

— Ее пришлось отдать соседям, — сказал папа. Затем развел руками и пояснил: — Он беспрерывно дергал кошку за хвост, а она котят ждала...

Женщина села напротив Борьки и, когда он поднял глаза, спросила:

— Зачем ты дергал ее за хвост?

— Я играл с ней, — грустно соварл Борька и улыбнулся, наивно, простодушно — словом так, как улыбаются всякий раз, когда ему приходилось врать.

Женщина приняла ложь спокойно. Борька облегченно вздохнул, думая, что пронесло, но, когда поднял глаза и увидел, с каким вниманием его рассматривают сквозь очки, понял, что женщина не поверила ни одному его слову.

— Как тебя зовут? — спросила женщина.

— Боря.

— Боря, — повторила женщина и снова сняла очки. — А меня — Инна Васильевна. Ты хочешь заниматься музыкой?

Борька заерзал, быстро перевел взгляд на родителей и по их глазам понял, что хочет, сильно хочет, ну просто жить без музыки не может. Но Борька не обладал еще ни отцовским красноречием, ни маминым даром убеждения, поэтому его «хочу» прозвучало фальшиво и лицемерно.

Инна Васильевна неожиданно улыбнулась. И это поразило Борьку — он был уверен, что на него сердятся: уж очень очевидной была ложь.

— Слушай внимательно, — сказала Инна Васильевна. Она взяла карандаш и отсчитала им несколько быстрых тире и точек. — Повтори.

— Это азбука Морзе? — спросил Борька.

— Да, — кивнула Инна Васильевна и повторила упражнение. Только теперь тире и точки шли в другой последовательности.

Борька пробарабанил что-то громкое и маршеобразное, явно не то, что ему велели. Не смог он выполнить упражнение и на второй и на третий раз.

— Очень уж ты невнимателен сегодня, Борис, — сказала мама, перехватив выразительный взгляд Инны Васильевны.

— Он может напеть любую песню без ошибок. Услышит по радио и — пожалуйста, готово. Боря! — Папа сделал знак сыну.

Борька встал и, зарядив легким могучим глотком воздуха, истошным голосом завопил:

Валенти, валенти,
Да не подшты, стареньки...

Мама всплеснула руками, а папа сморщился так, будто у него разом заболели все тридцать два зуба. Инна Васильевна рассмеялась, беззвучно, до слез. Затем вытерла глаза платком и не то вопросительно, не то утвердительно проговорила:

— Значит, ты хочешь заниматься музыкой...

— Да, — сказал Борис.

И ответ его был искренним — уж очень ему понравилась учительница.

На первых порах своего музыкального образования Борька был послушен и исполнитель. Он старательно рисовал нотные знаки, с удовольствием разучивал их на рояле и скоро всю нотную азбуку знал как свои пять пальцев. Инну Васильевну эта прилежность поначалу удивляла, а потом и покорила — она видела, что музыка ее маленькому ученику дается нелегко. Были довольны и папа с мамой. При встречах с Инной Васильевной они рассыпались в благодарностях, признательности, а в канун восьмого марта папа преподнес учительнице розы, которые достал по великому знакомству: один из его приятелей работал в оранжерее Ботанического сада.

Уроки музыки не прошли для Борьки даром, и он сумел извлечь из них практическую пользу. Однажды во время пения, когда учительница вышла из класса, он подошел к роялю, взгромоздился на ступ и, небрежно, как великий артист, откинув полы своего форменного пиджака, взял два вступительных аккорда. Мальчики хихикнули, девочки иронически заулыбались. Тогда Борька тряхнул головой, зачем-то раскрыл рот и с отчаянною погигающей застучал по клавишам: «По долинам и по взгорьям...»

Эффект был ошеломляющий. Девочки хором закричали: «Еще!», а Витя Симагин, который всегда и во всем делал был бы первым, стремглав подскочил к Борьбе и, потрясая кулаком, заорал: «Давай!».

Из-за неплотно прикрытой двери в коридор хлынул разногласный рев:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

За это импровизированное выступление Борька получил трюку в четверти по поведению и... приглашение участвовать в школьной самодеятельности. Но вскоре Борьке надоело разыгрывать роль прилежного ученика. А он именно разыгрывал, и это требовало от него огромного напряжения.

Борька понимал, что Инна Васильевна, заметив его равнодушие к музыке, огорчится. А расстраивать учительницу ему не хотелось: очень уж он к ней привязался. Инна Васильевна можно было поведать



о неудачах в школе, о своих сомнениях насчет жуткого будущего, которое предрекали Борьке родители в случае непослушания, рассказать о своих планах, спросить, отчего у него умерла рыбка в аквариуме. И на каждый из этих вопросов получить толковый, исчерпывающий ответ. А не то, что родители: это тебе рано, слишком много будешь знать, скоро состаришься. Нет, такого друга терять было нельзя, просто невозможно. Но разучивать всякие там гаммы и при этом делать вид, что счастливы, как мальчик, которому купили сразу двенадцать сливочных пломбиров, он тоже больше не мог.

Как-то в начале урока Борька спросил: — Инна Васильевна, а зачем вам столько цветов? Инна Васильевна обвела взглядом комнату и задумалась. Люб ее перерезала неровная цепочка морщин, глаза погрузнели, и Борьке показалось, что учительница вот-вот заплачет.

— Люблю,—Инна Васильевна кротко улыбнулась.— Муж очень любил, и я люблю.

— А где ваш муж? — Тут Борька понял, что залез в область недозволенного, и обеспокоенно заерзал. — Погиб,—просто сказала Инна Васильевна.

— А мой папа не был на войне,—грустно заметил Борька.

— И мой муж не был.—Инна Васильевна вскинула голову и задумчиво посмотрела на небольшую фотографию, висевшую на стене.

Борька проследил за ее взглядом. На палубе парохода стоял высокий мужчина. Рукава рубашки закатаны, через плечо —рюкзак. Он улыбался и махал кому-то рукой.

— А почему он умер? — удивленно спросил Борька.

Он был вулканолог. Знаешь, что это такое? — Да,—подумав, сказал Борька.— У меня открытка есть — «Извержение Везувия».

Инна Васильевна кивнула.

— И он очень любил цветы.

— А я марки собираю,—сказал Борька.— У меня много марок.— И со значением добавил: — Это интересно.

— И цветы собирать интересно,—возразила Инна Васильевна. Она встала и подошла к окну.— Вот, например, монстера — лиана тропических лесов. Очень любит солнце и влагу. Но если воздух будет чересчур влажный, то листья перестанут испарять воду, они ее будут просто выдавливать вот из этих отверстий. Видишь?

— Вижу,—сказал Борька, подойдя поближе.

— По этому растению, как по барометру, можно предсказывать погоду. Разве это не интересно?

— Интересно,—согласился Борька и перевел взгляд на растение, свисающее из горшочка, подвешенного почти к самому потолку.

— А это ампелла,—пояснила Инна Васильевна.— Так звали героя древнегреческого мифа, которого Зевс превратил в виноградную лозу.

— А вот такой цветок и у нас есть,—обрадовался Борька, показав на высокий голый стебель с красивыми розетками листьев.

— Это циперус.

— А почему он в двух горшках?

— В нижнем должна быть вода.

— Нет там воды,—сказал Борька и для убедительности засунул в горшочек палец.

— Действительно.—Инна Васильевна покачала головой.—Надо его напоить.

— Можно? — с воодушевлением спросил Борька. Получив разрешение, он отпрыгнул бросился на кухню. Вернувшись, спросил:

— А папирус — это тоже растение?

— Да. Папирус — двояродный брат циперуса. Но растет он не на Мадагаскаре, а по берегам Нила. Древние египтяне делали из него бумагу.

...Все дни своей жизни Борька делил на удачные и неудачные. Это привычку он перенял у папы, который каждый вечер, усаживаясь ужинать, спрашивал у сына: «Ну как, удачный у нас был денек?» Борька подытоживал в уме события дня и, если все было благополучно — в школе пятерки, а в альбоме красовалась новая марка, приобретенная в магазине или вымененная у товарищей,—быстро отвечал: «Удачный». Если же пауза затягивалась, папа хмурился и просил показать дневник.

Сегодня Борьке нечего было опасаться папиного вопроса. День выдался сверхудачный. День открытий. День удивительных путешествий. Но все то необычное и неожиданное, что пришлось узнать ему, померкло перед главным открытием — он понял, что на уроках музыки можно не скучать и что они могут проходить так же интересно, как прогулка в зоопарк или посещение кино. Для этого требовалось только отвлечь Инну Васильевну. Каким образом, Борька уже знал.

Витка Симагин собирал марки, а дома у него, особенно на кухне, стояло множество цветов неизвестного происхождения. На них-то Борька и нацелился. На уроке рисования он шепнул приятелю:

— Могу серию альпинистов показать.

Витка подобрал вечно оттопыренную нижнюю губу и недоверчиво спросил:

— На что?

— На горшок с цветами.

Витка подумал, что над ним смеются, и, обидевшись, отвернулся.

— Честное слово,—покаялся Борька.

Все еще сомневался, Витка бросил на товарища изумленный взгляд.

— А где я его возьму?

— На кухне,—жарко прошептал Борька.— У вас все окно ими уставлено.

— Это соседки,—сказал Витка.— Мне попадет.

— Она не узнает. Их много,—продолжал наступать Борька, почувствовав в голосе приятеля неуверенность.

К концу урока Витка сдался: уж очень велико было желание заполучить серию альпинистов.

Борька пришел к Симагину после обеда. Витка проводил его на кухню и, суетясь, зашептал:

— Быстрый. Пока дома никого нет.

Цветы стояли на подоконнике и столах, и все они были разные и красивые. Но Борьке надо было выбрать самый красивый, самый редкий, который мог бы действительно украсить коллекцию Инны Васильевны, и он шел от цветка к цветку, как гоним по следу, надеясь только на свое собственное безошибочное чутье. Выбор его пал на кактус, отростки которого напоминали узких изворотливых змей.

— Вот этот.—Борька взял горшок и, еще раз внимательно осмотрев его, стал записывать в сумку.

— Марки давай! — не своим голосом вдруг заорал Витка, который до сих пор не мог добраться до сути этого неравнозначного обмена, что угнетало его и злило одновременно.

Борька достал из кармана конверт с марками и, отдав их обескураженному приятелю, торопливо покинул квартиру.

Инна Васильевна искренне обрадовалась подарку, но и удивилась.

— Где ты его взял? — спросила она, машинально нащупывая в кармане очки. — Это редкий экземпляр мексиканского змеевидного кактуса.

— Правда? — просил Боряка, радуясь, что не ошибся в предположениях насчет ценности цветка.

— Да, — тихо проговорила Инна Васильевна. — В народе его зовут «Царица ночи». Он удивительно красиво цветет. Так где ты его приобрел?

Врать Инне Васильевне было бессмысленно. Боряка это уже давно усвоил. Можно было солгать маме, отцу, учительнице в школе, там бы его раньше еще могли принять за чистую монету, а если бы и разоблачили, то все равно ничего страшного не случилось бы: поругали, пожурили, в крайнем случае прочли скучную нотацию. Инна Васильевна нотаций не читала. Она обижено поджимала губы, становилась неразговорчивой и подчеркнуто вежливой. И эта ее вежливость и презрительная снисходительность доводили Боряку до отчаяния. В эти минуты он, как никогда, остро чувствовал свою ничтожность, мелочность и никомуненность.

Не соврал Боряка и на этот раз.

— Я выменял его на марки, — неохотно признался он и густо покраснел. Покраснел потому, что правда была частичной.

— Хорошо, — сказала Инна Васильевна, — но больше чужие цветы преподносить мне не смей. Договорились?

Когда Боряка закончил четвертый класс, Инна Васильевна подарила ему альбом и серию марок о первооткрывателях новых земель.

Боряка ошибался, думая, что Инна Васильевна не замечает его хитростей и уловок, которыми он старался как-то отвлечь ее от музыкальных занятий. Инна Васильевна все прекрасно видела и понимала, и, конечно же, могла пресечь раз и навсегда бесконечные вопросы о далеких, неведомых странах, землетрясениях, вулканах, о том, что находится глубоко под землей и высоко в небе. Но она чувствовала, что по-настоящему мальчишке интересно именно ЭТО, и после долгих мучительных раздумий, после бесплодных переговоров с родителями пошла наустрашить своего ученика. Боряка узнал маршруты Пржевальского и Арсеньева, Санникова и Русанова, фантазия уносила его в далекую Арктику: он плавал с командором Берингом, зимовал на Северном полюсе с папанинкой четверкой. Он заново переживал их неудачи и радовался их победам, голодал вместе со своими героями, замерзал во льдах, но неумолимо, как когда-то они, шаг за шагом пробивался вперед. И эта неумолимость, дерзость и отвага первых землепроходцев наполняли Борякину жизнь новым смыслом и значением.

Безытечную Борякину уверенность в надежности своего амплуа примерного ученика развеял случай, который, как ни странно, снижал ему славу будущей музыкальной знаменитости.

В школе должен был состояться концерт. Боряку включили в число участников.

— Сыграешь чего-нибудь, — авторитетно заявил Витка Симагин, на которого было возложено составление программы вечера.

— Ты бы сперва спросил, согласен я или нет, — возмутился Боряка.

— Тебе разве честь класса не дорога? — тоже возмутился Симагин, уже усвоивший все демагогические приемы словесного боя. — Или, может быть,

за шесть лет ты одного «Чижика» разучил? До, ре, ми... Витка оседлал верхом парту и ядовито усмехнулся.

— Я могу сыграть, только слушать ведь никто не будет, — еще раз попытался выкрутиться Боряка.

— Это уже не твоего ума дело, — возразил Витка.

Отступить было некуда. Боряка, побагровев, зло выкрикнул:

— Бах!

Витка озадаченно присмотрелся.

— Серьезная музыка. Ну, ладно. Бах так Бах.

О предстоящем испытании, свалившемся на него, как снег на голову, Боряка решил Инна Васильевна не говорить. Он не знал названий ни одного серьезного произведения, а при мысли о необходимости что-то разучить ему становилось не по себе: портилось настроение, появлялись вялость, апатия, все валилось из рук. «По нотам что-нибудь сыграю, — решил Боряка, — все равно не поймут».

В день выступления он надел новый костюм и тщательно причесался. На сцену вышел взволнованный и серьезный. Невидящими глазами окинул зал, выждал паузу и громко выдохнул: «Бах. Прелюдия и fuga», — с ужасом вспомнил, что забыл ноты.

Боряка играл вдохновенно, в бешеном темпе. Гремящим яростным аккордам было тесно в маленьком школьном зале, и они, накатываясь друг на друга, обрушивались на притихших слушателей, словно волны могучего прибоя на каменистый берег. Импровизация была неожиданной и стремительной, и Боряка ее исполнил, как подлинный виртуоз, на одном дыхании. Все гаммы, нехитрые менуэты, марши и вальсы, которые он осилил за годы ученичества, слились в ней воедино.

Боряка кончил играть так же неожиданно, как и начал. Некоторое время стояла тишина, а затем раздался гром аплодисментов, и громче всех хлопал и кричал «Браво!» потрясенный Витка Симагин. А рядом с ним сидела еще более потрясенная учительница пения, и взгляд ее горел негодованием. «Ну вот», — сердце у Боряки екнуло, но все-таки он покинул сцену с таким чувством, с каким оставляют ринг непобежденные боксеры. Ему было горько и радостно одновременно, щемило сердце, а на глаза предательски накатились слезы. Он знал, что больше ему не выступать. Но не эта мысль повергла его в уныние — другая, пришедшая следом за первой. Боряка вдруг отчетливо понял, что о его безалаберности знает и Инна Васильевна. И что это открытие она сделала не сегодня и не вчера, а может быть, в тот далекий день, когда он притащил ей в подарок змеевидный кактус, или еще раньше. Боряка решил бросить музыку. Навсегда. В тот же вечер он заявил об этом родителям. Лицо у мамы удивленно вытянулось, и она посмотрела на сына так, как будто он сказал, что собирается кончить жизнь самоубийством. Но в следующую мгновение удивление сменила ярость.

— Как, шесть лет собаке под хвост? — Это было самое крепкое выражение, которое папа когда-либо слышал от мамы.

Он нахмурился и строго взглянул на сына.

— Я пошутил, — сказал Боряка, поняв, что из его затеи все равно ничего не выйдет.

Мама, ахнув, выбежала на кухню. Папа огорченно посмотрел ей вслед и раздраженно заметил: — В следующий раз шути осторожнее.

Но развязка все равно должна была наступить. Об этом знали и Боряка и Инна Васильевна. И она наступила. Это случилось в день выпускного школьного вечера.

Борис позвонил Инне Васильевне утром.

— Здравствуйте,— сказал он нетерпеливо.

— Здравствуй. Тебя можно поздравить?

— Рано. Самый серьезный экзамен впереди. — По затянувшейся паузе Борис понял, что Инна Васильевна не на шутку встревожилась, но все равно продолжал молчать, испытывая ее терпение.

— Что ты имеешь в виду? — наконец не выдержала Инна Васильевна.

— Музыку.

— Тебе ее не сдать. И ты сам это прекрасно знаешь.

— Я-то знаю, а вот предки...

— Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не смел так называть родителей.

— Переживут,— язвительно протянул Борис,— им еще не то предстоит пережить.

— Тебе нужно со мной поговорить? — спросила Инна Васильевна.

— Да.

— Приходи.— И она повесила трубку.

За последний месяц Борис сильно изменился, и Инну Васильевну поразила та перемена, которая произошла с ее питомцем. Все школьное, что было в Борьке, вдруг неожиданно исчезло. Перед ней стоял мужчина. Рослый. Крепкий. В кожаной куртке. И пахло от него табаком, как от настоящего мужчины. Инна Васильевна подошла к нему поближе.

— Ты что, курил!

— Пробовал.

— Нравится?

— Трудно сказать. — Борька неопределенно пожал плечами.

Инна Васильевна опустилась в кресло и, прижав к груди руки, как-то по-бабьи, просище и жалостливо проговорила:

— Не рано ли, Боря? Вся жизнь впереди...

— Верно. — Борис усмехнулся, и Инна Васильевна поняла, что все ее доводы будут напрасны, неубедительны и бесполезны.

А бесполезных вещей она делать не любила.

— Я слушаю тебя,— спокойно сказала Инна Васильевна.

— Сначала примите вот это. — Борис развернул бумагу и высыпал ей на колени огромный букет нарциссов.

— Это по какому же случаю? — спросила Инна Васильевна, смущенно улыбаясь.

— По случаю... — Борис загнулся и, сцепив за спиной пальцы, взволнованно заходил по комнате. — Я решил уехать в экспедицию.

— В экспедицию?!

— Да. В экспедицию! — Борис взъерошил волосы и резко остановился. — Мне надоела вся эта канитель. Родителей не переубедить. Им консерваторию подавай!

— И ты решил поставить их перед фактом?

— Да, — с жаром выдохнул Борис. — И вы должны мне помочь.

— Каким образом? — спросила Инна Васильевна, потрясенная этим категоричным заявлением.

— У вас много знакомых геологов, напишите кому-нибудь. Пусть возьмут. Кем угодно, хоть рабочим... Я на все согласен.

Инна Васильевна долго молчала, думая о том, что не ошиблась в своих предположениях и что все произошло именно так, как ей не раз представлялось. Но теперь ей стало грустно и тоскливо, и от

куда-то издали пришло чувство вины, словно она была соучастницей случившегося.

— Ты хорошо подумал?

— Лучше некуда, — почти выкрикнул Борис. И вдруг взмолился: — Ну помогите, Инна Васильевна, ну что вам стоит?

— А почему ты сразу не хочешь поступать в институт?

— Для этого мне все равно придется уйти из дома,— мрачно заявил Борис.— А без стажа... В общем, я зря потеряю время.

— Хорошо...

— Спасибо,— тихо сказал он.— Я на восток еду, к Куприянову. Вы о нем так много рассказывали...

— На восток так на восток.— Инна Васильевна выдвинула средний ящик комода.

На дне его лежала толстая пачка денег.

— Вот твои деньги, Боря.

— Мои?!

— Вернее, твоих родителей — плата за уроки музыки. Надеюсь, ты понимаешь, почему я не могу их взять?

— Это нечестно, вы же занимались...

— Не надо, Боря, — улыбнулась Инна Васильевна,— не будем помать голову над тем, что сомнению не подлежит. Вот тебе триста рублей. Двести на дорогу, а сотня — до первой получки.

Через неделю он уехал. А еще через месяц с далеких Курильских островов пришло от него первое письмо. Он писал, что откопал какие-то удивительные цветы, которые во что бы то ни стало доставит Инне Васильевне живыми и невредимыми.

Дверь долго не открывали. Комраков нетерпеливо покосился на матовую кнопку звонка и позвонил еще раз. Наконец послышался легкий перестук каблучков, и незнакомый женский голос спросил:

— Кто там?

Комраков почувствовал резкую, нестерпимую боль в сердце, и смутное беспокойство, которое овладело им при въезде в город, неожиданно обрело реальный и жестокий смысл.

Сухо, как взведенный курок, лягнул ключ в замке.

Комраков повернулся и пошел прочь.

На весь подъезд раздраженно и однообразно гремел незнакомый металлический голос: «Кто там? Кто там? Кто?..»

Владимир Костров



...И поворот, и сердце сжалось.
Дышу с трудом.

Стоит —
страны огромной пасть —
мой отчий дом.
Навеки врезанные в память —
тому назад —
у верей дорожный камень
и палисад,
четыре стертые ступени
и три окна.

О, как в них пели и скорбели,
когда пришла война!
Дом дышит по ночам нутно,
как дед больной.
Весь от горца до черной выюшки
любимый мной.
Все связи прочие нарушу,
а эти — не.

Он двери распахнул, как душу,
навстречу мне.
Входи же с верой и надеждой,
свой дух лечи,
здесь теплота жива, как прежде,
в большой печи.
Он пахнет яблоком и редькой,
хранит уют.
Здесь на поминках тени предков
к столу встают.

И тут,
одетый в старый китель,
давно вдовец,
страны заступник и строитель,
живет отец.
Живут, с эпохой не ссорясь,
святым трудом —
мой печаль,

любовь
и совесть —

отец и дом.
Четыре горькие години
несли беду,
четыре красные рябины
горят в саду.
И не сдались,
перетерпели
тебя, война,
четыре стертые ступени
и три окна.



Я вспоминаю, словно поминаю
ушедшее. На том себя ловлю —
природу я люблю и понимаю,
тебя ж не понимаю, но люблю.
Оно необъяснимо, чувство это,
оно во мне и словно бы во мне,
чуть грустное, как северное лето,
как мельница в заводской стороне.
В том чувстве

чуть журчит вода по слани
и безжит
чуть прикрученный ночник
по горнице,
где на полу постлали
хрустящий и дурманящий сеник.
И запах
горьковатый и счастливый
давно уже погасшей головки...
И слышно, как на быстрине,
под ивой,

едва разводят жабры голавли.
Все это просто, коротко и кротко.
Зажмурь глаза,
задумайся,
гляди.
И родинка, как божья коровка,
не может улететь с твоей груди.
Босые,
скинув обувь на пороге,
уходим в сон, души не береда!
И снится мойжевелик у дороги,
спокойно ждущий солнца и дождя!

Баллада о Вахше

Ваша стремительность, Вахш,
для которой гранит не преграда,—
наша награда.

С первого взгляда
я искренне Ваш.
И о Вас будет эта баллада.

Горы справа,
горы слева,
только зной без берегов —
мечь отвергнутых богов,
время солнечного гнева,
время таяния снегов.
Время буйного набега
сокрушающей орды,
время превращения снега
в голубой напор воды.
Время каменного танца,
время потного труда.
Здесь течет со щек у старца
голубая борода.

Здесь, наперекор моторам
покоряемой реки,
как муллы, кричат с укором
замшевые ишаки.

Здесь арык, звенящий бойко,
и густых чинар каприз,
и стоят на книжных полках
Пушкин, Чехов и Хафиз.
И глядят на человека,
древним блеском глаз грозя,
память каменного века —
желтопузик и гюрза.
Но небесный тускнет глянecь,
лишь — пустыни близкой весть —

появляется «афганец» —
кремнезема злая взвесь.
Не уймешь и не удержишь,
и нельзя дышать, хоть плачь.
Словно старый, грязный деревш
вытрясает ветхий плащ.
Глазки мутные спелязят,
и летят с заплат и швов
прах былых цивилизаций,
сор эпох и пыль веков.
[Словно пыль из-под британских
киплинговских башмаков.]
В голубой долине Вахша,
в глубине гранитных глыб:
«Все, что ваше,
будет наше», —
зашифрован мерный скрип.
Но уйдет домой «афганец»,
и осадят хмарь и дурь.
Снова неба вечный глянец,
снова ясность и лазурь.
И бокалом с кровью Вакха,
окропляющей труды,
чокнемся за грохот Вахша,
за напор его воды.
Чокнемся за полуденный
пробудившийся Восток,
чокнемся за наведенный
переменный желтый ток.
Помяем ночные смены
в горной каменной трубе
и крутые перемены
в трудной пламенной судьбе.
Без бахвальства — это повод
к редкой нежности мужской.
Предлагаю тост за провод
меж Нуркоком и Москвой.
Выпьем за движение сляба,
за плавление руды
и за горного прораба,
повелителя воды!

Олег Алексеев



Вижу хмурое поле боя,
Поле грохота и тишины.
Лица павших темны от боли,
Это черные лики войны.

Пали, значит, навек упали.
Вот мальчишка лежит, вот старик.
За деревней в глубокой пади —
Хмурых елок протяжный крик.

Елки, елки на месте боя.
Как солдаты, держали строй,
Заслоняли людей собою,
Пули, пули — под старой корой.

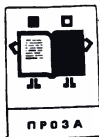
Много видел я, даже слишком,
Не люблю вспоминать войну.
Закрываю глаза и слышу —
Стая елок кричит в тишину.



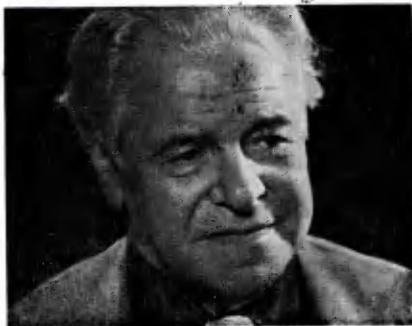
Меж светлых берез подмосковных
Темнеет сибирская ель —
Высокая, строгая, словно
Гвардеец, одетый в шинель.
Сняет в полночное время
На шлеме зеленой звезда...
Откуда таежное семя,
Скажите, попало сюда!
Какая-то давняя тайна:
Быть может, боец-сибиряк
Привез его просто случайно,
Наверно, попало в табак...
А может, комсорт батальона,
Что вырос в кузнецкой тайге,
Зеринку носил в медальоне,
Как память о дальней Юрге.
На месте жестокого боя
Весною, почуя тепло,
В разбитом окопе героя
То семя на свет проросло...
Меж светлых берез подмосковных
Темнеет сибирская ель,
Высокая, строгая, словно
Гвардеец, одетый в шинель...



Ольха цветет — зеленым дымом
Зеленый берег занесло.
А агсты над нашим домом
Опять кружат — крыло в крыло.
Гляжу на них с мечтой о сыне,
Стою над плесом дотемна.
На старой, высохшей осине —
Гнездо большое, как копна.
Косили пули, горе, старость...
Я неспроста мальчишку жду:
Мужчины почти что не осталось
В большом отчаянном роду.
И нам с женою видеть любо
Густой зеленый дым весны,
Двух агстов широкоплечых,
Они ведь тоже влюблены.
И кружат и трещат о чем-то,
И нам счастливо, молодым...
Родился все-таки мальчонка,
В глазах его — ольховый дым.



Алексей
КАПЛЕР



ВОСЬМОЙ

РАССКАЗ

Случилось это весной не то в одна тысяча девятьсот двадцать четвертом, не то двадцать пятом году.

Заведующий одесским Посредрабисом сбежал. Не пришел на работу ни утром, ни днем. К вечеру секретарь — он же и единственный, кроме заведующего, сотрудник этого учреждения — отправился к нему домой. Там он узнал о бегстве товарища Гуза, о том, что тот сел накануне в поезд и укатил в Ленинград.

Отдел труда и правление союза работников искусств, которым подчинялся Посредрабис, назначили срочную ревизию. Комиссия, созданная для этого, однако же, с недоумением обнаружила, что все финансовые дела в полном порядке. Составили об этом акт.

Гадать о причинах бегства Гуза, собственно, не было нужды: они были ясны. У Бориса Гуза, маленького, круглого человечка, был тенор. При помощи этого тенора он издавал звуки оглушающей силы и сверхъестественной продолжительности. Фермато Гуза могли выдерживать только одесские любители пения. Они вжимали головы в плечи, их барабанные перепонки трепетали последним трепетом, вот-вот готовые лопнуть, но одесситы при этом счастливо улыбались — вот это-таки голос!

Гуз несколько раз обращался и в отдел труда и к правлению союза Рабис с просьбой освободить его, так как здесь, в Одессе, он уже «дочулся», а в Ленинграде хотел совершенствоваться у знаменитого — не помню какого — профессора бельканто.

В обоих почтенных учреждениях к артистическим планам Гуза относились несерьезно: да, голос. Да, верно... Но голос какой-то дурацкой силы. Есть слух, это правда, но ведь никакой музыкальности...

В общем, пророк в своем отечестве признан не был. А в Ленинграде он вскоре стал известным оперным певцом.

Рисунки
Е. МЕДВЕДЕВА.

Я слушал его однажды в «Кармен». Гуз был в то время уже премьером оперного театра и пел партию Хозе.

Он вышел на сцену — маленький, круглый, с короткими ножками и ручками, в курточке с золотыми позументами, толстые ладони обтянуты белыми режущими... сверкающие сапоги на высоком, почти дамском каблучке.

И запел...

Это было невыносимо.

Меня поражало отношение к Гузу ленинградских музыкантов — как они могли его терпеть?

Бесчисленные хвалебные рецензии, огромные буквы его имени на афишах — все говорило о колоссальном успехе, о признании.

Видимо, и здесь настолько высоко ценился голос, сила звука, что все остальное ему прощали: и отсутствие артистизма и вкуса, и смешную внешность, и одесский — о какой одесский! — акцент.

В память Одессы я терпеливо прослушал целый акт, глядя на то, как коротенький дон Хозе пылко изъясился в любви крупногабаритной Кармен, делая традиционные оперные жесты, не имеющие ровно никакой связи с содержанием арии. Он то разводил руки, то протягивал одну из них вперед, в публику, куда и обращал тексты, предназначенные стоящей в стороне любимой.

Она переживала арию Хозе, тоскливо упершись в талию кулаками, и по временам пошевеливала бедрами, приводя тем в движение свои многослойные яркие юбки.

Но вот Гуз брал с легкостью верхнее «до» и держал его так долго, что, казалось, в конце этого формата певец обязательно упадет замертво.

Но Хозе не падал, а все ткнул оплутательный звук, и публика (ленинградская публика!) неистово аплодировала и кричала «бис!».

Я угрюмо наблюдал это, понимая, что молодость прошла, ибо раньше со мной тут обязательно случился бы припадок истерического смеха.

Теперь мне все это казалось только грустным.

Итак, зав. Посредрабисом сбежал. Не везло учредителям. Были и до Гуза заведующие, но по различным причинам подолгу не заскиживались.

На место Гуза на сей раз назначили товарища Сажина Андриана Григорьевича, недавно переехавшего в Одессу.

До революции Сажин был учителем гимназии в Петрограде.

«Интеллигент в первом поколении», сын бедняка-крестьянина, Сажин сам пробил себе дорогу в жизни.

Реакционные унаследования и монархические взгляды некоторых коллег-учителей оказали большое влияние на Сажина — влияние отталкивающее.

Он долго приглядывался к различным партиям, знакомился с их программами, читал Бакунина, Маркса, Бердяева, Ницше и в апреле 1917 года принял окончательное решение: вступил в партию большевиков — РСДРП(б).

Было ему тогда двадцать пять лет.

Учение Маркса он продолжал изучать, и оно представлялось ему не только неоспоримо верным, но и единственно возможным.

Вскоре Сажин бросил педагогику и стал активистом, партийным работником Выборгского района в Петрограде. Накануне Октябрьских дней и во время восстания он выполнял бесчисленные мелкие поручения, после Октября выступал на митингах, читал лекции.

Его контакту с аудиторией несколько мешала близорукость, ибо, выступая, он снимал свои очки —

минус одиннадцать, и все становилось расплывчатым, он видел только какие-то неясные очертания, светлые и темные пятна.

А оратору ведь необходимо различать лица своих слушателей, а то и выбрать кого-нибудь среди них, чтобы обращаться как бы лично к нему.

Очки же, по убеждению Сажина, были чем-то вроде признака человека чуждой среды и могли помешать его общению с рабочей и солдатской аудиторией.

Гражданскую войну Сажин провелевал в Первой конной.

Близорукость и очки с толстыми стеклами не мешали военному эскадрону Сажину стать отличным всадником, лихо носиться на коне, владеть шашкой, и заработать две сабельные раны и пулю в сантиметре от сердца.

Закончилась война. Демобилизованный после лазаретов по чистой, Сажин был направлен на работу в отдел народного образования, где его назначили начальником Политпросвета — подотдела политического просвещения.

А еще через год по настоятельному совету врачебной комиссии, которая нашла у него серьезный неполадок в легких, Сажин переехал на юг.

И вот Одесса... Еще «та» Одесса, середины двадцатых годов, сохранявшая свой неповторимый колорит, лексикку, южный темперамент и одесские хохмы.

Сажину предложили только что озоободившуюся должность заведующего Посредрабисом.

Что это такое, Посредрабис? Сажин не имел о том ни малейшего понятия.

Однако же ему кое-что разъяснили, обещали в случае чего помочь советом, и он согласился.

Размер оклада не имел никакого значения: как член партии Сажин на любой работе имел право получать не больше партмаксимума, а он в те времена составлял девязносто рублей — сумму ничтожную.

Андриан Григорьевич был человеком с высшей степени дисциплинированным, пожалуй, даже педантом.

К Посредрабису в первый день своей работы он подошел в девять ноль-ноль.

Дверь, однако же, была заперта, и никто за ней не подавал признаков жизни.

Посредрабис помещался на Ланкеронювской улице, в бывшем рыбном магазине.

Сажин дернул дверь раз-другой и принялся ждать. Через полчаса появился наконец секретарь Посредрабиса Полещук, в прошлом артист цирка Арнольд Мильтон.

Он шел подпрыгивающей походкой, то и дело почесываясь и водворяя на место вываливающихся из толстого, ободранного портфеля бумаги. Рыжие, видимо, за всю жизнь ни разу не стриженные волосы торчали во все стороны безо всякой системы. Видевшая многие виды, некогда бордовая толстовка была подпоясана шлагатом.

Бумажные брючки сели после стирки и заканчивались гораздо раньше, чем следовало, открывая тонкие, поросшие рыжим кустарником ноги в сандалиях.

Полещук удивленно посмотрел на раннего очкастого посетителя в поношенном френче, галфе и сапогах.

— Вы ко мне! — спросил он Сажина, отпирая дверь.

— Я Сажин. Заведующий Посредрабисом, — резко ответил Андриан Григорьевич, — и хочу получить объяснение, почему вы явились на работу с опозданием на 30 минут.

— А... так это вы...— равнодушно произнес Полещук,— можете зайти. Вот вам кабинет. Дверь плохо закрывается — села. Будете восьмой.

— Позвольте узнать, товарищ...

— Полещук.

— ...товарищ Полещук, что значит — восьмой?

— То значит, что я уже пережил тут семь таких заведующих.

— Вот оно что. Но хоть я и восьмой, вам придется, видимо, мне первому написать объяснительную записку о причине опоздания на работу. И сегодня же мне ее подать.

— Пожалуйста,— вытягивая на свой стол содержимое портфеля, ответил Полещук.— Могу хоть сейчас объяснить: никто раньше десяти все равно сюда не зайдет.

— Напишите объяснительную, я подумаю, что делать.

Настало, очевидно, время рассказать, что это было за учреждение — Посредрабис.

В дореволюционные времена — да и в первые годы после революции — актеры России дважды в год съезжались в Москву на этские «стояния», на «биржи», куда являлись и антрепренеры. Там заключались контракты на сезон.

За исключением крупных, известных артистов с обеспеченным положением, вся остальная актерская братия состояла из людей, не имеющих ни постоянного пристанища, ни постоянной службы.

Их часто обманывал какой-нибудь жуликоватый, а то и действительно «прогоревший» антрепренер, который вдруг посреди сезона исчезал, прихватив кассу и не расплатившись с труппой.

И вот Советское государство взялось за трудоустройство актеров. Для этой цели были созданы в Москве и других городах Посредрабисы — посреднические бюро по найму работников искусства.

На учете Посредрабисов состояли актеры драматические, оперные, опереточные, камерные певцы, куплетисты, фокусники, иллюзионисты, эстрадные певцы, артисты цирка, киноартисты и технический персонал: администраторы, контролеры, билетеры, рабочие сцены и так далее.

Посредрабисы вели (безнадёжно, правда) борьбу с бесчисленными жуликами, которые устраивали «левые» концерты, эксплуатируя и обжужливая актеров.

Справка Посредрабиса до некоторой степени свидетельствовала, что ее предьявитель — трудящийся элемент.

Потому те, кому нужна была такая справка, стремились стать на учет Посредрабиса, и в учреждение на Ланжероновской улице постоянно проникал разного рода люд, не имеющий ровно никакого отношения к искусству.

Время от времени здесь проводилась переквалификация, нечто вроде чистки: каждый состоящий на учете артист обязан был на сцене театра, перед лицом авторитетной комиссии спеть, станцевать, продемонстрировать или показать свой номер.

Переквалификация вызывала неминуемые волнения, и иной раз благодаря им удавалось избавиться от некоторого количества проституток, жуликов, «бывших» и сутенеров, проникших на учет.

Товарищ Сажин занял положенное ему место в кабинете за стеклянной перегородкой.

Подойдя к жесткому креслу, стоящему за письменным столом, он тщательно протер бумажкой сиденье, затем протер стол, выбросил бумажку в корзину и только после этого сел.

Такую процедуру Андриан Григорьевич проделывал

всюду и постоянно. Что это было — безразличие, опасение испортить свои галфе и порядочно поношенный френч? А может быть, просто глупая привычка педантизма? Он никогда, даже и в сложной фронтальной обстановке, не пил воду, не помыл или хотя бы не протерев кружку. Сняв вечером сапоги, он их чистил и устанавливал ровно — один к одному, как если бы они стояли в строю.

Итак, товарищ Сажин уселся в кабинете и начал знакомиться с делами подведомственного ему Посредрабиса.

Полещук лениво, но добросовестно объяснял ему что к чему, показывая карточки и списки, формы и бланки, но начиная с десяти часов их занятия начинали прерывать телефонные звонки.

А еще через неко-орое время стало вообще невозможно ничем заниматься, ибо не только помещение Посредрабиса, но и тротуар и мостовую перед ним заполняла густая масса людей, у каждого из которых было какое-нибудь дело к заведующему.

Сажин поминутно нажимал кнопку звонка, вызывая Полещука.

Секретарь отрывался от работы, от составления какой-нибудь неотложной ведомости и шел в стеклянный кабинет выручать шефа, который не знал людей и плавал в их проблемах.

Жара в помещении стояла невыносимая; сочетание июльского солнца, безжалостно шпарившего в окна, испарения стен тел, сбившихся тут, удручающий запах духов от «Лоригана» Коти до дешевого цветочного одеколона, дым папирос, сигар и трубок — все вместе было невыносимо.

Сажину казалось, что он вот-вот хлопнется в обморок.

К его столу вперемежку с нормальными, вежливыми посетителями подходили какие-то крикливые, чего-то требующие люди.

Затем, расталкивая всех, ворвалась некто необо-разимое — казалась, явилась сама смерть, раскрасневшаяся румянцами, белыми и губной помадой.

Одетая в кокетливое кружевное платье, как всякая барышня давно прошедших времен, она знаящая поддельными драгоценностями — бесчисленными браслетами, брошками, ожерельями и серьгами, старуха оперлась о край сажинского стола пальцами, сплошь унизанными кольцами, и, легко подпрыгнув, уселась на стол.

Она выхватила из-за корсажа пожелтевший, облезлый страусовый веер, распахнула его и, обмахиваясь, вдруг запела гнусавым голосом:

Ах, если я была бы птичкой,
Летала б с ветки я на ветку...

Сажин замет, откинувшись на спинку кресла, и с ужасом смотрел на нее.

Это было его первым знакомством с полусумасшедшей старухой, бывшей некогда до революции кафешантанной певицей.

Она являлась таким манером почти каждый день и требовала, чтобы ее поставили на учет и включили в программы концертов.

— У меня большой репертуар,— говорила она.— «Выше ножку, дорогая», «Хочется» — это ведь беспартийные песенки, не против Советской власти...

Полещук, услышав знакомый голос, поспешив в кабинет Сажина и выдворив старую шансонетку за дверь.

Один за другим являлись представители клубов, летних площадок и ресторанов.

Приходили помрежи с кинофабоики с заявками на массовки. Приходили актеры с сотнями своих дел.

У Сажина голова шла кругом от этого непрерывного движения.

По каждому поводу ему приходилось вызывать Полещуха и вместе с ним принимать решения.

К счастью, наступило наконец время обеденного перерыва, и Сажин, сложив в строевом порядке все, что было на столе — ручку, чернильницу и пресс-папье, — аккуратно приставил на место стул, вышел на улицу, вдохнул свежий воздух.

Он шел по улицам Одессы, изповской Одессы, где по торцам Дерибасовской не так давно снова вызывающе застучали подковы «лихачей». Ухоженные рыска (и откуда только взялись?), эффектно перебирая сильными ногами, везли лакированные пролетки на бесшумных «двутиках».

В них сидели, развалившись, упитанные изпаны (откуда только они возникли после гражданской войны, военного коммунизма, голода и лишений?).

Изпаны катали своих крашенных, мясистых женщин, и за пролетками тянулся дымок сигар и одуряющий запах французских духов.

Занятые своими делами, прохожие не обращали внимания на высокого человека в очках, который строго вышагивал в своем старом френче, с общитыми защитного цвета материей военными пуговицами, в диагональном командирском галифе и тщательно начищенных сапогах.

Он шел по Екатерининской улице, мимо оживших кафе Робина и Фанкони, где с утра до ночи за столиками «делались дела».

Тут можно было купить и продать все: доллары и франки, фунты, пезеты и лиры, сахарин и железо, мануфактуру и горчицу и даже вагон ливерной колбасы.

Одни изповские персонажи были одеты в сохранившиеся постринковые пиджаки и «штучные» брюки в полоску, на головах у них красовались котелки и канотье; другие, приспособившись ко времени, щеголяли в новеньких френчах, кепках и калитанках. А из-под этих калитанок выглядывали физиономии новых буржуев.

Эта публика, правда, только прославляла основную массу прохожих — трудовой люд Одессы, служащих, рабочих. Но своей броскостью, наглым контрастом с очень скромно, если не бедно одетыми людьми они создавали этот изповский колорит, изповскую атмосферу города.

На углу Дерибасовской Сажину преградил дорожку, выставив вперед свой ящик, мальчишка — чистильщик обуви.

— Почистим? — выкрикнул он и затараторил скороговоркой: — Чистим-чистим, натираем, блеск ботинкам придаваем...

Щетки забили виртуозную дробь по ящику.

Сажин смотрел на хитроглазого, грязного, курчавого мальчишку с глубоким шрамом от уха до подбородка.

Мальчик, перестав стучать, тоже посмотрел на него и вдруг обыкновенным голосом сказал:

— Товарищ командир, давайте задаром почищу... Сажин нахмурился.

— Спасибо, брат. Не нужно.

И пошел дэльше.

Кажется, не было ни одного перекрестка в Одессе, ни одного подъезда гостиницы или учреждения, где не расположились бы мальчишки-чистильщики, выбивающие щетками барабанную дробь.

Мальчишки-папиросники, торгующие поштучно папиросами, мальчишки — продавцы ирисок и маковников... Все это великое воинство, в котором смешались дети бедняков, подрабатывающие на жизни,

и беспризорные дети, сироты, оставленные войнами, все это подчинялось том «принципиальным» беспризорникам, что жили «вольной» жизнью, отрицали труд, баню и милицию, пытавшуюся их устроить в детские колонии.

Сажин поглядывал на мальчишек и думал о том, как бесконечно трудно будет ликвидировать это страшное наследие войны.

Маленькая закуская, куда Сажин вошел, была полна посетителями.

В углу нашлось свободное место.

Сажин осмотрел сиденье стула, затем протер его принесенной тряпочкой.

Этой же тряпочкой протер часть столика перед собой, затем аккуратно сложил и спрятал тряпочку в карман.

Соседи по столу — три здоровенных, громоздких грузчика — с удивлением уставились на него.

Толстая, сонная женщина в несвежем фартуке подошла к столику и сказала:

— Ну, чего?

— Три стаканка чая, — ответил Сажин.

— И все?

— И все!

Женщина пожала плечами и ушла, сказав:

— Царский заказ.

Сажин развернул принесенный с собой небольшой пакетик. Там лежали два бутерброда с брынзой на сером «нарнатовском» хлебе.

Официантка принесла чай, поставила перед Сажин три стаканка без блюдечек и ложечек и сказала:

— Нате вам.

Сажин сразу расслабился и принялся за завтрак. Грузчики перестали обращать на него внимание и ели свои порции горячий свиной колбасы с жареной картошкой, запивая светло-желтым пивом.

К концу обеденного перерыва, минута в минуту, Сажин вошел в Посредрабис.

На этот раз Полещуха уже сидел на месте.

Андриан Григорьевич прошел в кабинет, отодвинул стул и, внимательно осмотрев его, сел.

Он достал из нагрудного кармана френча желтый жестяной портсигар, раскрыл. Самодельные папирсы лежали ровными рядами — справа и слева по шесть штук.

Сажин взял одну, размял и закурил, чиркнув зажигалкой, сделанной из винтового патрона.

Врачи курение было ему категорически запрещено, и Андриан Григорьевич даже жестко ограничивал. Первую папиросу он разрешал себе только после обеда.

Содержимого портсигара — 12 штук должно было хватить на два дня.

Самодельные папирсы он считал менее вредными, чем фабричные. А главное, дешевле получалось.

Покупались гильзы и табак. Пергаментная бумажка, вырезанная особым образом, прикреплялась двумя кнопками к столу или к подоконнику. При помощи этой скручивающейся бумажки и деревянной палочки гильзы заполнялись бурым табаком третьего сорта.

Сажин с наслаждением курил свою самоделку, откинувшись в кресле и вытянув ноги.

Вошли первые посетители.

Так началась новая жизнь Андриана Григорьевича Сажина — бывшего учителя, бывшего военкома, члена большевистской партии с апреля месяца 1917 года.

Сажин жил холостяком, потом ненадолго женился. Неудачная была женитьба, и хорошо,



что эта история скоро кончилась. Случилось это во время работы Сажина в наробразе.

Однажды повстречал его бывший комзск, человек отчаянной храбрости, кавалерист, рубаха, имеющий много военных заслуг, но еще больше неприятностей за всяческие выходки и в конце концов уволенный из армии. Звали его все Колей в глаза и за глаза, а по-настоящему был он Николаем Николаевичем Бессоновым.

Увидев Сажина, Коля Бессонов бросился к нему, обнял, расцеловал и, не слушая никаких возражений, потащил за собой в какую-то квартиру, где устраивал великий сабантуй. Через час в квартире стоял густой табачный дым, кто-то брэнчал на фортепьяно, какие-то штатские личности, изрядно набравшись, пытались петь военные песни.

Коля заставил Сажина выпить стакан спирта, тот чуть не задохнулся и стал сползать со стула, выпучив глаза и схватившись за горло. Однако дыхание восстановилось, но дальше Сажин уже не помнил ничего. Проснулся он утром в какой-то проходной комнатке. Серый рассвет скудно освещал странное зрелище: Сажин лежал на чьей-то бурке, растерянный на полу, рядом с ним, положив ему голову на плечо, спала женщина. Ровно никаких воспоминаний не возникло у Сажина, сколько он ни напрягал память. Как он здесь очутился, что происходило ночью, кто эта женщина, было ли что-нибудь между ними или она просто мирно спала рядом?.. Ничего, ровно ничего — никаких воспоминаний.

Когда женщина проснулась, оказалась она миловидной Веркой, что жила в одном доме с Сажиним. Часто видел он ее проходящей по двору и не однажды слышал, как жильцы и дворник чествуют эту Верку самыми последними словами.

Верка проснулась и встала. Как ни неопытен был Сажин, но по некоторым деталям ее поведения он понял, что ничего между ними ночью не произошло. Однако положение было щекотливое. Все участники сабантуя разошлись.

На улицу Сажин вышел вместе с Веркой.

Когда они подошли к Дому, Верка спросила:

— Может, я к тебе пойду? А то мать опять заругается...

Так она переселилась к Сажину. Он уступил ей кровать, спал на тюфячке и вел себя по-джентльменски. Они прожили две недели — вместе и не вместе. А двор бурлил, каждому надо было высказаться по поводу скандальной ситуации: коммунист Сажин с такой шалавой схлестнулся. Одна только Веркина мать относилась к этому событию равнодушно: мать вмертвую, и наплевать ей было на все на свете.

Сажин пренебрегал дворовым общественным мнением, однако именно оно, вернее, протест против него, побудил Сажина через две недели зарегистрироваться с Веркой. Она была очень довольна и сказала, что с плохой жизнью покончено навсегда.

Отношения с Сажиним после этой свадьбы оста-

лись точно такими же: вместе и не вместе. Он ничего не предпринимал, чтобы стать ее мужем фактически, а не только «де-юре». Она же, не обращая никакого внимания на него, закутнула с одним из сахкинских слугушечек по Политбюроу, потом с другим, третьим. И была Верка совершенно неужиданной — говорить с ней не имело никакого смысла.

Прямой начальник Сакина, старый партиз, отвел его однажды в сторону и тихо сказал:

— Ты что — дурак, что ли? С кем связался?

Жизнь Сакина стала адом. На работе он боялся встретиться взглядом с кем-нибудь, избегал разговоров с товарищами. В доме он служил мишенью для насмешек дворовых слетниц.

Все усилия Сакина перевоспитать Верку равно ни к чему не приводили. Ни приходить ее к чтению, ни просто разговаривать с ней было невозможно. Она валялась по целым дням в кровати и жрала семечки, заливая комнату лузгой. Как ни странно, но не столько все перенесенные из-за нее унижения, не ревность даже, а вот эта лузга, что покрывала пол, и одеяло, и ночной столик, и книги и попадала даже в сапоги Сакина, — эта чертова лузга вызвала у педантичного чистоплотного Андриана Григорьевича взрыв протеста.

— Уходите вон! — сказал он. — И чтобы я вас больше никогда не видел!

— И хорошо, — ответила Верка, — осточертел ты мне хуже смерти: туда не брось, сюда не сори... Она совершенно безразлично собрала свои вещи и ретировалась. Сакин два дня мыл пол, выколачивал матрас, белил стены и потолок и успокоился только, когда из комнаты окончателю ушел запах Верхинкой дешевой парфюмерии.

С тех пор жил Сакин холостяком. В Одессе ему выдали ордер на небольшую комнатку на Торговой улице.

Был у комнатки даже балочник, и можно было, сидя на нем, с высоты второго этажа наблюдать за жизнью улицы.

Когда-то комната эта составляла часть квартиры зубного врача. Он и теперь жил в этой же квартире, в оставленных ему двух комнатах, и на жильцов трех других комнат, вселенных по ордеру, смотрел как на варваров-завоевателей, как на своих личных врагов.

Сакин готовил себе пищу в общей кухне на примус. Хлеб, восьмьюшку фунта масла и четверть фунта брызны он покупал лавочке через дорогу. На примусе раз в неделю варил постный суп. Изредка в кастрюлю попадал и кусок мяса.

В Посредрабисе дел было невпроворот. К последнему заботам: формированию концертных бригад, трудоустройству технического персонала, организации выступлений и поездок на коллективных налах, на «маршах» вместо твердых ставок, к разбору бесконечных трудовых конфликтов — прибавились еще киноэкспедиции.

Две из Ленинграда и московская экспедиция «1905 год» во главе с молодым режиссером Эйзенштейном.

Все экспедиции обращались в Посредрабис за актерами. Однако брали они на съемки не только тех, кто был зарегистрирован как артист, но и билетеры, контролеры, киномеханики — всех, кто подходил по типуажу. Даже сам Полещук, подрабатывая, несколько раз снимался в «групповках», которые оплачивались выше массовки. Комму повезет, получал даже маленькую роль — «эпизод», за это платили еще больше. В заработке нуждались все, и приехавшие экспедиции очень оживили атмосферу в Посредрабисе.

Но дела, связанные с кино, доставляли Посредрабису и много неприятностей. Помрежи Одесской кинофабрики и презиже московские кинематографисты требовали, чтобы Посредрабис давал им широкий выбор «натурщиков» и, следовательно, брал для этого на учет людей, никакого отношения к искусству не имеющих, просто ярых, интересных по внешности, по типажным данным.

Это противоречило уставу Посредрабиса, у которого была номенклатура специалистов. Были в этой номенклатуре и киноартисты, но как можно было зачислить в киноартисты какого-нибудь граксапожника только потому, что у него был неимоверный нос-балабан, глаза, как гигантские масляные, и сеть морщин, покрывающая черно-коричневое лицо и шею. Куда зачислить мрачную портную девку с вечно пьяной рожей? Между тем киношникам — хоть убей — требовались такой грек и именно такая девка. Помрежи в обход закона брали народ прямо с улицы.

Для группы Эйзенштейна людей искал кто-нибудь из его «железной пятерки» — пяти ассистентов. Они игнорировали состоявших на учете Посредрабиса профессиональных артистов. Им интересовало только типаж, внешние данные человека. Поэтому они набирали чаще всего не актеров, а билетеров, костюмерш, музыкантов — народ, совсем не искусственный в актерском искусстве.

В то время, снимая немые фильмы, Эйзенштейн исследовал им самим открытую теорию «бесперебойной игры». Это означало практически, что человека снимали только в момент какого-то его состояния, скажем, испуга, ужаса, любопытства, гнева. Привести типаж, натурщика в нужное для данной сцены, точней, для данного «кукса», состояние было не сложно. А вот провезти сцену, сыграть ее такой человек, конечно, не смог бы. Он способен был только выполнить однозначное задание режиссера. Эйзенштейн же из таких кусков, из отдельных кадров монтировал целое — сцену, эпизод, всю картину.

Это было абсолютно ново, и никто, в том числе и ближайшие сотрудники Эйзенштейна, не мог еще предвидеть результаты его открытия. Ничего результат известен: это были съемки «Броненосца «Потемкин», картины, которая тогда, во время работы, называлась еще «1905 год».

Однажды Сажину позвонили из отделения милиции.

— Тут мы одну вашу задержали... Справка у нее, состоит будто бы у вас на учете, а на самом деле занимается спекуляцией... Нехорошо получается, товарищ Сажин, нетрудовой элемент прикрывается... Семечками, понимаешь, торгует на базаре.

Поднял Сажин каточку. Оказалось, речь идет об одной безработной билетерше, которая действительно состояла на учете Посредрабиса. Вызванная на следующий день к Сажину, она призналась, что действительно торгует семечками. Как иначе прожизнешь с двумя детьми... Была эта женщина с измученным, некрасивым лицом, с затравленным, недобрым взглядом Сорокина Клавдия, по виду лет сорока пяти, а на самом деле по учетной карточке было ей всего тридцать лет. Видно, жизнь так приласкала.

Сажин прочитал карточку: на учете она состояла давно, но на работу по специальности, как билетер, направлялась только дважды и то временно — один раз на месяц в летний кинотеатр и другой раз в оперу взамен заболевшей билетерши на восемнадцать дней. Да еще на киносъемки изредка ее брали... и вот два дня назад группа Эйзенштейна, которая что-то снимала на одесской лестнице, тоже ее брала... Жить на такие заработки было действительно невозможно.

Но призила...

— Придется вас снять с учета, товарищ Сорокин, — сказал Сажин.

— Как это снять? Какое вы имеете полное право снимать меня?

— На это я право имею, а вот держать на учете торговку права не имею.

— Это я торговка? Советь есть у тебя? Мне детей кормить надо. Если воровать придется, взорвать пойду, не задумаюсь. У тебя, небось, своих нету. А если есть, ты на свои тысячи покормишь...

— Товарищ Сорокина, я на вас не обижаюсь, но оставляю на учете не могу. Понимаете, не могу. Он сделал отметку красным карандашом на ее карточке: «Снять с учета» — и отложил карточку в сторону.

Клавдия Сорокина, увидев это, подскочила к нему, истерически крича:

— Убийца! У детей кусок хлеба изо рта вырываете! Вот, вот они... Сорокина распахнула дверь и, схватив за руки ожидавших там двух девочек-заморышей лет по пяти, втащила их в кабинет. — На, убивай их, подлец! Убивай! Вот, дети, смотрите на своего палача! Плюю я на тебя! Плюю на твою поганую рожу! Тыфу! Тыфу! Тыфу!

Она в самом деле плавала ему в лицо, а Сажин продолжал сидеть, не отворачиваясь, не закрываясь. В кабинет забежали Полещук и поспешили. Они оттащили женщину, но она продолжала кричать Сажину:

— Чо́б ты сдох в муках, проклятый, чтобы все твои дети сдохли, чтоб тебя гром разразил, чтоб ты чумой заразился!..

Наконец женщину вместе с испуганными, плачущими детьми вытащили из кабинета, но ее крики еще долго доносились из соседнего помещения — из «зала» и потом с улицы.

— **Н**ет, товарищ Сажин, — ответил ответственный работник окружкома партии сидящему перед ним Андриану Григорьевичу, — освободить вас мы не можем. Посредрабис внешне, может быть, выглядит таким не очень серьезным учреждением — какие-то там на учете иногда совсем неуживаемые лица, но помните — это огромная масса безработных, на которых могут влиять, пользуясь их недовольством, враждебные элементы. Вы отвечаете за моральное состояние этой массы. Вы опытный политработник, и мне вас учить незачем. Пройдет время — посмотрим. А пока...

Однако на следующий день Сажину предстояло новое испытание. Возвратясь после обеденного перерыва, он застал у себя в кабинете броского вида девицу в шелковом платье с глубоким вырезом.

— Вы будете товарищ Сажин? — спросила владелица умопомрачительного декольте.

— И буду и есть, — буркнул Андриан Григорьевич. — Какой у вас вопрос?

Девушка оглянулась и прикрыла дверь.

— У меня деликатное дело, я должна поговорить с вами тет-а-тет.

С этими словами она пододвинулась к Сажину, уперлась в него большими, твердыми грудями и подняла лицо — довольно красивое, надо признать. Сажин вспыхнул и попытался отодвинуться. Но за ним оказался шкаф. Сажин был прижат к шкафу, а груди продолжали пружинно теснить его.

— Я прошу, — шептала яркая девушка, — вы должны это для меня сделать...

— Э... э... — бормотал Сажин, покрываясь испариной, — собственно, что вы хотите?..

Вдруг девушка прижалась к нему всем телом и, жарко дыша в самое ухо, что-то зашептала. Комната завертелась перед Сажинным. А девушка все шептала и шептала, и он, наконец, расслабился обрывки слов:

— ...Натурщица... позирую художникам... учет... номенклатура... Понимаешь, мне нужно стать на учет... а говорят, нет такой номенклатуры... Ты должен это сделать...

Сажин погубил, и вдруг явилось спасение — раздался резкий телефонный звонок. Натурщица отскочила, и освобожденный Сажин замахал рукой.

— К Полещуку, к Полещуку...

Взяв трубку телефона, он опустился в кресло.

— Сажин, ты!... — сказала трубка, но Андриан Григорьевич не в силах был ответить: комната шла еще кругом, ноги дрожали, дыхание перехватывало.

— Алé! Сажин! Алé!..

Наконец ему удалось произнести:

— Слушаю...

— Здорово, Сажин. Это из горсовета — Толмачев. Есть дело, не заглянешь ко мне?

— Хорошо, сейчас зайду, — слабым голосом ответил Сажин.

— Ты что там — не приболел часом?

— Нет, нет, все в порядке. Сейчас иду.

Он шел по улице на все еще дрожащих ногах, бедняга Сажин, никогда в жизни еще не прикоснувшийся к женщине, потрясенный открывшимся ему нездоровым чувством.

В Посредрабисе наступило некоторое затишье. Кинэкспедиции разъехались. Дело шло к осени.

Сажин организовал политкружок и вывесил стенгазету, которая бичевала в сатирическом плане участников «левых» концертов. С делами Посредрабиса Андриан Григорьевич освоился и давно уже решал их сам, не прибегая к советам Полещука.

Однажды в кабинет к Сажину вошел могучий грузчик из числа «типажников», состоящих на учете.

— Побалакаем, начальник.

Комната наполнилась запахами смолы, пота и спиртного перегара.

— Что вам угодно? — спросил Сажин.

— Зачем ребенка обижаете, начальник?

— Присядьте, пожалуйста. Какого ребенка? О чем вы говорите?

Грузчик сбросил пальцами пыльную слезу.

— Сирота она у меня. Мать в тифу померла. А я какой отец? Водку хлестать да мешки таскать. Я же рабочий человек с под мешка. Не интеллигент, кажется, какой-нибудь...

Сажин нетерпеливо сказал:

— Извините, но у меня сейчас мало времени. Я занят. Объясните сразу ваше дело.

Грузчик громко икнул.

— Дело... Девчонка работает по ищукцу, а ее на учет не ставят. Это как, по-вашему? Справедливо? По человечеству справедливо?

Дело стало понемногу проясняться. Видимо, речь шла о Кларе-натурщице.

— Ваша дочь натурщица, кажется? Она художникам позирует?

— Вот, вот. Платят хорошо, мы не жалуемся. Только ей надо законно, чтобы там милиция или домком...

— К сожалению, это невозможно, — сказал Сажин, — ничем не могу помочь. У нас такой статьи нет — натурщицы.

— А ты заведи статью, начальник.
— Не имею права. Понимаете? И, извините, сейчас я занят...

Грузчик наливался злобой. Широкое его лицо темнело и краснело.

— А я говорю: заведешь статью.
— Не болтайте глупостей. И оставьте меня. Я занят.

Сажин заметил, что в щели приоткрывшейся двери появилась обеспокоенная физиономия Полещуха.

Грузчик обошел стол и приблизился к Сажину вплотную.

— А я говорю: заведешь. Не то пожалеешь. Крепко пожалеешь.

— Пожалуйста, не угрожайте мне.
— Милицию будешь звать? Да я из тебя баранью котлету сделаю.—И грузчик стал закатывать правый рукав спецовки.

— Нет,— сказал Сажин,— милицию звать не буду. Он встал, снял очки, протер стекла, положил очки аккуратно на стол, крикнул:

— Полещук! Откройте дверь!

И нанес грузчику два быстрых, коротких удара левым под лопатку, правой под подбородок, и тот выплетел в открытую в этот момент Полещухом дверь.

— Убрать его отсюда к чертовой матери! — сказал Сажин.

Полещук выставил грузчика на улицу и, захлопнув дверь, вдруг, к радости находившихся в зале посетителей, сделал переднее салют, затем заднее салют и прошелся по Посредрабису колесом.

Это было так неожиданно, так забавно, так не вялось с нынешней внешностью запущенного, нестриженного, неуклюжего Полещуха,—все прочно забыли о том, что он циркач, что Полещук некогда был Арнольдом Мильтоном.

Ему заплодировали, Полещук сделал цирковой «комплимент» и сказал:

— Вуаля!

В начале зимы в занесенную снегом Одессу привезли кинокартину «Броненосец «Потемкин».

Картина потрясла одесситов. «Броненосец» с огромным успехом шел у нас и за границей, но, вероятно, нигде картину не смотрели с таким волнением, как в Одессе.

И то, что действие ее происходило в их городе, и то, что множество живых свидетелей событий сидели в креслах кинотеатров, и то, что в эйзенштейновском фильме жила подлинная атмосфера Одессы... Да, вероятно, нигде на свете нет и таких чувствительных зрителей, как в Одессе. Зрительные залы содрогались от рыданий, когда на экране хоронили Вакуличука, и в ужасе кричали, когда по одесской лестнице катился коляска с младенцем и солдаты расстреливали толпу.

В излопской спокойной Одессе «Броненосец» взорвался, как бомба.

Картина захватила всех поголовно. В залах кинотеатров плакали не только те, кто по социальному своему положению сочувствовал революции — рядом с ними плакали и знамцы и одесские «люди воздуха», которым, казалось бы, ни до чего и ни до кого нет дела.

Это была та самая могучая сила великого искусства, что заставляла позднее поклониться «Броненосцу» весь мир, включая и ярых противников тех идеалов, за которые боролась картина.

Чувства людей уже не зависели от них. Их вели гений.

Но самое великое потрясение испытали участники съемок — те самые посредрабисные кадры, что снимались в картине. Они смотрели на экран и узнавали и не узнавали себя. Они вдруг стали фактом истории, их лица были лицами героев «Потемкини», героев Одессы 1905 года, героев Революции!.

Это потрясло их...

Все эти безработные маленькие актеры, рабочие сцены, кассиры, билетеры и просто типичники увидели вдруг себя и своих товарищей в каком-то новом, тревожащем, непонятном им измерении. Неужто это они, те самые одесские обыватели, что еще сегодня утром торговались на базаре, ссорились, беспокоились о хлебе насущном, бивали грубы с детьми? Неужто же это они, герои революционных событий, люди на экране, ставшие образами великого народного движения!..

Потрясенные до глубины души, с заплаканными глазами выходили они из кинотеатра и, встречая своего товарища, такого же безработного бедолагу, которого увековечил Эйзенштейн, смотрели на него удивленно-уважительно, с трепетом уже не как на давным-давно известного, ничем не примечательного и мало известного кассира, а будто на значительное существо из другого мира.

Они притихли и наутро следующего дня, встречаясь перед Посредрабисом, совсем по-иному, чем обычно, смотрели друг на друга, иначе здоровались, по-иному разговаривали.

Билетер Бродский перед тем, как войти в Посредрабис, долго стоял перед витриной, рассматривал свое изображение, разглаживая усы, снимая и снова надевая на голову изрядно пожелтевшие канотье. Выражение удивления и самоуважения не сходило с его лица: он больше не был безработным билетером Бродским — витрина отражала персонаж великой трагедии «Броненосца «Потемкин».

Но, пожалуй, больше всего был поражен этим превращением герой Сажин, просидевший в зале два сеанса подряд. Организованный, педантичный, он столкнулся с чем-то, что требовало взлета, много масштаба мысли и чувств.

Он видел на экране знакомых, изрядно поднадоевших вечными жалобами и просьбами людей, но то были уже не они. А может быть, именно это их истинное содержание или какими они могли стать, а то, что видилось в жизни,—шелуха, оболочка!..

Вот Клавдия Сорокина в эпизоде расстрела на одесской лестнице. Эта невзрачная женщина стала на экране прекрасной. Откуда явилась такая одухотворенность да и красота, эта таинственная красота?.

Из отдельных статистиков или почти неподвижных ее кадров, из состояний — вызова, гнева, ужаса, отчаяния, гибели — гений Эйзенштейна создал образ потрясающей силы. Сажин отогнал от себя мучительное воспоминание о своем жестоком поступке, но снова и снова являлась ему эта женщина с двумя маленькими детьми, которых она защищала. И в его сознании эти два образа соединились в один — героический облик женщины на белом полотне экрана.

Сажин ходил в кинотеатр каждый день. Это стало для него необходимостью. И, хотя он знал теперь весь фильм кадр за кадром, каждый раз он смотрел его с таким же волнением, как и весь зрительный зал. Быть может, то, что он знал, какой именно сейчас появится кадр, еще больше накаляло его волнение и ожидание.

«Броненосец «Потемкин» был для Сажина не только великим произведением искусства — он стал

красным флагом, утверждением всего, что было свято для Сажина. Это был символ самой Революции, ворвавшейся в нелепую атмосферу города, освещающей дождь, грозу, которую ждала природа.

Хоть коммунист Сажин и понял необходимость нового курса партии, но, приняв, все равно не мог спокойно относиться к внешним проявлениям нэпа, к той мути, что возникала на каждом шагу.

И вдруг — «Броненосец»!..

В всякий раз, смотря картину, Сажин нетерпеливо ждал встречи с той женщиной на лестнице, что была в одно время и героиней, расстреляваемой на экране царскими солдатами, и Клавдией Сорокиной, безработной билетершей из Посредрабиса.

Однажды, подойдя к Полещуку, он спросил:

— У нас сохраняются карточки снятых с учета?

— Ну, а как иначе? — ответил Полещук. — Вам кто нужен?

— Они у вас в отдельном ящике? Дайте мне весь ящик.

Полещук дал ему фанерный ящичек и с недоумением посмотрел вслед.

Зайдя в кабинет, Сажин прикрыл дверь, поставил перед собой на стол ящик с учетными карточками.

Их оказалось довольно много — по тем или иным причинам снятых с учета безработных. В большинстве это были не прошедшие перекалфикацию, некоторые количество просто «нежелательного элемента». Были тут и администраторы, которые устраивали «левые» концерты.

Все это лежало в алфавитном порядке. Сажин вынул карточку Сорокиной. По диагонали красным цветом горели слова «Снять с учета» и его, Сажина, подпись.

Сейчас красная эта резолюция читалась как обвинение, беспощадное обвинение ему, Сажину, в бесчеловечности.

Он прочел все ничтожные, ничего не говорящие о человеке анкетные ответы на вопросы.

— Вызовите, пожалуйста, эту Сорокину, — сказал он Полещуку, возвращая ящичек и отдельно карточку Клавдии Сорокиной.

Вызов был послан, но шли дни, а Сорокина не появлялась.

Послали еще один вызов. Не пришла.

Сажин списал с карточки адрес Клавдии Сорокиной и отправился ее разыскивать. Он не пытался объяснить себе, почему так нужно, так неминуемо нужно было ему найти эту женщину. Конечно, он чувствовал себя виноватым и хотел загладить вину. Да, это так. Но было еще и нечто иное, чего он сам не понимал, нечто куда более важное, обязательное.

Он чувствовал, что если найдет, если она будет рядом с ним, что-то разрешится, разъяснится для него самого. Теперь не было для Сажина ничего более значительного в жизни, чем отыскать Сорокину и ее девочек.

Переживаясь с трамвая на трамвай и все более тревожась, он добрался наконец до окраинной улочки, обозначенной в учетной карте.

Кривые и косые домишки сореволюнились тут в ничей жизнописности.

Сажину указали на «старую халупу, стоящую в глубине двора за разваливающимся забором».

На ступа в дверь никто не ответил, но из глубины двора появилась старуха с топором в руке.

— Клавка? Съехала. Давно съехала.

— Куда? Не знаете?

— Нет, милый, того не знаю. Не платила за квартиру — сколько ей ни говорю, а она: тетя Даша да тетя Даша, потерпите,— нету, ну, нету денег... Я вижу, что нет, терпела, да всякому терпелу ведь конец бывает...

— Она, может быть, тут же в Одессе — перебралась куда-нибудь.

— Нет, милый, нет. Очень ее участковый донимал... Куда-то она поехала доли искать. Наймусь, говорит, в горничные... А кто ее с двумя добавлениями возьмет... Ты не родичем ей приходишь? Тут карточка на стене осталась... так и висит...

Старуха провела Сажина в пристройку — тесный сарайчик с крохотным, в ладонь, окошком. Земляной пол. Топчан. В углу солома, покрытая рядном.

— Здесь жила?

— Здесь, милый, здесь.

На стене — прикрепленная булавкой цветная рождественская открытка: елка, веселые дети вокруг нее, и Дед Мороз с мешком подарков.

— Возьми карточку. Ежели увидишь, отдай. Поверись, я с нее даже за таблетики не взяла. Сонные таблетики я ей у провизорши нашей доставала. Девчонкам она их давала и сама примет. Чтобы, значит, спать. Кушать чтобы не хотелось!..

Сажин взял открытку. На обороте не было ничего написано — чистенькая открыточка. Попрощался. Ушел.

Н икогда прежде не снились Сажину сны. Он засыпал сразу, только коснувшись головой подушки. Сразу же и наступала темнота.

А тут начало сниться. Да все одно и то же. Одно и то же. Приходит будто бы к нему та женщина — не Клавда Сорокина, а та, с экрана, и вся светится, держит на руках младенца. И просит о чем-то, но слов нет, только шевелит губами и просит.

Хочет Сажин ответить ей, хорошо хочет ответить, но голос пропал, и он не может ничего сказать.

Женщина плачет. Нужно ее утешить, но — мучительное чувство — все так же нет голоса. Даже горло болит от напряжения.

И вот один из таких снов был прерван громким стуком в дверь. Наспех надев очки и завязав тесемку кальсон, Сажин открыл дверь.

Бывший квартирохозяин, а ныне сосед — зубной врач — стоял за дверью.

— Я очень извиняюсь, но вас спрашивает вот этот, не знаю, товарищ или господин...

К Сажину метнулась какая-то фигура, зажала его в железных руках:

— Здорово, Бебель-Гегель!

Так называл его только один человек на свете — Сева Туляков, командир эскадрона, друг Сева. Называл, подшучивая над его граничащим с чудачеством слабостью к первоисточникам.

Зашли в комнату, то обнимаясь, то похлопывая друг друга по плечам.

— Вот ты куда спрятался... осматривая голые стены, сказал Туляков.

— А ты, вижу, совсем обуржуазился...

Сажин разглядывал друга — тот был в хорошем сером костюме, на руке ладья. Новые коричневые ботинки...

— Да, чистый Чемберлен, — смеялся Туляков. — Махнем куда или тут у тебя в берлоге засядем?

Натянул Сажин галифе, сапоги, френч, и пошли они с другом Всеволодом Туляковым в город.

Было это в воскресенье. Сажин свободен от своего Посредрабиса, а Туляков только утром являлся по делам.

Начались рассказы да воспоминания.

Всеволод рассказывал о себе. После демобилиза-

ции пошел он по прежней своей специальности — шофером. Попал в большое учреждение, водил легкой автомашины марки «Австро-Даймлер», возил очень ответственного товарища.

Тут устанавливаются у нас дипломатические отношения с одной буржуазной страной и ответственно, что возил Туляков, назначают туда торговцем. Он забирает с собой в качестве шофера — Всеволода. Попав за границу, Туляков пересел на торговедский «бенц». Все было бы хорошо, освоил Туляков новый город, освоил «Бенца», но одно обстоятельство не давало жить. Приходилось дежурить у торговцев, сидя за рулем и ожидая выезда. А тамошние конторки и наши безоммунгенты идут мимо и бросают в советского шофера то гнилые помидоры, то сырые яйца... Машина открытая, куда спрячешься... Отвечать нельзя. Наклоняться, хоть голову спрятать — недостойно как-то. Сидишь, как памятник, а тебе в рожу летит всякая пакость... течет по лицу... Надувал нас торговед, понимаешь, машину в красный цвет выкрасит, да герб на дверках хотел для пропанды... Смешно...

Полцейский видит все это — руки за спину и по-дальше, куда-нибудь за угол... Месяц такой жизни выстоял Туляков, а потом пошел к торговцу в кабинет и — на колени. «В жизни», — сказал, — на колени не становился, а теперь стою — довели. Отпустите. Не могу больше». Отпустили. Теперь диктуют. Работа мирная — тот же почтальон. А в поезд едешь — дверь на замок, пистолет с предохранителем. Все-таки человеком себя чувствуешь. Ну, а ты, ты-то как, друге?..

Они вышли к центру города и невольно остановились у витрины большого ювелирного магазина. Бриллиантовые броши, изумрудные кулоны, жемчужные ожерелья, кольца с огромными драгоценными камнями — все светилось, переливалось в смещении дневного света и электрической подсветки.

— Что ж, — помолчал, сказал Туляков, — все правильно. Пошли.

Однако же на каждом шагу им открывалась то витрина кондитерской с тортом в человеческий рост, то кричащая афиша ночного кабака с полуголой женщиной, застывшей в танце.

Они заглянули в казино, где в первом зале действовала рулетка, а во втором шла — по крупной — картяжная игра.

Рулетка «пти шво» была устроена в виде бегов — то кругу бежали игрушечные лошадки с номерами на спине, и, если бы не деньги на зеленом сукне стола и не выкрики «Игра сделана, ставок больше нет», все сошло бы за невинную детскую забаву.

Здесь было шумно, накурено, а во втором зале стояла напряженная тишина. Дореволюционный крупье во фраке, с набриллиненным подбородком, ловко загребал лопаткой с длинной ручкой ставки проигравших и пододвигал фишки выигравшему.

В этот зал не проникало солнце, свечи в канделябрах освещали бледные лица, дрожащие руки, глаза, прикованные к зеленому столу.

Сажин и Туляков переглянулись и пошли к выходу.

— Да, — только сказал на улице Туляков. Сажин помолчал.

Каждый из них порознь давно уже видел все эти внешние приметы нэпа. Но теперь, когда они были вдвоем — два бойца Красной Армии, расставшиеся тогда и встретившиеся теперь, — все виделось как бы вновь, будто впервые.

Толстый нэпман, проходя, толкнул Тулякова и прошел, даже не заметив этого.

— Ничего, ничего. Все правильно, — пробормотал Туляков и обратился к Сажину:

— Слышь, а не выпить нам? Что-то, кажется мне, обязательно нужно выпить...

Сажин достал из кармана френча деньги и стал пересчитывать.

— Да у меня есть, — сказал Туляков, — не надо. Однако Сажин досчитал и тогда только ответил: — Пошли.

И они оказались в ресторане. Сели за стол. На эстраде, перекрывая разговоры, смех, стук вилок и ножей, звон бокалов, скрипка и рояль — знаменитый дуэт — играли «Красавицу». Этих музыкантов знал весь город. Они были настоящими художниками, подлинными виртуозами и могли бы сделать блистательную музыкальную карьеру, если бы не ресторан. А в ресторане... Здесь никто не мог так зажечь публику, так взвинтить настроение, как эти артисты.

Сажин знал их по Посредбабису, где они состояли на учете.

Пространство перед эстрадой было заполнено танцующими. Особенно старалась одна толстая нэпманша. Вместе с партнером, томным юношей, видимо, состоящим «при ней», эта дама исполняла нечто среднее между модным чарльстоном и грузинским одесским танцем «Семь сорок».

Партнер старательно, но безуспешно приспосабливался к ее движениям. Нэпманша прыгала, сияла и счастливо выкрикивала:

— Ай, хорошо! Ай, хорошо!

— Все правильно, — зло сказал Туляков.

Официант подал ему меню.

— Во-первых, графин водки, — сказал Туляков.

— Прикажете маленький или большой?

— Большой, обязательно большой.

Сажин обеспокоенно спросил:

— А сколько стоит большой?

— Да брось ты, — махнул рукой Туляков, — в общем, графин и закуски, чего там у вас есть?

— Икорки прикажете зернистой? Сметанка есть, ассорти мясное, балычок имеется...

— Значит, так, — сказал Туляков, — икру зернистую, семгу, балык...

Официант быстро записывал в блокнот.

— ...и прочее, — продолжал Туляков, — оставьте на кухне...

Официант с недоумением посмотрел на него. — ...а нам несите селедки с картошкой. Договорились? Да картошки побольше. И масло.

Официант презрительно зачеркнул первоначальный заказ и исчез.

Сажин развернул и осмотрел свою салфетку, затем стал тщательно протирать ею фуферы и рюмки.

— Послушай, Сева, — сказал он, — когда я выпил первый раз в жизни, то из-за этого женился. Интересно, что случится теперь, когда я выпью второй раз...

Туляков усмехнулся.

В зале было много декольтированных дам — бриллианты в ушах, пальцы унизаны дорогими кольцами. На спинки кресел откинуты собольиные палантин и горностеевые боа.

Мужчины рассматривают чужих женщин, а их женщины исподтишка кокетничают с чужими мужчинами.

«Разрешите пригласить вашу даму?»

«Если она не против, пожалуйста».

Столы заставлены коньяками и шампанским в ведерках со льдом, на посуде «фраг» горы закусок, горят спиртовые под горячими блюдами, носятся по залу лакеи во фраках.

Графин перед друзьями быстро опустел.



Туляков, мрачней, оглядывал зал и по временам произносил свое:

— Все правильно...

— Да, верно, все правильно, — сердито повторял Сажин. Он жестом подзвал официанта и протянул ему графин: — Повтори!

Музыканты лихо играли, время от времени выкрикивая — и очень музыкально — слова модной шуточной песенки:

Красавица моя,
Скажу нам не тая,
Имеет потрясающий успех.
Танцует, как чурбан,
Поет, как бабайка.
И все-таки она милее всех...

Официант быстро принес второй графин.

— Давай, Севка, за Советскую власть! — Сажин налил доверху фужеры и выпил до дна. Вместо друга он вдруг увидел на эстраде квартет.

Сажин снял на мгновение очки, и мир превратился в вертящиеся светлые и темные пятна. Закружилась голова. Он снова надел очки, и пятна стали непонятными рожами и раскормленными телами.

Казалось, клавиши рояля вот-вот разлетятся, брызнут во все стороны под ударами пианиста.

...Моя красавица
Всем очень нравится.
Походкой нежною,
Как у слона...

Сажин вдруг встал, потянулся и, одернув френч, твердым шагом направился к эстраде.

— Ты куда? — испуганно крикнул Туляков, но Сажин продолжал идти между столиками — высокий, странный человек в очках. Туляков пошел было за ним, намереваясь удержать.

Но Сажин поднялся по ступенькам и поднял руку. Музыканты растерянно, нестройно смолкли.

Публика в зале, перестав жевать, с недоумением уставилась на странного человека во френче и галфе, вдруг оказавшегося на эстраде. Постояв немного и дождавшись тишины в зале, Сажин вдруг запел во весь голос, дирижируя себе рукой:

Мы — красные кавалеристы, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ...

Зал замер. Произошло нечто невероятное, неслыханное, скандальное...

На эстраду, минуя ступеньки, одним махом вскочил Туляков, встал рядом с Сажиним, и они, обнявшись, стали петь вместе:

О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы гордо, мы смело в бой идем.

Странный человек во френче, обнимая одной рукой друга, второй размахивал, дирижируя, и пел. Музыканты — скрипач и пианист — подхватили мелодию, и теперь Буденновская кавалерийская уверенно понеслась над притихшим залом ресторана.

Вдруг какой-то низенький, кривоногий официант поставил на пол, прямо посреди прохода, блюдо, которое нес, вскочил на эстраду и, став по другую сторону, рядом с Сажиним, тоже запел:

...Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!
Пусть гром гремит.
Пусть пожар кругом.
Мы — беззаветные герои все...

Сажин и его обнял.

Выбежал откуда-то метрдотель, бросился к эстраде.

— Господа, товарищи... прошу прекратить...

Но на него не обратили внимания ни поющие, ни музыканты.

Песню допели. Сажин, Туляков и официант спустились в зал.

Забешенный мэтр набросился на официанта:

— Как вы смели! Я вас завтра же уволю!

Но маленький официант только рассмеялся.

— Я сам сейчас уйду.

— Позвольте, Лапиков, вы же обслуживаете шесть столов...

Официант сунул ему в руку салфетку.

— Сам обслуживай. Меня нет дома.

И, прихватив по пути бутылку водки со стола, догнал друзей.

Втроем они вышли на пустынный Ульвар, хлебнули по очереди из бутылки и пошли дальше — странная тройка: один во френче, другой во фраке, третий в сером пиджачном костюме.

Никто пути пройденного
У нас не отберет.
Мы конница Буденного
Дивизия вперед...

На углу Ришельевской эту конницу остановил милиционер и без особых объяснений препроводил в отделение.

Утром Сажин в измятом френче вошел в свой кабинет и, впервые не протерев сиденье, плюхнулся в кресло. «Свое, конечно, получу... — думал он, — скорей всего строгач... А может быть, и выставят остода к черту...»

— В общем, все правильно... — сказал Сажин вслух.

Начался обычный рабочий день Посредрабиса. Приходили и уходили посетители.

Выйдя в зал к Полешуку, Сажин заметил среди актеров вчерашних музыкантов.

— Здравствуйте, Андриан Григорьевич, — сказал с уважением пианист, когда Сажин проходил мимо.

Судя по лицам окружающих, они никому из «посредрабисков» ничего не рассказали о ночном происшествии.

«Конспираторы...» — усмехнувшись, подумал Сажин.

Прошел месяц. То, что случилось в ресторане, и ночь, проведенная в отделении милиции, каким-то образом прошли для Сажина без всяких последствий.

Пришло письмо от Тулякова. Он сдержал слово, данное другу, и добился у своего начальства согласия на перевод Сажина в свое ведомство.

«К сожалению, — писал он дальше, — тут как раз пришла директива о сокращении штатов, так что об оформлении нового человека нет и речи. Как ни жаль, а получается, оставаться тебе со своими артистами. Что делать, брат, что делать...»

Сунув письмо в карман своего старого френча, отправился Сажин к девяти ноль-ноль на службу.

...Старший батальонный комиссар Сажин Андриан Григорьевич погиб в бою под Одессой 21 сентября 1941 года восточнее Тилигульского лимана и похоронен в братской могиле.

Виталий Керотич



Перевел
с украинского
Е. ХРАМОВ

Читая Ленина

«...требую еще раз, чтобы был создан такой порядок, при котором *идущие ко мне, хотя бы без всяких пропусков, имели возможность, без малейшей задержки, созвониться...* с моим секретариатом...

В. И. ЛЕНИН. Том 54, стр. 36.

А когда часовые задремлют,
прижавшись щекой к прикладу,
и коридорами белыми
бродит гулкая ночь,
пропахший огнем и дымом,
приходит к Вам посетитель
с кровавым бинтом на белом
обескровленной лбу.
Пройдя через все приемные,
он открывает двери,
садится,
тяжелые руки
он на колени кладет.
И долго он Вам рассказывает
о том, как сражались хлопцы,
о том, как падали хлопцы,
землю руками обияв.
Вы слушаете человека,
последним желанием которого
было —

увидеть Вас.
Бессмертие Вашей мысли
стало его бессмертьем.
И Вы, волнуясь, слушаете
спокойный рассказ бойца.
В жилы нового века
так много влился крови —
перед глазами Вашими
сквозь гул кровавых дождей
лицо Александра Ульянова,
матери Вашей слезы...
Сколько очей погаснет,
пока рассеется ночь!
На скатерти —

крошки хлеба:
ходок приходил с Поволжья.
На скатерти —
капли крови:
был с Украины боец.
Они проходили охрану,

Они говорили просто:
«Нам надо увидеть Ленина».
И пропускали их.
Всех Вам принять нужно,
Всех Вам понять нужно.
Да не остановится сердце,
Вместившее целый свет!
...И когда Вы отсюда уйдете,
не выключайте света,
после себя оставьте
навек включенным свет.
Оставьте зажженную лампу
для тех, кто войдет в эти двери,
для тех, кто сюда приходит
вот уже столько лет.
Им тоже взглянуть придется
в глаза всех визитеров,
прошедших через охрану,
пришедших из пекла борьбы.
Пора отдохнуть немного.
Идите...

Но эта пуля
живет как напоминание
о том, что не кончен бой.
И разве заснуть Вы можете,
когда в тиши коридорной
снова шаги раздаются
тех, кому нужны Вы!
Вы из-за стола встаете
и, протянувши руку,
идете навстречу пришедшим,
несете навстречу им
биенье жаркого сердца,
сталь непреклонной воли,
да боль от пули, которой
ранили Вас в бою.

Алексей Дадьянов



Лучшее, что было, сберегу.
Доброе, разумное прославлю.
Сердце разорвется на бегу —
Стук последний Родине оставлю.
Мне б еще десяток лет прожить,
Все ее увидеть достижения
И на бывшие поля сражения
Камень изумрудный положить.

Вспомнить тех, кто пал в последний миг,
Кто до наших светлых дней не дожид —
Юношей на тридцать лет моложе
Нас с тобой, живых еще, живых.



Мы едем шагом. Свет луны
Струится между минными полями.
Я мог бы здесь лежать, но нет моей вины.
Что я в седле, а не в холодной яме.
Из страшных мест уносят кони нас,
Все помняших, любовь и человечность.
И кажется, на землю в первый раз
Глазами звезд с улыбкой смотрит
вечность.

Пять дней тому назад закончилась война.
Пять дней в груди ни хрипа и ни стога.
Мы едем шагом. Желтая луна
Качается, что колокол без звона.

Борис Дубровин



Прикалсь все кокну траншею,
Когда ракета взмыла ядром,
Но, точно выхваченный ею,
Поднялся первый политрук.

Казалось, век мгновенно длиться,
Когда поднялся он, сутул.
Когда кубарь в его петице
Ракетной искрою блеснул.

До пояса врагам открытий
У содрогавшейся реки,
Был политрук подобен крику,
С которым кинулись в штыки.

Вобрал песок и шорох лодки,
И трассы хлесткую струю,
И скрип сапог, и лязг короткий,
И стон поверженных в бою...

Волю медленной зализан
Траншейный шрам наскосок...
Лишь память — стреляная гильза
По шляпку втоптана в песок.



Старшина прокричал мне, стреляя:
«Не туда! С упреждением бей!»
А в глазах моих дымка седея
Оседала, как в недрах траншей.

Под фугаской у сбитых пантонов,
Слыша бомб нарастающий вой,
Вместе вздрагивал я с потрясенной,
Исковерканной взрывом землей.

И постиг я в бою на рассвете
Там, над Вислой, у мелких траншей:
Ожидание страха и смерти —
Даже смерти и страха страшней.

Баллада о красных ягодах

Землянка в земле, в землянике.
Поющий июль.
Поляна в золе, а в зените
Небесный патруль.

И вдруг головешкой горячей
Скользнул «ястребок»,
Блеснул парашют и, сквозь щазу
Промчавшись, прилег.

У стога, в кустах невысоких,
Крапива растет.
В расстегнутом комбинезоне
Недвижен пилот.

И крови дорожка густая,
Как нитка, плотная,
К углу подборodka стекает
От краешка рта.

Пилота тяжелого тащим
Уже не в санбат,
И капли кровинки горящих
Вдоль ягод горят.

На нижние нары в землянке
Пилота кладем.
Смолкают штабные морзянки,
Хлопочет с бинтом.

Но веки навеки разжаты,
Недвижны глаза,
И летчик сквозь бревен накаты
Глядит в небеса.

Как будто бы в схватке прошедшей
Он смерти не ждет
И остервенело гашетку
По-прежнему жмет.

В землянке мы стиснуты болью,
А он — в небесах,
Тень «фоккера» с плоской консолью
Зависла в глазах...

Связистки к морзянкам прикикли,
Но сам я притих:
Кровавый накарп земляники
На нарах моих.



ЯВКА С ПОВИННОЙ

ПОВЕСТЬ

Глава шестая

На следующий день, в понедельник, около девяти утра, Лева расхаживал перед кабинетом Турилина. Коридор был пуст. Понедельник — день тяжелый, в уголовном розыске это не шутка, а печальный факт. Утренняя сводка происшествий за субботу и воскресенье, которую зачитывает дежурный в девять сорок пять, несколько подбывает у сотрудников отдела веру в доброту и высокое предназначение человека.

Ежедневно, в девять сорок, все собираются в кабинете у Турилина. Три-четыре минуты выясняют, кто отсутствует: одни ведут срочные допросы, кто-то на месте происшествия. Затем Турилин, как полководец, оглядывает оставшихся в строю и, повернувшись к дежурившему ночью, говорит: «Прошу вас». Дежурный встает и медленно, монотонно, словно читает псалтырь, сообщает о зарегистрированных за сутки преступлениях. Если дело по своему характеру и общественной опасности заслуживает внимания управления, Турилин смотрит на сотрудника, которому предстоит им заниматься, тот отвечает кивком, мол, понял; сводка читается дальше.

В понедельник в сводке записаны преступления двух дней. Люди не работали. Лева явился сегодня на работу около восьми, написал обширную справку, где подробно изложил свои соображения по делу. Сейчас он ждал начальника, который обычно принимал сотрудников сходу, сегодня же маршировал Леву в коридоре уже около часа.

Константин Константинович прочитал справку, теперь сидел за столом и, отвечая на телефонные звонки, давал указания, выслушивал доклады, размышлял, что же ему делать с инспектором Гуровым.

В целом работа Гурова полковнику нравилась. Полученная информация обработана профессионально, рассуждения логически связаны, интересны, хотя в отношении «проверочного» телефонного звонка многовато, к примеру, фантазерства... Турилин прочитал справку до эпизода с наездницей Григорьевой.

Поведение Гурова с Григорьевой перечеркивало все его достижения. Его поступок мог очень усложнить расследование, поиски доказательств. Однако это беда поправимая. Розыск убийцы, человека расчетливого, жестокого, требует в первую очередь осторожности. Преступник, безусловно, осведомлен, что за убийство из корыстных побуждений с заранее обдуманном намерением может получить высшую меру наказания. Защищая собственную жизнь, когда терять-то уже нечего, он убьет не моргнув глазом.

Существует много профессий, где риск необходим. Люди этих профессий обязаны неукошительно соблюдать правила безопасности. Минер не удерит кулаком по неизвестному предмету, чтобы проверить, мина ли это. Хирург не тыкает скальпелем в поисках аппендикса. Электрик не хватается за обнаженные провода, пробуя силу тока.

Гуров допустил серьезнейшую ошибку. Турилин не знал, как поступить, и злился. Отстранить от ведения дела? Тогда мальчишка потеряет веру в себя, всю жизнь останется исполнителем. Пропосчитать и оставить? Предположим, он извлек урок, понял свою ошибку; подробный, откровенный доклад в общем-то свидетельствует об этом. Григорьева, конечно, не убивала, убийца, безусловно, мужчина. Есть преступления мужские и женские. Порой их можно спутать, чаще — нельзя. Логикова убил мужчина. Турилин не сомневался. Однако Григорьева могла быть невольной пособницей. Она, не подозревая, что разговаривает с убийцей, расскажет о Леве Гурове, сумасшедшем «писателе». Убийца поймет: на него «выходят». Из мести, позерства, мании величия: плевать я хотел на весь уголовный розыск, — где-нибудь за той же конюшней он проломит Лева голову и, обрывая ведущую к нему нить, зарежет Григорьева.

От этих мыслей Турилина отвлекла секретарша генерала, сообщив по селектору, что Константин Константинович просит срочно к началу дня.

Турилин обрадовался: решение можно отложить. Лева подсколил к полковнику, как только тот открыл двери.

— Разговор наш, коллега, отложим на завтра, — сказал Турилин Гурову. — Поезжайте в прокуратуру, доложите все следователю. На ипподроме я вам запрещаю пока появляться. — Он вошел в приемную генерала, слыша за спиной невятное бормотание подчиненного, повернулся и добавил: — Только вы уж, коллега, пожалуйста, как-то обойдите молчанием полученную оплеуху. Разрешаю соврать, скажете: оттолкнула и убежала. Ваше ползание по навозу не делает чести ни делу, ни мне, его руководителю.

Лева высочил в коридор, добрал до кабинета, плюхнулся в кресло. Главное, от дела не отстранили, остальное поправимо. Он положил в карман второй экземпляр справки. Что еще? Вспомнил вчерашний вечер, о нем он не сообщил Турилину. Лева ничего не скрывал, он несколько раз пытался изложить все события на бумаге, получался рассказ, эдакое эссе, никак не деловая справка. Однако...

Вчера Лева ушел из конюшен и вернулся на ипподром. В ложе ничего не изменилось. Это для Гурова прошла чуть ли не вечность, а здесь лишь два заезда. Аня насмешливо заметила, что из-за денег мужские чат нервноича не пристало. Наташа, то-мо улыбкуившис, сказала: «Ничего, Анка, он при-выкнет, скоро станет пил-мальчишкой». Сан Санчй кивнул на табло и спросил:

— Вам нравится?

Только теперь Лева вспомнил о лежавших в кармане билетах. На табло горели цифры: три и пять, чуть дальше — двести тридцать четыре.

— Сколько же я выиграл? — растерянно спросил Лева.

— Четыреста шестьдесят восемь, — ответил Сан Санчй.

— Потрясающе, почти пятьсот рублей. А мне тут внушали, — Лева указал на зрителей, — Гугенот не имеет шансов, придет Титан либо Гвоздика.

— Педагоги. — Сан Санчй усмехнулся. — По сто лет на бегах провели. Анекдот. Ну, не будь на свете дураков, уным бы жилось скверно.

— Как же вы угадали? Секрет?

— Логика и психология. — Сан Санчй развернул перед Лева программу. — Здесь написано, что едут мастера. По радио же объявляли изменения. На Титане вместо мастера-наездника Харкина едет наезд-

ник второй категории Кузькин, а на Гугеноте едет не Нина Григорьева, а Петр Темин, — Сан Санчй говорил тихо, проникновенно, в то же время казалось, он говорит не для профана Лева, а с трибуны поучает многочисленную квалифицированную аудиторию. — Титан — жеребец в компании сильнейший. Теоретически. Практически живой рысак с четырьмя ногами может раздаться, перетерпываться. Харкин, как мне известно, человек паршивый и лошаде, которая должна выиграть, помощнику не отдаст. Раз Харкин не едет, значит, шансы Титана невелики. Григорьева? Гугенот впервые участвует по четвертой группе, должен ехать мастер. Нина сажает в калачку помощника. Она знает, что Титан разделился — он и встал на третью четверти, — а Тимофеевича на Гвоздике можно взять ездой. Темину давно пора получить первую категорию. Нина отдает ему Гугенота. Пусть молодой дерзает.

— Все просто. — Лева потер распухшую скуку.

— Очень, — согласился Сан Санчй. Глаза же его смотрели насмешливо. — По закону ипподрома — с вас причитается, дорогой новичок.

Лева засуетился, предложил пойти в ресторан. Сан Санчй брезгливо поморщился.

— Ната, ты приглашавеш нас в гости. Отметим успехи Гугенота, Григорьевой, пацана Темина и связанную с ними нашу скромную удачу.

— Рада, только у меня нет даже хлеба, — ответила Наташа.

Решив все купить по дороге, они вышли с ипподрома. Лева получил выигрыш, вместе с машинкой у него теперь было больше пятисот рублей, и он чувствовал себя как-то непривычно. Стараясь не думать о завтрашнем дне, полковник Турилин, Лева с радостью уцепился за возможность забиться, принял приглашение «выпить по чашечке кофе и послушать приятную музыку». Впрочем, никто не приглашал. Сан Санчй ни о чем не спрашивал окружающих, не предлагал, не советовался, он сообщал им, где и как они проведут время. У него была «Волга», старая модель, но в хорошем состоянии. Проехав несколько улиц, он остановил машину и сказал:

— Командуйте, Лева.

Лева понял: его отправляют за спиртным и закуской. Он взял сидевшую рядом с ним Аню за руку и шепнул:

— Спасайте, я абсолютный профан, — и очень предусмотрительно сделал, так как Сан Санчй остановил машину не у гастронома, а около шикарного ресторана.

Лева знал: на людей, к которым ты обращаешься с просьбой, лучше всего действует правда. Особенно, если она простится слегка принимает или делает чуть смешным. По дороге в зеркальный вестибюль Лева быстро выложил девушке свою правду: он никогда не заходил в этот ресторан, не имеет понятия, как здесь следует разговаривать. Анна назвала его прелестью, взяла уверенно под руку, провела через весь зал, усадила за свободный столик, который явно никем не обслуживался. Затем она взяла у него десять рублей и подозвала официанта. Он начал что-то объяснять, жестикулировать, Анна положила ему в нагрудный карман десятку, и официант затих. Лева перестал удивляться, со скончанием видом осматривал зал, девушка же разделялась с официантом, как опытный следователь с воршикой, задержанным с полицийным.

— Икра есть? Десять порций. Рыба? Я не про се-ледку спрашиваю, оставьте кету шеф-повару. Де-

сать порций. Коньяк — две бутылки, шампанского две бутылки. Шашлык восемь...

Официант стоял, вперев глаза в потолок.

— Пять минут, — заключила девушка.

— Шашлык жарить надо, — безнадежно сказал официант.

— Чужие принесешь, готовые, — Анна указала на соседний стол. — По мордам видно, шашлык ждут.

— Они час с лишним...

— Час или два, какая разница? — перебила Анна официанта.

Пытаясь сохранить видимость достоинства, официант отошел к соседнему столу, до Лэзы донеслись обрывки разговора, официант объяснял, что шашлык оказался на радость свекрови, подзавать стыдно, сейчас приготовят новые.

Лева уже изумил чав, пересчитывал столики, занялся люстрой. Он чувствовал, девушка смотрит на него, ему же смотреть ей в глаза очень не хотелось.

— Сколько вам лет, Левушка? — спросила Анна и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Двадцать пять, двадцать семь. Как же вам удалось сохранить невинность?

Злитъ Леву не стоило, в отделе это знали, знали и некоторые из его бывших клиентов.

— Хамства не люблю, — медленно сказал он, предостав, что сидит не здесь, а в своем кабинете. Там ему удавалось осаживать дзиз и покрепче, он умел смотреть им в глаза. Ему стало спокойнее, он даже улыбнулся, взглянул на Анну.

— Ого! — лишь вздохнула она.

— Не надо. — Лева продолжал улыбаться. — Людей унижать нехорошо. — Он встал навстречу подбавшавшему официанту, приняв от него огромный пакет, расплатился и, не сгорачиваясь, пошел к дверям.

Аня секунду помедлила, затем бросилась догонять Леву. К машине они подошли вместе.

Наташа жила в одноконнатной кзартире. Лева ужаснулся царившему беспорядку. Хозяйка ленивыми движениями переложила несколько вещей. Неубранная двуспальная тахта, разбросанные везде предметы женской одежды, пачепальницы, полные окурков. Лева выбрал кресло, на котором не валялись ни лифчик, ни трусики, осторожно сел, взял с кровати книжку с глянцевитой обложкой. Кукольная блондинка, томно завитая глаза и обнажив грудь, изображала, что существует с котгами и кловами, склонившая над ней, вот-вот задушит ее. Картинок больше Лева не нашел, а английского не знал; книжку пришлось отложить.

Наташа исчезла: судя по доносившемуся шуму воды, находилась в ванной. Сан Саныч с Аней, перебрасываясь шутками, ловко накрывали стол. Ходили по кзартире они уверенно, знали, какой ящик серванта открыть, где что взять. Аня почти не смотрела на Леву, казалась или пыталась казаться смущенной.

Сан Саныч выглядел в домашней обстановке значительно кложе и проще, чем в ложе ипподрома. Исчезла монументальность, солидность, чуть ленивая медлительность. Он двигался быстро и легко, порой с мальчишеской порывистостью, явно хотел выглядеть левким. Волосы носил длинные, но не битовские и красиво выходящие, одет был дорого, но не броско. Лева пытался отгадать, чем он занимается в свободное от бегов время, бесцеремонно, в упор разглядывая его, понял, почему он, сидя, выглядит старше. Вблизи можно разглядеть в шевелюре седину, глав-

ное же — глаза, серьезные, глядящие чуть устало и насмешливо.

Вернулся из ванной Наташа, опустилась на стул, сбросила тапочки, поджала босые ноги. Лева наконец понял, что все свои медленные, ленивые движения, позы и театральные повороты она скопировала с Сан Саныча. Таким он был в ложе ипподрома. Только у него, как выражаются киношники, четко проступал второй план, он действительно о чем-то напряженно думал, от этого у него не хватало энергии на движения. Наташа же казалась позеркой, плохой актрисой.

Точно угадав мысли Левы, Сан Саныч сказал:

— Настасья Филипповна из местных.

Лева согласно кивнул, Аня нерзительно хихикнула, Наташа, явно не зная Достоевского, тзмно зззнула и сказала:

— Мальчики, хочу шампанского.

— Как прикажете. — Сан Саныч зсключил, начал субливо открывать бутылку.

— Служит всегда радиз-с, — поддержал его игру Лева, тоже всключил и занялся приготовлением бутербродов. — Икорка свежая, но сомкзается, сегодня от Елисева.

— Семужка нзжайшая, так и тает, — зторил Сан Саныч, — по специальному рецепту.

Выпив шампанского и раззселившись, Аня ззрзстала изображать смущение, Наташа начала нормально двигаться и говорить. Включили музыку. Лева любил и умел танцевать. Девушки приглашали его по очереди, сомксиваясь над Сан Санычем, который танцевал свкерно.

Около двенадцати Лева собрался уходить. Аня подхватила свою сумку и тоже направилась к дверям. Сан Саныч заявил, что, выпив, машину не водит, и остался в кзартире. Не спросил разрешения, просто зсказал:

— Ната, организуй раскладушку, я останусь.

Какое дело инспектору Гурову до их отношений? Почему, кто и где остается спать?

Лева отвез Аню домой на такси. Она жила в старых переулках, в трехэтажном нзказистом доме. В машине они целовались.

Позже он шел домой пешком и думал, всгоминал, и чем дальше, тем больше накапливались вопросы. Многие могли показаться, одно из вызвало сомнений: Лева Гуров чем-то заинтересовал Сан Саныча. Чзм? Эксперт с вечеринкой умел и тонко подстроен. Почему? Лева выиграл по подкаске, выигравший угодает. Естественно. Но когда Лева попытался изложить свои соображения на бумаге, получилась ерунда полная.

Предупрежденный звонком, следователь прокуратуры ждал Леву в своем кабинете. На огромном старинном столе громоздились папки с делами. Следователь, крикнув, поднялся из кресла, протянул Леву руку. Как и в прошлый раз, Лэзины пальцы потонули в широкой, мягкой ладони. Следователю было около шестидесяти, очень крупный, полный мужчина. В кабинете все большое — стол, кресло, из сейфа, а необычный железный шкаф, даже папки на столе неправдоподобно пухлые. Следователь прошелся, разминая затекшие ноги, отдувался, сопел, словно перед приходом Левы не писал, а камнями воячал.

— Ну что, господин инспектор? — Он выпил подряд два стакана воды, тут же стал вытирать платком лицо и шею. Увидев, как Лева достает свою справ-

ку, следователь запротестовал: — Ой, бумаги надоели. Словами, русскими простыми словами, пожалуйста. — Лева сел в кресло для посетителей, начал было говорить, хозяин остановил: — Подожди. — Он кричал, долго усаживался в кресло, попытался сложить разбросанные по столу пакеты, потом безнадёжно вздохнул: — Ну, давай...

Лева начал резво, следователь его тут же остановил:

— Стой! Подумав, сказал: — Давай!

Весь доклад Лева своими «стой» или «давай» следователь разбил на логически законченные куски, даже точнее, чем они были разделены абзацами в справке. В интервалах следователь думал, иногда долго...

Когда Лева закончил, следователь ему подмигнул и сказал:

— А чего? Ты ничего. — Он с любопытством разглядывал Лева, словно тот сию минуту вошел без стука.

Лева не любил, когда к нему обращались на «ты», но толстенный, утирающий пот следователь Лева нравился. «Ты у него звучало естественно, без упрощения и панибратства, «чего» он выговаривал вкусно, видно, нравилось ему слово. Следователь закончил осмотр Лева, повернулся в кресле, хотел подняться, лишь вздохнул и сказал:

— Шкафчик открой, пожалуйста, сделай любезность. — Он указал на свой огромный, во всю стену, сейф-шкаф.

Ключи торчали в замке, Лева отодвинул тяжелую дверцу — пахнуло сыростью и лежалой бумагой.

— На нижней полке сверточек в газете, дай-ка его сюда, дружок.

Лева взял лежавший на нижней полке, перевязанный шпагатом, заклеенный сургучными печатами пакет, положил на письменный стол. Следователь подвинул пакет к себе, накрыл ладонями, хитро улыбаясь.

— Даю одну попытку, отгадывай.

— Пакет принесла Григорьева, — ответил Лева. — Она прятала его в водосток, перед этим нашла у тела Логинова.

— Ну-у, — протянул следователь, — с тобой неинтересно, и быстро спросил: — Что в пакете?

Лева протянул руку, хотел пощупать пакет, следователь не разрешил.

— Ты его уже держал.

«Подкова», — подумал было Лева, но тут же отказался от этой мысли. Пакет тяжелее, главное, больше по объему.

— Ну, ну! — Следователь усмехнулся. — Все ты верно здесь излагал.

— Билеты тотализатора, — как бы шаря впотмах, сказал Лева.

— Верно. Сколько?

— Пятокот, — рубанул с плеча Лева.

— Чертенюк. Пятокот сорок. — Следователь вновь достал огромный платок, вытер пот и тихо, как бы между прочим, спросил: — Когда Григорьева принесла их?

— Григорьева ждала вас сегодня в девять, у кабинета, — уверенно ответил Лева.

— Шииш! — Лева увидел ший такого размера, какие и в мультфильмах не показывают. — Вот такто. — Следователь говорил уже серьезно, без тени юмора: — Возьми, поработай немножко. — Он протянул Лева бумагу, на которой столбиками были выписаны цифры. — Номер билетов, покупали их в разных кассах, но, может, кассиры что-нибудь подскажут. Они же знают заведующих. — Понимая, что Лева ждет от него другого разговора, следователь

смиловился. — Дружок, ты сам здесь очень хорошо, точно, главное, логично доказал: Григорьева и Логинов люди хорошие — от данной печи и плясать следует. Доказал одно, а бросился в обратную сторону. Решил, так не сворачивай, хуже нет метаться. Григорьева принесла мне данный сверточек в четверг. Спрятала она его горюча, думала, обнаружат рядом с мертвым наездником билеты тотализатора, запачкают покойного билетки с ног до головы, дело ее любимое измажут, товарищей-наездников, всех. Я вам в пятницу звонил несколько раз, — переключил на «вы» следователь. — Мне сказали, вас не будет. Я и отложил до понедельника.

Лева слушал следователя, не зная, радоваться ему или огорчаться. Нина ни в чем не виновата. Все его выкладки оказались верны, кто-то играл против Гладнатора. От этого непомерно высокая выплата за фаворита. Есть билеты тотализатора, можно побеседовать с кассирами. Смогут они вспомнить, кто делал такие крупные ставки? Судя по списку, ставки делались в двадцати пяти кассах. Этим займусь братья-разбойники, Лева на ипподроме расшифровываться нельзя.

— Молодой человек! — Следователь смотрел на Лева сердито. — Я, кажется, разговариваю с вами.

— Извините, задумался — Лева улыбнулся, он видел: следователь лишь напускает на себя сердитый вид.

— Слушай, ты случаем не Ивана Гурова сын? — спросил вдруг следователь.

«Началось», — подумал Лева, — хоть фамилию меняй. Куда ни придешь, один вопрос — сын или не сын?»

— Нет, — ответил он.

— Врешь. — Следователь вновь хохотнул. — Запятывал, сейчас вспомнил. Ивана я как-то встрял, рассказывал, мол, отпрыс по сыскной части трудится. Да ладно. Не сын ты, личность. Признаю.

Вспомнил что-то смешное, искорки забегали в глазах, следователь нахмурился и засопел. Лева пригрозился: ясно, сейчас разыгрывать его начнет.

— Да, вспомнил, — сказал следователь. Лева даже приподнялся в кресле. — Что-то ты про зонок в кабинетах рассказывал? Интересно, интересно, — пытаясь сдержать улыбку, он хрюкнул, получилась ужасно смешно, тогда он расхохотался вволю. Вообще, как заметил Лева, старший следователь прокуратуры оказался непозволительно для своего возраста и положения смешлив.

Лева из вежливости тоже улыбнулся, потом, вспомнив известную фразу: ты мне друг, но истина дороже, сказал:

— Простите, однако под всем сканальным могу расписаться.

— Фантазер, фантазер. Оставим это.

— Простите. — Лева начал краснеть. — Это не личное наше дело. Версия, которую я готов отстаивать.

— Каким образом? — Чтобы не видеть Левинного румянца и вновь не рассмеяться, следователь начал перекладывать разбросанные на столе дела.

Идея, которую собирался высказать Лева, появилась у него, когда он, ожидая Турликина, расхаживал по коридору управления. Лева методом исключения пришел к выводу, что если он звонившую давушку знает, то это может быть лишь Аня, приятельница Саня Саньча. Почему бы и не прозверить? Номер телефона Ани у него есть.

— Вы мне на слово поверите? — спросил Лева. Следователь ответил жестом, означавшим: «Как тебе не стыдно, старик!» — Прекрасно, нужны параллельный телефон и молодая женщина.

— Аппараты параллельные, — следователь указал на два аппарата, один на его столе, второй на тум-



бочке в углу кабинета,— в молодая женщина...— Он взглянул на часы, Лева отметил, что хозяин часто на них поглядывает, Лева понял, что пора закружиться.— Молодая женщина задерживается.— Следователь выбрался из-за стола, обошел графин с водой, приоткрыл дверь, взглянул в коридор.— Здравствуйте, я вас жду.

— Я слышала голоса, считала, вы заняты.— Лева услышал женский голос и встал.

— Я на работе обычно занят, Нина Петровна. Пройдите, пожалуйста.

Нина была в строгом, темном костюме, в туфлях на высоких каблучках, судя по прическе, только что из парикмахерской. Увидев Лева, Нина глубоко вздохнула, будто собиралась прыгнуть с вышки, зачем-то переложила сумочку в левую руку. За спиной закашлял следователь, и Нина опомнилась.

— Пишете? Доносы пишете!— громко сказала она.— Мерзкий вы человек!

— Сядьте, Григорьевна,— спокойно сказал следователь; от тона его голоса даже Лева поемжился.

Нина села, демонстративно отвернувшись к стене. Лева продолжал стоять, следователь начал расхаживать по кабинету, ходил и молчал, молчал и ходил. Было совершенно ясно— говорить здесь сейчас имеет право он один. Молчали минуту, две, сначала стало неприятно, затем неловко за хозяина, он явно переигрывал. Когда же они помолчали минут пять, в кабинете стало страшно. После такой паузы объявляют о смерти. Нина перестала смотреть в стену и опустила голову, только тогда следователь заговорил:

— В этом кабинете доносов не писали. Когда вас, Нина Петровна, на свете не было, в те времена доносы здесь тоже не писали. Вы меня поняли?

— Простите. Вас я не хотела обидеть,— ответила Нина.

Следователь ходил по кабинету легким, стремительным шагом, человек большой, массивный, уверенный в себе. Лева казалось— пожимай сейчас ему следователь руку, и ладонь у него окажется не мягкой, а железная.

— Я вас в прошлый раз пожалел, зря пожалел, оказывается. Вы понимаете, что означают эти билеты тотализатора? Убийца поставил пятьсот сорок рублей против Гладатора. Он был уверен, что Логин пойдет на сделку и Гладатор проиграет. Потеряв деньги, он бросил билеты около труп наездника. Возможно, на билетах были отпечатки его пальцев. Бы билеты собрали и все испортили.— Это был блеф, на картонных билетах могли оказаться сотни отпечатков, и они ничего не доказывали.— Лев Иванович Гуров— советский офицер,— следователь вновь сделал паузу.— Все должны усвоить, что значит— советский офицер. Он один из лучших сотрудников уголовного розыска, ас, можно сказать.— Лева не знал, куда деваться, сестра, что ли? А то стоит, как памятник себе. Следователь почувствовал его состояние, взял под руку, заставил ходить рядом, не обращая внимания на Нину, своим обычным тоном спросил:— Так что у тебя за идея, дружок? Есть у нас параллельный телефон, есть молодая женщина.

Лева приходил в себя.

— Ты хочешь позвонить своей «незнакомке»? Значит, ты кого-то подозреваешь и имеешь номер телефона. Почему не рассказай раньше? Кто? Как познакомились? Какие основания подозревать? Хорошо, позже расскажешь,— не давая Лева вставить ни слова, продолжал говорить следователь, подвел «советского офицера» к креслу, усадил.— Предлог

для звонка? Тема разговора? Не получится ли: мы вас перепроверяем?

— Не получится, я продумал,— ответил Лева. Передышка, предоставленная ему следователем, вернула спокойствие. Лева во всем происходящем увидел даже комическое, когда же хозяин из-за спины Нины ему подмигнул, Лева заулыбался.— Я запишу, чтобы Нине легче говорить.

Лева записывал для Нины текст, следователь ей негромко объяснял:

— Нам нужно послушать один женский голос.— Нина кивнула, следователь хотел разговаривать ее заранее и спросил:— Как здоровье Гладатора?

— Гриша? Спасибо, здоров,— Нина сразу оживилась.— Он вообще у нас крепкий, не жалуетса, веселый, порцию свою сегодня хорошо поел. Скоро в Европу едет.

— Вас возьмет?

— Возьмет.— Нина улыбнулась. Когда зашел разговор о лошадах, она преобразилась, от всей ее сдержанности не осталось и следа.

— Пожалуйста.— Лева протянул Нине лист.

Нина читала, морщилась, удивленно спросила:

— Костюм стоит рубль двадцать?

— Нет, но она вас поймет,— ответил Лева.

Вчера он слышал, как Аня говорила Наташе, что оставила продавщице комиссионного магазина свой телефон, хочет купить бижутерный костюм. На этом Лева и собирался сыграть. Нина перечитала текст несколько раз, следователь поставил ей телефон на колени и сказал:

— Сядьте свободнее, легче говорить будет.

Нина послушно откинулась на спинку кресла, набрала номер. Лева, сняв параллельную трубку, вспомнил, что вчера у него появилось ощущение, что голос Ани ему хорошо знаком. Когда они ехали в машине, Лева спросил у девушки номер телефона, она почему-то сказала, что телефона нет. Он запомнил адрес и в справочной узнал, что в доме, где Аня живет, телефон есть в одной квартире. Он решил, что у Ани, а она, видимо, соврала.

В трубку звучали длинные гудки. Нина вопросительно взглянула на следователя, и в это время резкий женский голос ответил:

— Да. Говорите.

— Позовите, пожалуйста, Аню,— сказала Нина.

— Я на проводе.

Лева не узнавал ни голоса Ани, ни голоса незнакомки.

— Добрый день,— читала по бумажке Нина.— Я слышала, вы интересуетесь бижутерным костюмом.

— Да, да. Вы от Ксюши?— Голос подобрел, и Лева узнал Аню.

— Нет, но мне сказали...— сообразила ответить Нина.

— Верно. Не имеет значения.— Аня заговорила веселее.— Что же можете предложить?

— Италия,— ответила Нина,— цвет морской волны, брошки с магнетитами, карманы накладные.

— Что вы хотите?

Нина растерянно взглянула на Лева, тот, закрыв трубку рукой, подсказал:

— Сколько стоит?

— Рубль двадцать,— чуть запнувшись, ответила Нина.

— Надо взглянуть. Какой размер?

— Сорок шесть— сорок восемь.

Лева мысленно написал больший размер, чтобы удобнее было прервать разговор.

— Милочка,— разочарованно протнула Аня,— я не доярка колхоза «Красный богатырь». Сорок четыре. Это максимум.

— Сорок шестой — вполне приличный размер, — обиделась Нина. — Или вы балерина?

— Не балерина, — передразнила Аня, — но задница у меня сорок четвертого размера, и я не морщащая мать.

— Не подходит? — спросила решительно Нина.

— Сорок четыре, милочка, очень прошу...

— Реуар, — Нина положила трубку, но Лева ее не положил и слышал, как Аня продолжала говорить:

— Минуту, милочка. Если у вас будет сорок четвертый...

Лева опустил трубку; самое обидное, что эксперимент не дал ни положительного, ни отрицательного результата. Лева и узнавал и не узнавал голос «незнакомки». Вспоминать голос Ани, он представлял себе шевелящиеся губы и непроизвольно вытер ладонью рот. Черт побери, вчера она ему казалась хорошенькой, соблазнительной.

Хозяин кабинета не зря был следователем прокуратуры, он слышал только разговор Нины, но ситуация сложилась не из самых сложных; без тени улыбки он сказал:

— Не понял, Лев Иванович?

— Не понял, — согласился Лева. — Оставим как версию?

— Оставим. — Следователь повернулся к Нине. — Спасибо за помощь, Нина Петровна. А сейчас вот вам журнальчики. — Он взял с журнального столика несколько экземпляров, протянул Нине. — Посидите в коридорике. Мы тут кое-что обсудим, затем Лев Иванович вас проводит.

— Благодарю, мне на работу надо, дорогу я найду. — Нина стояла перед следователем, независимо смотрела на него.

За последние сорок минут у следователя в третий раз изменился голос.

— Оставьте, Нина Петровна. Я вам сказал: подождите — и вы подождете. Лев Иванович вас проводит, купит по дороге цветы, я хочу, чтобы ваши сослуживцы видели, как он за вами ухаживает. В дальнейшем ни он, ни я не станем вам объяснять свои поступки. Помощь следствию не благоденствие, а священный долг каждого нормального советского человека. — Он четко выговаривал каждое слово, Нина стояла перед ним и выслушала все до конца. — Мы защищаем социалистический правопорядок. Жизнь человека священна, убийца должен быть выявлен и наказан. Один раз вы нам помешали, больше мешать не будете. — Следователь взял Нину под локоток, подвел к двери, открыл ее. — Сидите и ждите.

Как только закрылась за Ниной дверь, следователь будто сразу потолстел и обрюзг, тяжело вздохнув, спросил:

— Понял, какие слова знаю? А ведь то не слова. — Он взялся за графин, выпил два стакана подрадя и извлек из кармана свой платок-полотенце. Усаживаясь в кресло, он вновь сошел, охал, морщился, в общем, страдал, словно великодушник. Женщины — публика тяжелая, — сказал он. Лева хотел улыбнуться, но, встретив серьезный взгляд следователя, воздержался. — Ты, братец, умный, талантливый, возможно, да главного в тебе нет. Что это ты девочку так с собой держаться позволяешь? Там, в вашей оперативной обстановке, ты можешь клоунаду разыгрывать, фигли-миги разные. Коли здесь встретились, достойно обязан себя держать. Она ведь тебя ударила сейчас собралась, ты же бровью не повел. А ты знаешь, кого быют? Быют лишь человека, который разрешает себя ударили.

— Не понимаю, — смущенно пробормотал Лева.

— Вижу. То и плохо, раз не понимаешь. Болтают, что у нас взгляды, манера держаться, говорить особенные. Ерунда. Здесь, — он постукал себя по груди, — особенное. Тебе человек охранять себя доверил. Доверил. Вдумайся. Ты не Лева Гуров, ты — полковник Турилин, друзья по работе, вся наука, которая на вас работает, все — ты. Так и держись. Если убежден, что нельзя тебя послушаться, убежден — хамить тебе невозможно, любыми глазами на человека гляди, он точно поймет, что ему позволено, что нет. — Без всякого перехода спросил: — Как дальше-то жить будем? Что предпримем, товарищ инспектор уголовного розыска?

Лева хотел изложить свой план, но вовремя вспомнил указание Турилина и сказал:

— Мне Константин Константинович запретил пока на исподrome появляться.

— Он такой... Испугался за тебя, значит? — Следователь снял телефонную трубку, начал набирать номер. — Сейчас с ним поговорю.

Лева не удивился, что следователь называет Турилина по имени. Все старики друг друга знают. Кости, Вани, Васи. Они вместе строили и копали, стреляли или плавали на экзаменах, или воевали в Великую Отечественную. Если один другого не вытаскивал из-под огня, значит, тот вытаскивал из иного места его брата. Все друг другу обязаны по гроб жизни. Почему-то по служебным вопросам они разговаривали всегда сугубо официально, и Лева не удивился, когда, соединившись с полковником, следователь сказал:

— Константин Константинович? Здравствуйте. Из прокуратуры города...

Глава седьмая

Нина работала на кругу. Двухлетний жеребенок, которого она водила шагом, поступил на исподrome с завода в апреле, сейчас июль, жеребенку пора участвовать в бегах, а он рысак как следует не освоит. Четверть круга пройдет, запрыгает, галопом ему хочется. Не понимает, что он рысак, да еще королевских кровей, он должен осесть по своему возрасту выигрывать, он же все балуется, даже по седьмой группе проигрывает.

Как всякая женщина, Нина мгновенно почувствовала взгляды «писателя». Ей нравились его стройная фигура, изящный костюм, нравилась стеснительность, постоянный вопрос в глазах — голубыш, мальчишески наивный. Когда там, на аллее исподрома, Лева поднял решетку, начал говорить обидные слова, она потеряла голову. К сожалению, ей и раньше приходилось драться, особенно в первые месяцы работы на исподrome. Но те, прежние, ждали от нее удара, даже признавали ее право на физическое сопротивление, уважали его подготовленными, с шуткой или пьяной руганью защищались. Лева упал, так как не ожидал ничего подобного. Она бежала, бежала и плакала. Увернуться он не успел, но в глазах его она увидела боль и страх. Боль и страх не за себя, а за нее, Нину. Почему-то она уверена в этом, он испугался за нее. Бессонной ночью эволюции постепенно утихла, уступили место расступу. Писатель что-то разносил, выведывал за ее спиной. Кто-то из работников мог видеть его у этого люка. Писатель теперь собирает материал для газеты, то есть собирается сделать то, чего Нина более всего боялась, — огласки, тенденциозной, обывательской, грязной оценки случившегося. В кабинете Нине вновь захотелось поднять руку, следователь за спиной вовремя закатывал, а то быть бы беде.

Она послушно сидела в коридоре прокуратуры и ждала. Журналы лежали у нее на коленях, она их даже не развернула. Лева все не выходил, она радовалась отсрочке, ведь необходимо подготовиться. Как теперь вести себя с ним?.. Значит, она ударила офицера, инспектора уголовного розыска, человека, который искал убийцу, старался ей, Нине, помочь. Что же теперь делать, как вести себя с ним? Инспектор уголовного розыска. А с, сказал следователь. Но ведь в уголовном розыске работают лишь самбисты либо боксеры, на худой случай шангисты. Худенький юноша, если бы не рост, jokeem мог бы стать. Как он бандитов и убийц выслеживает и арестовывает? Где холодный взгляд, тяжелые плечи, уверенная поступь? Инспектор на эстрадном гитаристе похож, лишь прическа попроще. Нина с ужасом ждала появления Лева. Он вышел из кабинета веселый, улыбающийся, протягивая ей руку, сказал:

— Нина, я давно хотел вам предложить... Мимо проходили какие-то люди, он наклонился к ее уху и тихонько поцеловал.— Давайте меняться: за каждую оплеуху два поцелуя?

...Воспоминания не мешали Нине работать. Она чувствовала шаг жеребенка, слышала его, копыта ударили ритмично. Выйдя на прямую, Нина решила пустить жеребенка в резвую: надо выяснить в конце концов, почему он так сбивает на испытаниях. Жеребенок послушно принял посыл, копыта застучали чаще. Нине не нужен был секундомер, она знала: едет четверть в тридцать шесть секунд, то есть можно пройти дистанцию примерно за две минуты двадцать пять. Для двухлетки, участвующего в испытаниях по седьмой группе, просто отлично. Сколько он в таком темпе может выдержать? Миновали вторую четверть, вошли в третью, неожиданно сади раздался стук копыт. Нинин жеребенок все держался в свои тридцать шесть; по тому, как мощно настигал их соперник, Нина определила, что тот бежит в тридцать одну. Так ровно и четко идти мог только Григорий, но он сейчас в деннике. Рысак проглотил мимо, будто Нина не ехала, а топталась на месте; жеребенок ее, желая догнать наталяного соперника, "з"рыгал, наездница осадил его, взяла в руки, сама смотрела на удаляющегося гнегого. Она мгновенно узнала и наездника и рыска. Ехал мастер Стени. Только он умел в калаче сидеть, как на троне, расправив плечи и гордо откинув голову. Его гневной жеребец Ринг бежал великолепно, еще недавно он показал две минуты двенадцать, сейчас был готов на две ноль пять.

Нина успокоила своего двухлетку, заставила шагать. Она видела гневного Ринга лишь мгновение, но ей и этого было достаточно. Она поняла, что у Гладиатора появился достойный соперник.

У конюшни Рогозин с Левой возлился с «американкой», правили у нее колеса, восмырлю чутычущего. Лева бросила жеребенка на попечение встретившего их Николая; даже не взглянул на Лева, о котором думала последние часы, прошла к денникам. Гладиатор заржал.

— Выводить, Нина? — спросил подошедший Рогозин.

За последние дни он впервые назвал ее по имени. Нина, оторопев, кинула и радостно откликнула:

— Выводите, выводите, Михаил Яковлевич.

Гладиатор выбежал на солнце, играя делал вид, что пугается тени от столба, описал вокруг конюха круги и замер. Он отлично понимал: людям необходимо полюбоваться; ему не жалко, любуйтесь. Он стоял свободно, и в то же время картинно изогну шею, раздувал ноздри; не двигаясь, перекатывал под лопатками мощные мышцы. Темный шелк кожи

был так тонок, что просвечивали голубые вены. Нина провела полотенцем по крупу, смахнула опилки.

— Не воображай, грязнуля.— Нина протирала жеребца полотенцем, ласка ее рук никак не сочеталась с нарочито серьезным тоном.— Я сейчас покажу тебе одного товарища, ты лишь взглянешь и поймешь, не зря он тебе через бабушку родственником приходится. Он те тебя спесь сойдет.

Коля уже подкатил качалку. Рогозин запрыгал, жеребец взял железный мундштук, будто сахарный. Нина заняла свое место, конюхи отскочили, рысак стоял. Выдержав солидную паузу — ведь необходимо напомнить, что здесь главный,— Гладиатор медленно двинулся. Он не жеребенок, но какой-нибудь заштытный рысачок-трехлеток, ему не пристало бежать на круг рысью. Медленно, медленно, каждый шаг в историю, он еле сдерживался, бежать-то все-таки хочется.

— Понял Григорий, все понял,— скупое улыбнулся Рогозин.— Видать? Виталий на Ринге проехал, зацепил Нинку, зашебарылся девочкой. Хорош Ринг, спору нет, капитальный жеребец, класс, школа, все при нем. Григория же ему не обехать.

...Когда Нина с букетом алых гвоздик в сопровождении Лева появилась у конюшни, Рогозин зыркнул из-под нависших бровей и, как жук, уполз в темноту. Он не поздоровался, молча ушел, пока наездника переседолались, так же молча запряг Нина жеребенка; только когда она отъехала, повернулся к Лева.

В халхи решил запряться? На этой дорожке тебе не проехать.

Николай ушел трех жеребят на выводку. Лева скинул повод, засунул рукава, схватил ведро: может, воды принести? Рогозин ушел в денник, молча начал колдовать над конюхом серого жеребца по кличке Вымпел. Лева упрямо вошел в денник, сел в угу на опилки—это в своих-то отглаженных брюках. Он уже понял: молчание старого конюха—как плетью обуха — не перешибешь, и решил подойти с другого конца. Лева честно, без утайки рассказал Рогозину все. Каким образом и за что убили Логонова. Рассказал о билетах, о подкове, сознался, что одну шер он, Лева. Последний факт особенно подклевывал на Рогозина, ведь подковы-то действительно пропало две, конюх перестал привязывать компресс, сел, обнял ногу лошади, прижился к ней, слушал Лева уже внимательно и смотрел на него. Случайки Лева, лишь утаив про заключение экспертизы, представил дело так, будто Нина заявила в первый же день сама. Якобы сказала она: вам без помощи настоящего специалиста не разобраться. Лучшие Рогозина Михаила Яковлевича на всем ипподроме конюха и человека вам не найти. Михаилу Яковлевичу открытось, не пожалеете, он один помыс может.

В этом месте конюх не выдержал и силным голосом пробурчал:

— Врешь, как двухлеток скачешь.

Все грехи человеческие Рогозин приписывал двухлетним, поступающим с завода жеребятм. Лева уже привык, не обиделся, доказывая, что он значительно обогнал в хитрости не только жеребят, но и взрослых призывов рысачков, напомнил конюху, как он, инспектор уголовного розыска, без сомнений открылся Рогозину.

— Прими, прими,— сказал Рогозин, выходя из денника.

Лева появился следом, Рогозин рассказывал у конюшни, скреб в затылке, думал. Лева присел в сторонке, не мешал. Рогозин выкатил качалку, начал снимать колесо. Лева стал помогать. Несколько минут они трудились молча, наконец Рогозин спросил:

— Что же ты хочешь, нескладеха?

Лева объяснил, что покойного мастера не знал, не может понять, почему он так странно последний заезд вел. Кто и чем мог его так рассердить?! Рогозин вновь задумался. В это время подыхала Нина.

Лева заметил перемену в Рогозине, как подобрел, повеселел старый конок, даже улыбнулся. Хотя говорил он о вещах, никакого отношения к делу не имеющих, Лева слушал внимательно. Случается, люди зорыными считают следствию помочь, обронят самое главное слово случайно. Твое дело — подобрать или валяться оставил.

Ровно в шестнадцать часов Гуров вошел в кабинет Турилина.

Турилин пригласил Лева к себе, хотя вполне мог дать ему указания по телефону. Под нажимом следователя прокуратуры полковник разрешил Лева вернуться на ипподром, но уверенности, что решение правильно, у Турилина не было. Преступник опасен, работая рядом с ним следует чрезвычайно осторожно, в крайнем случае быть готовым к прямому столкновению. Оружия Гуров, конечно, с собой не носит, правильно делает. Что ему сказать, как еще раз предупредить? Либо верить, что он готов к такой работе, либо отстранить.

— Поезжайте в редакцию. — Турилин мельком взглянул на подчиненного. — Нехорошо получается, Лева, бумажку в журналы мы получили, а очерк не пишем. Некрасиво. Сейчас главный редактор коллегию проводит, вы у дверей подождите. Вы меня поняли?

— Да, Константин Константинович. — Лева кивнул. — Показаться сотрудникам журнала. К редактору заходить?

— Естественно. Валя вас ждет.

— Вместе учились или воевали? — поднимаясь, спросил Лева.

Полковник что-то искал в ящике стола и рассеянно ответил:

— С Валькой? С Валькой мы Гамлета на переменуку... Он поднял на Лева взгляд, резко хлопнул ящик. — Какое вам дело, собственно? Главный редактор журнала Валентин Сергеевич Раскатов. Марш отсюда. Сыщик, видите ли, выискался.

Быть или не быть, повторял Лева по дороге в редакцию. Интересно на полковника в роли Гамлета посмотреть. Лева уже представил, как рассказывает в отделе о юношеском увлечении начальника.

В редакции стояла полная тишина. Лева подергал холодные никелированные ручки, заглянул в приемную, секретарша пила чай, не ожидая вопроса, сказала:

— Редколлегия.

— Извините. — Лева прикрыл за собой дверь, давая понять, что уходит не собирается.

Он попытался представить, как журналисты знакомятся с секретаршами. В уголовном розыске, когда требуется подлизаться к секретарше, существует испытанный прием. Следует потереть глаза, зевнув, намянуть, мол, ночь сложилась непростая, бандит уходил, отстреливаясь. По правилам игры можно рассказывать все, кроме правды: хвастаться настоящими делами считается дурным тоном. Инспектор сочиняет, а секретарша знает, что он сочиняет. Опытный рассказчик за ерундовую байку может получить почти невозможное, к примеру ему отпечатают справку для начальства не завтра, а до обеда. У Лева на счету несколько погонь, перестрелок, даже один прыжок с самолета, но здесь он журналист, а не инспектор угрозыска.

Пока он колебался, дверь в кабинет редактора открылась, и оттуда начали медленно появляться люди. Когда Лева вошел в кабинет, он увидел на столе несколько тарелок с окурками, а за столом в клубах дыма сидели люди. Лева громко поздравлялся. Широкоплечий, с большой головой и седой, почти до самых бровей шевелюрой, человек, перебивая гул голосов, сказал:

— Здравствуйте, Лев Иванович. Мы сейчас заканчиваем.

— Как здоровье, Валентин Сергеевич? — в тон главному спросил Лева.

— Витя! — крикнул главный. — Познакомься. Лев Иванович согласился написать для нас очерк об ипподроме. Жена, у тебя найдется две полосы в одиннадцатом номере?

Лева жал чью-то руки. Кто-то его предупреждал, что две полосы ему не выбить даже ценой жизни. Другой предлагал, лучше резать себя сразу, чем кромсать в последний момент по живому. Третий, ткнув Лева в бок, советовал вычеркнуть этот год из жизни, забыть его раз и навсегда. Лева держался бывалым воином и не повел бы бровью, вскинул главный на стол и затянул: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца».

Когда все ушли, главный шире распахнул окна, ловко собрал разбросанные по столу бумаги и быстро заговорил:

— Как продвигается работа над очерком? Здорово? — Главному было за шестьдесят, и последнее слово ему шло исключительное. — Вы случайно не сынок Вани Гурова? Нет? Жаль, прекрасный парень.

Лева любил разговаривать с людьми, которым не следовало отвечать на вопросы. Главный говорил и читал какую-то статью, чирикал карандашом, выдыхал и говорил:

— Готовьте, готовьте очерк, очень интересный и нужный материал. Ничего не знаю, я Костю предупредил. Что? Писать не умеете? Удивили, старик. Чехов умел, Толстой, еще двое-трое. Достоевский не умел! Гений, а писать не умел. Очерк к первому августа, пожалуйста. — Валентин Сергеевич сделал очередную пометку на статье, отложил, взял другую. — Косте кланяйтесь, кланяйтесь, — задумчиво повторил он, читая материал.

— Спасибо. До свидания. — Лева попятился, осторожно приоткрыл дверь и выскользнул в приемную, затем в коридор.

— Старик, сигареты есть? Как тебе наш главный? Мамонт! — с гордостью сказал Витя — заведующий отделом, куда следовало принести очерк.

— Мамонт, — согласился Лева.

Вите, как и большинству сотрудников журнала, было около тридцати, и седой гривастый редактор выглядел среди них действительно мамонтом.

— Заговорил, слова не дал вставить? — Витя улыбнулся нежно и покровительственно. — Только не надейся, он ничего не забудет. Когда притащишь свой опус?

— К первому августа, — ответил Лева, чувствуя, что заходит в лабиринт.

— Не подводи, отец с меня спросит. И я тебя прошу, старик, — продолжал Витя дружески, — не трогай ты этот чертов тотализатор.

В дальнем конце коридора Лева увидел Аню — девушку остановившую у первых дверей, с кем-то заговорила.

— С тотализатором вечный скандал. Одни говорят — закрыть, другие — не закрывать. Лошадки, нам нужны лошадки,

— А люди? — наблюдая за Аней, спросил Лева. — Хотел бы рассказать о человеке, по-настоящему влюбленном в свое дело.

— Прекрасно! Только не рассказывай, а покажи нам его. Поступки, действия, словам сейчас никто не верит.

С дальнего конца коридора крикнули, Аня увидела Лева, махнула рукой и подошла.

Лева собрался познакомиться Аню с Виктором, однако они прекрасно обошлись без формальностей. Пожали друг другу руки и заговорили, как старые знакомые.

Через несколько минут Лева с Аней вместе вышли из редакции.

Лева шел молча и злился, больше всего злился на себя за вчерашние пьяные поцелуи. Джеймс Бонд такой выискала. Если он не заблуждается шпиономанией и девочка действительно выполняла чье-то задание, она, естественно, ничего не знает. Ее, конечно, используют втемную: сделай то, не делай это. Она ничего не знает. Кто ее мог послать? Только один из двух — либо Сан Санчй, либо конок Николай. Конок все больше и больше заинтересовывал Лева. Многие в его поведении не вязалось с внешней грубостью. Или конок абсолютный протак, или он человек хитрый и прудумсмотрийный.

Следователь прокуратуры убежден, что установить преступника даже не четверть дела. Найти ты его найдешь, говорил он утром Лева, где мы доказательства искать будем? Очаровательный у нас организуется натурморт: преступник и рядом будет в колпаках с бубенчиками. Один старый и толстый, другой молодой и стройный. Колпаки у нас будут одинаковые. Лева пытался объяснить, что способен воссоздать всю картину преступления до мельчайших деталей. Следователь ответил: «Дружок, картины — бесценный материал для мемуаров, а не для суда. Главное у нас впереди. Учи, когда будешь искать преступника, не забывай о доказательствах, тащи их вместе! — Он даже упрямил Лева, уговаривал, словно маленького. — Хоть самую малость откопай, детальку крохотную, фактик, но железный, чтобы не лопнул, не обломился. У меня хватка бульдожья, дай уцепиться, старый все вытащишь».

В голове все путается, рядом шагает эта девочка, которую он вчера целовал почему-то. И от нее духами резкими пахнет.

— Я сдаюсь! — Аня дернула Лева за рукав, остановила. — Слышишь, сдаюсь, писатель! — Она кричала, почти плакала.

Он нахмурился. Не понимая происходящего, какой-то прохожий остановился; молодая женщина покатила детскую коляску быстрее и сказала:

— Вот так они нас доводят, молоко пропадет. Лева подхватил Аню под руку, пошел на другую сторону.

— В чем дело? Почему истерика? Кому ты сдаешься? — сердито спрашивал он.

— Не кричи на меня! — Аня разрыдалась. Горю ее было искренним, девушка даже забыла про тушь на ресницах. Размазывая ее по лицу скользящим платочком, Аня объяснила Лева, что решила его перемолчать, теперь сдается. Они ходят по городу уже час, она проголодалась и устала, он на нее не обращает ни малейшего внимания. Худенькая и желкая, даже клещи поникли, глядя на Лева, Аня продолжала всхлипать, поглядывала на Лева нерешительно — то ли ей плакать дальше, то ли нет.

Прекрати истерику, или я сейчас уйду, — сказал Лева, подтолкнул девушку в подворотню. — Призоди себя в порядок.

В конце концов, разговаривать с ней моя работа, уговаривал себя Лева. Надо разобраться, какою она

место занимает в компании. Что собой представляет Наташа? Насчет ее квартиры ответ будет завтра. Лева дал задание проверить обеих девиц и, конечно, Сан Санчю по всем карточкам, учетам, задержаниям в отделениях милиции.

Из подворотни появилась Аня: носик воинственно поднялся, ресницы свежо поблескивают, грудь вперед, клешам могут позидовать морщины всех флотов мира. Она несколько пренебрежительно взглянула на Лева и сообщила, что собирается зайти куда-нибудь перекусить.

— В ресторан я с тобой не пойду, ты не умеешь себя вести, — отгелил Лева, — хочешь есть, рядом кафе.

Девушка не ответила ни словом, ни взглядом, резко повернувшись, пошла прочь. Лева облегченно вздохнул и направился домой. Если девочка его разыскала из чисто амурных соображений, то все прекрасно, если ее послали к нему, то в среду, на ипподроме, она станет ниже травы. Возможно, ей поручили привести его в определенный ресторан или вновь к Наташе. Лева сумеет подогреть интерес компании к своей особе, пусть они ищут подходы, он может подождать. Ему суд не грозит, у него нервы в порядке. Возможно, он в среду даже не зайдет на трибуны, а ведь им надо вытерпеть сегодняшний вечер, весь завтрашний день и среду. Вот он позднее и решит, встретиться им в среду или нет. Мы станем решать, вы — ждать.

Глава восьмая

Нина медленно подходила к ипподрому, минувшая проходная, стояла на углу. Она ждала Лева, хотела увидеть его порывнее. Смерть Логинава сейчас казалась давно прошедшим. Нина старилась себе признать в этом. Убили ее учителя, прекрасного, тихого человека, она же вспоминает, — нем лишь на мгновение, тут же думает о молодом инспекторе. Он придет на конюшню, начнет неумело помогать конокам, бродить, молчаливый, между денниками, удивленно поднимая брови, разглядывая лошадей и укрядно смотря на ноз, Нину. Инспектор смотрел влюбленно, лишь красной порой, смущенно улыбаясь, как бы спрашивая взглядом: вы не сердитесь? Лева ей понравился сразу, как появился на конюшню, хотя в тот день Нине было не до него. Высокий, стройный, он привлекал не внешностью, был обаятелен своей непосредственностью и искренностью. Понял, что он за ней следит, Нина словно получила удар и ответила ударом — так она привлекла, считала, в жизни иначе нельзя. Он мог там, в прокуратуре, отыграться сполна. Она бы на его месте... Нина даже замкнулась, а когда открыла глаза, увидела в конце улицы высокую, быстро приближающуюся фигуру.

— Нина! — Последние метры он пробежал. — Вы ждали меня? Я так рад.

Он мог и не говорить, это было видно и так. — Лева, а вы только меня, — изожиданно сказала Нина, подняв голову, посмотрела ему в лицо.

— Знаю, но это пройдет. Он рассвено улынулся, думая уже о чем-то своем, тут же нахмурился, ответил в створку, к рощему у забора огромному платану. — Вы только не сердитесь. Вы мне мешаете, Нина. — Он торопился, боялся, что Нина обидится и уйдет. — Я думаю все время о вас, мне же следует заниматься делом. Людей нельзя убивать, их даже обижать нельзя. Мне верят, мне поручили мои товарищи, люди. Вот, — он указал Нине на идущую

щую по другой стороне улицы женщину с кошелкой,—эта гетанка, даже не зная о моем существовании, верит мне.

Нина, отлично понимая, что несправедлива к Лева, сказала:

— О чем вы, Лева? Оправдываетесь, будто должны и не отдаете. Занимаетесь своим делом, мальчик.

— Нехорошо.— Лева покраснел.— Вы же не можете во время соревнований разговаривать со мной? Я не обиделся.

Лева работал на конюшне весь день рядом с Рогозиным и Николаем. Он уже научился держать лошадь спокойно, когда ее запрягают, прогуливать после тренировки, душекот ему даже мыть дозволили. Работать—одно, думать, видеть, чувствовать—другое. Он видел, что Николай нерзничает, следит, старается все время держать его в поле зрения. Пиджак Гурова висел между замшевой курточкой Николая и потрепанным пиджаком Рогозина. Есть тысяча предлогов, чтобы войти в комнату и опустить руку в карман собственной куртки. Как все просто. Когда Лева держит лошадей, между ним и комнатой отдыха больше пятидесяти метров. Даже если он все бросит и побежит, Николай успеет обшарить карманы его пиджака и, взяв в своей куртке папиросы, выйти из комнаты. Как все просто. Два часа, три, четыре, пять часов Николай не может сделать такой простой вещи. Пиджак притягивает, как мощный магнит, Лева чувствует мучения Николая, но, к сожалению, помочь не может. Уже два дня Николай обшаривал его пиджак, сегодня Лева «забыл» удостоверение.

Пять часов два человека мучаются одной навязчивой идеей. Лева не выпускает из поля зрения коридор и дверь в комнату, стоит Николаю приблизиться к ней, Лева находит предлог, идет следом. Когда Лева держит лошадей, Рогозин распрягает или запрягает, Николай свободен. Но Лева обязательно становится так, чтобы видеть коридор насквозь. Николай воитися у денника, смотрит на четкий силуэт писателя и проклинает его. Лева смотрит на черный провал коридора, прикипая конюша за тупость, ведь со света боитесь ничего не видно.

Приезжала, меняла лошадей и уезжала Нина с помощниками, сосредоточенно занималась своими делами Рогозин. Долговязый парень из милиции нравился старому конюху. Надо же, ведь солидный совсем, однако обстоятельный, думает, не принимает с места, аллюр не сбивает, есть в парне узорчатость. Но не понимает конюх его качки, мастера же в любом и незнакомец звезда злыню, у мастера повадки особые, класс всегда чувствуется.

Лева нервничал, Николай топтался вокруг до около, приманку взял боялся. Помогать ему Лева не имел права. Если конюх хоть на секунду заподозрит, что инспектор подставился, вась Лазин план ползет к черту. Дать конюху, сейчас Нина с помощниками вернется, лошадей обработают, и все. Завтра. Завтра все снзчалз.

Принимая от приехавшего наездника последнюю лошадь, Лева чувствовал на себе взгляд Николая, который, стоя у аторого денника, возился со сбруой. От комнаты Николая отделяло шегов пятьдесят, Лева поставил лошадей у ворот конюшни, упрямо встал лицом к Николаю. Либо так, либо никак, помощи от меня ты не дожидься. Хотя... Лева дернул повод, лошади пошла боком, он, пытаясь ее удержать, с силой потянул в обратную сторону, рысак резко прыгнул назад. Рогозин успел его выпрыгнуть, жеребенка, взбешенный грубостью человека, взбрыкнул, разнулся, толкнул Лева, и Лева полетел в пыль.

— Ну, ну, балуй.— Рогозин положил ладонь жеребенку на круп, погладил, позвнулся к Лева.— Вставай, конь, разлегался?

— Нога...— Лева медленно поднимался, на ногу не ступал.— Подвернул, кажется.

— Нога не голова,— философски ответил Рогозин.— Вот и думай башкой своой, жеребенка дзржишь, не трактор.

Жеребенок стоял рядом с Рогозиным, сердито косился на Лева. Инспектор на жеребенка смотрел с симпатией и, сдержанно охая, заковылял к комнате, где висел его пиджак. Николай он встретил по дороге, хотел хлопнуть конюха по плечу и спросить: «Ну как, дру? Решился наконец? Не зря же я здесь в пыли валяюсь, комедию выламываю!» К сожалению, в жизни порою говоришь не то, что хочешь; поравнявшись с Николаем, Лева охнул, взяв конюха за плечо.

— Простите, Коля,— и, опираясь на его рыхлую, влажную руку, допрыгал до комнаты отдыха.

Боясь выдать себя взглядом, Лева в лицо Николая не смотрел, устроившись на стуле, стал разуваться. Конюх суетился, принес ведро холодной воды, Лева опустил в нее якобы потную ногу.

Когда шаги Николая затихли где-то у выхода из конюшни, Лева вскочил, снял пиджак с вешалки, достал удостоверение. Меточка, которую он приспосаблил заранее, отсутствовала: значит, его расчет оказался верным. Он повесил пиджак на место, сел, теперь уже обе ноги опустил в холодную воду и с искренним блаженством закрыл глаза.

И следователь прокуратуры и Турлины с насмешкой отвергли версию Левы о телефонном звонке. Молодой инспектор должен с уважением относиться к мнению старших, более опытных товарищей. Они, конечно, правы, Лева Гуроз—невозможный фантазер, лукавил он сам с собой, зазвонившая рассуждения и подвоха черту. Ну, а если они правы, то почему бы и не оставить удостоверение в пиджаке? Ведь Лева Гурова никто не проверяет, ни кто не интересуется, никакой опасности нет.

Лева пошевелил в воде натруженными пальцами, он торжествовал свою маленькую победу.

— Серьезная травма?

Лева не заметил, что Нина уже с минуту, стоя в дверях, наблюдает за ним.

— Нина, помните, вчера один человек сказал, что я ас в своем деле и прочее?

— Помню.— Нина бросила тяжелый шлем, растегнула на куртке «молюню», дзшука знала, какая она сейчас чумазая и некрасивая, но почему-то не стеснялась, с улыбой смотрела на Лева.

— Толстая делал мне рекламу.

— Я поняла.— Нина рассмеялась.

И неверно поняли. Оказывается, я очень толковый парень,—серьезно сказал Лева, поднялся, брючины свалились в воду и мгновенно намокли.

— Вижу.— Нина даже не улыбнулась, парень, стоявший в ведре с водой, не казался ей комичным.

Договорившись с Ниной встретиться вечером в девять, Лева уехал с управление. В отделе никого не было. Дежурный выехал на происшествие. На своем столе Лева нашел заказанные накануне справки и записку: «Не унывай, Левушка, молодость с годами проходит. Доброжелатели». Близнецы, конечно, уехали на дачу, для их мотоциклов тридцать километров—пустяк. Когда в работе наступают затишье, Птицыны в любую погоду уезжают на дачу.

Лева перечитал записку, судя по ней, справки ничего существенного не давали, а он так на них рассчитывал. На оборотной стороне записки Лева увидел: «Пзвоню»,—и крючок, означавший подпись старшего инспектора Трофима Ломакина. Стеревцы

брата: Трофим написал, а близнецы перевернули бумажку,—ничего себе шуточки. Лева подвинул телефон и передумал, решил сначала все-таки прочитать справку.

Анна Васильевна Полякова, где и когда родилась, адрес, отца нет, мать работает в ателье закройщицей. Аня говорила, что мать художник, возможно, она и права, закройщик вполне может быть и художником. Анна закончила первый курс факультета журналистики, имеет две академические задолженности. Не привлекалась, не задерживалась, на учете не состоит.

Наталья Алексеевна Лихарева, по данным центрального адресного бюро, в городе не проживает. Не привлекалась, не задерживалась, не состоит. Среди студентов университета не значится, поступала прошлой осенью на филологический факультет, не прошла по конкурсу. По адресу, где проживает Лихарева, она не прописана, кооперативная квартира принадлежит супругам Скобеевым, которые находятся в заграничной командировке. В отделе милиции известно, что квартиру оплачивает Крошин Александр Александрович, которому хозяева оставили ключи.

Лева отложил справку. Значит, Наташа в университете не прошла по конкурсу, домой возвращаться не захотела. Чем же она занимается и на какие средства живет? Да уж наверняка не ворует, людей не убивает, живет на деньги Сан Саныча. Сколько же он зарабатывает или выигрывает?

Крошин Александрович, родился в Ленинграде, работает старшим инженером в СМУ. Холост... Однокомнатная кооперативная квартира... Характеризуется исключительно хорошо...клад составляет шестьдесят, заработок около двухсот рублей в месяц.

Лева перевернул справку учета о судимостях и задержаниях в органах милиции. Нет. Нет. Нет.

До встречи с Ниной еще оставалось время, Лева позвонил Ломакину.

— Я этого Крошина, кажется, знаю,—сказал Трофим, не жалующий всякие вступительные фразы.— Три года назад в Москве судили большую группу валютчиков. Там из наших клиентов двое затесались, я и ездил. Твой Крошин проходил по делу. Кажется, я месяц находился под арестом, затем его за недоказанность освободили, на суде он уже как свидетель выступал. Я запомнил, так как мой дружок из МУРа из-за него неприятности имел. Незаконный арест и прочее... Хотя мой друг не сомневался, что твой Крошин по самые уши замаран в деле был, раз не доказали... сам понимаешь...—Лева слушал, не перебивая.—Конечно, валюта—одно, мокрое дело—другое. Не вяжутся они, знаю,—продолжал Трофим,—однако чувствую, у тебя вообще ничего нет.

— Нет,—согласился Лева.

— Так я Стасу в Москву позвонил, он нам справку на героя составил. Почему-то он из столицы убрался. Номер уголовного дела Стас тоже пришлет, ты его в прокуратуру подсуни, пусть твой старик там графин воды выпьет и запросит то дело. Вы его полагаете, мало ли.

— Спасибо, большое спасибо, Трофим...

— Большое пожалуйста,—буркнул Ломакин и повесил трубку.

Лева пришел на свидание за минуту до назначенного времени, приготовился терпеливо ждать и увидел Нину, которая уже сидела на лавочке и читала журнал. Она была одета так же, как в кабинете

у следователя: строгий темный костюм и черные лакированные туфли на высоком каблуке. Сидела она чисто по-мужски, закинув ногу на ногу и облокотившись на колесо. Проходившие мимо мужчины замедляли шаг, однако не останавливались, так как Нина действительно читала. У мужчин на такие вещи глаз наметанный. Лева остановился в нескольких шагах, на Нину было приятно смотреть, приятно сознавать, что эта интересная, общающаяся на себя внимание девушка ждет его, Лева. Вчера з прокуратуру она пришла явно из парикмахерской, сегодня ее волосы уже потеряли искусственную зализанность, вились естественно, выгоревшими прядями спадали на лоб, девушка отбрасывала их назад, они тут же опадали вновь. Переворачивая страницу, она мельком взглянула на часы и нахмурилась.

Лева стоял в нескольких шагах, чувствовал на лице глупую улыбку, не двигался, ведь если он сейчас подойдет, получится, что опоздал, а он гордился своей пунктуальностью. Наконец Нина увидела его, подхватила сумочку, легко поднялась, шагнула навстречу.

— И давно так?—Она рассмеялась.

— С обеда,—ответил Лева, беспомощно развел руками.—В вашем присутствии я катастрофически глупею.

— Левушка, давай на «ты»,—она взяла его под руку, они пошли по аллее сквера.—В нашем «вы» звучит комплекс неполноценности, будто мы защищаемся, боимся, как бы нас не обидели. Не такие уж мы беззащитные, правда?

— Мы?—Лева расправил плечи и воинственно поднял голову.—Только Левушкой меня не называй.

— Я уже думала об этом. Конечно, «Левушка» слегка принижает твоё мужское достоинство,—говорила Нина, улыбаясь.—Сейчас же перестань краснеть. Нет, красней.—Она рассмеялась.—Левушка, красней и вообще ни в чем не меняйся. С тобой именем накладочка получилась. Ты же не хочешь быть Львом? Естественно. Ведь придется отращивать гриву, бакки, переучиваться говорить.

Если существует на свете седьмое небо, то Лева находился именно там, шагал по нему легко и уверенно, при этом не забывал держать курс в сторону своего дома.

— Извини, Левушка, но я не могу тебя превратить в льва,—болтала Нина, смеясь.—Да и зачем! Ведь лью безразлично, он даже ухом не поведет, назови его хоть таксой.

Лева согласно улыбался, находясь в состоянии блаженного покоя, он как бы из нереального далека думал об убийстве и убийце, пытался представить лицо матери, улыбку отца и хитрые глаза Клавды. Нина была чуть ли не первой девушкой, с которой он приходил в дом. Когда-то, еще на первых курсах университета, мама удивлялась, что девушки редко заходят к нему. Отец тогда пошутил: мол, не такие уж у тебя страшные родители, прятать их не обязательно. Лева, не придавая словам никакого значения, ответил: как встречу достойную девочку, приведу мигом. Посмеялись и забыли. Затем Лева понял, что случайно оброненная им фраза налагает на него определенную ответственность. Проходили месяцы, годы, уже неловко стало отшутиться и прийти просто со знакомой. Идя к Нине на свидание, Лева и не думал приглашать ее в гости, а увидев в скамеечке, решил сразу и бесповоротно. Только Нина о его решении не знала: переживая уже десять раз отрепетированные слова, в подъезд своего дома он свернул молча.

— Куда это ты? — не останавливаясь, спросила Нина.

— Ко мне заглянем, я, между прочим, сегодня не ел. Завое познакомимся с моими стариками. Они у меня страшно молодые. Учи, главная в доме Клава, наша судьба в ее руках.

Клава, сразу не разобрав, что Лева пришел с девушкой, встретила их вчерашним, мол, двое это не один, предупредить следует. Она mismo поставила в кухне второй прибор, заявила: «Немытые за стол не сядете» — и увидела Нину.

Пока молодые люди послушно мыли руки, Клава прикрыла дверь на кухню, приборы появились в столовой. Лева, как и подобает инспектору уголовного розыска, сразу отметил, что тарелки не будничные, разнокалиберные, а из «пальского» сервиза. Кормили, естественно, по первому классу. Лева хотел было объяснить, что северюг ест далеко не каждый день, но лишь махнул рукой и прился к еде. Клава сновала между кухней и столовой бесшумно, но, видимо, успела оповестить о событии, так как мать с отцом довольно долго не появлялись. Первым из своего кабинета вышел генерал, он солидно представился, попросил у Клавы стакан чая и, сав за стол, начал ухаживать за Ниной. Затем появилась мама. Она, в отличие от отца, одетого в домашнюю куртку, успела переодеться, каким-то образом оказалась в костюме, очень похожем на костюм Нины. За столом завязался обычный разговор-знакомство: немножко о погоде, немножко о том, чем чем занимается. Мама рассказала дежурный анекдот о «своих психах», Лева молчал, полагая, что мавр сделал свое дело, теперь пусть родители выпутываются сами. Через несколько минут, повинувшись молчаливому требованию жены, генерал исчез, вернулся быстро, но уже в пиджаке. Неожиданно Клава поставила на стол запотевший графин с настоящей собственного производства. Торжественно наполнили появившиеся на столе хрустальные бокалы, генерал произнес короткую речь: — За Веру, Надежду, Любовь, мать их Софию, рождество и воскресенье отца, сына и святого духа.

Нина добавила:

— За крещенские морозы! Аминь! — тем самым покорила мысл Гуровых.

Клава заметила, как Нина, лишь слегка пригубив, отставила бокал. Дозушка объяснила, что ей зазреть выступить. Разговор полностью переключился на бег, быстро превратившись в пресс-конференцию, на которой Нина давала интервью и отвечала на вопросы. Она мгновенно уловила стиль, манеру разговора семьи. Сначала отец задавал вопросы шуточно; почувствовав, что гостья не смущается, отвечает даже задиристо, принялся за нее всерьез.

— Скажите, Нина, ну кому в наш век нужны лошади? — спрашивал он. — Я понимаю, как развлечение, отдых. Но вы говорите серьезно, как о науке, производстве, требующем больших капиталовложений. Кому? Кому это сегодня надо? Посвящать такую делу жизни?

Нина взглянула на хозяйна несколько растерянно, переела взгляд на Леву, смутилась. Лева хотел прийти на помощь, мама его опередила:

— Иван, ты считаешь, что посвящать жизнь имеет смысл только пушкам?

— Спасибо! — Нина благодарно кивнула, повернулась к генералу. — Кому нужны племенные лошади сегодня? Надеюсь, что вам, Иван Иванович, — вправые назвав генерала по имени-отчеству, Нина открыто объявляла войну.

— К сожалению, Ниночка, нам они не нужны, — сдержанно ответил генерал; не желая обострять спор, он попытался сменить тему, начал было разговор о новом фильме, однако Нина прервала его:

— Простите, у наездников принято вести борьбу от столба до столба. Я настаиваю, что и вам, военным, и вам, Иван Иванович, лично, совершенно необходимы лошади. Не лошади вообще, а племенные, выхлещенные, специально вытрезинированные чемпионы и рекордсмены.

Генерал пожал плечами, винозато улыбнулся, как бы говоря: ей-богу, не хотел, честное слово, больше не буду, а вслух произнес:

— Интересно.

Нина начала говорить, и через несколько минут даже Клава перестала звякать посудой и бежать то и дело на кухню.

— Говорят, собака — друг человека. Возможно, не буду спорить. Но если на земле не было бы лошадей, может, человек не стал бы человеком, не победил бы природу. У многих народов и племен долгое время конь стоил дороже человеческой жизни, потому что один конь спасти многих. Вспомните историю человека, и вы увидите, что он тысячелетиями не расставался с лошадью. А живопись! Ничто и ничто не повторен в таком количестве раз, как лошади.

— Человек, — вставил генерал.

— Он же творец, человек и сегодня, как и тысячи лет назад, влюблен в себя до потери сознания, — ответила Нина. — Стоило человеку отвлечься от собственной персоны, как ему приходилось отдавать должное лошади. Полцарства за коня! Из-за коня мужичины бросали любимых, отчий дом. Лошади выигрывали сражения, из-за них возникали войны. Они нас кормили и охраняли, спасали нашу жизнь и честь! — Нина всплеснула руками и с возмущением оглядела всех присутствующих. — И теперь они нам не нужны! А память нам нужна! История наша нужна! Как мы удержимся рядом с природой, сохраним доброту, свою хваленую человечность? Слушайте, — она смотрела на всех с отчаянием, — да мы перестанем быть людьми, если мы дадим умереть нашей памяти, нашему прошлому. Вся жизнь раскапывать черепки, восстанавливать цивилизацию тысячелетней давности — это благородно и нужно. Охранять, беречь, совершенствовать память тысячелетней давности, которая вот тут, рядом, бегаёт, живет, пока еще живет. Иван Иванович! — Нина раскраснелась, в голосе ее звенели слезы. — Это ли достойная цель жизни! А вы знаете, что благодаря энтузиазму мой сегодняшний Григорий красивее, сильнее, резвее знаменитого Буцефала! Любой наш скаковой призер даст фору воспитанному Лермонтовым Карагезу.

— Нина, я сдаюсь! — Генерал поднял руки. — Я сдаюсь самым...

— Подождите, товарищ генерал! — перебила его девушка. — А дети? Вы придите к нам в манеж, загляните на детей. Больше тысячи ребятишек у нас занимаются, и десятки тысяч не могут к нам попасть. Ребенок, растущий рядом с лошадью, никогда не бывает злым, жестоким. Лошадь гуманна, люди устали от машин, от железа, они ищут природу...

— Простите, Нина, я был как-то на ипподроме, — вновь перебил генерал, мама взглянула на Леву и недвусмысленно постучала себя по голове. — Я видел, что там шит люди.

— А вы в лечебнице для алкоголиков не были? — спросила Нина. — Может, нам все виноградники в стране вырубить?

Клава бросилась заваривать свежий чай, мама сказала, что больше не разрешит отцу сказать ни слова,

и начала расспрашивать Нину о характере и психике лошадей. Отец молча слушал женщин. Лева сидел чуть в стороне, его никто ни о чем не спрашивал. Почему жизнь складывается так, а не иначе? Дело могли поручить не Гурову, Логинов мог бы работать в другом тренодлении, Нина могла сказать не такой, а совсем другой. Почему все сложилось так, а не иначе? Он, Лева, сидит у себя дома, Клава разливает чай, мама и папа рядом, все как всегда, таких вечеров прошло тысячи. Но здесь Нина, вечер от ее присутствия совсем иной и в то же время обычный. Кажется, что эта девушка всегда здесь сидела, просто Лева раньше ее не замечал. А знакомы они всего неделю...

Когда Лева собрался провожать Нину, отец отозвал его в сторону, сунув ключи от машины, сухо, в приказном тоне сказал:

— Доставить дело и доложить.

— Доложить, — повторил Лева.

Они спустились во двор, Лева открыл машину и зачем-то сообщил:

— Машина отца, а на ней никогда не езжу. — Он завел мотор.

Нина сидела рядом притихшая, взяла Леву под руку, прижалась к плечу, тяжело вздохнула и спросила:

— Ну, как я? — Сама же ответила: — Ничего, все-таки мастер. По тяжелой дорожке, в незнакомой компании, пришла голова в голову.

— Ты оставила всех за столбом, — ответил Лева.

Глава девятая

На следующий день Лева работал на конюшне, как обычно. Все уже привыкли к нему, забыли, что он «писатель». Молодые наездники покрикивали, когда он ошибался или опаздывал. Конюх Николай сегодня задерживался дольше обычного. Лева приходилось работать за него. Автоматизма Лева еще не достиг, все мысли крутились вокруг ремня, уздечки и прочей хитрой лошадиной амуниции. Время приближалось к полудню, а Николай не появлялся. Лева задумался и попал под лошадь, рысак толкнул его плечом, сам испугался и захрапел. Подохнувший наездник выругался, Лева равнодушно вытер упавшую на рубашку лошадиную пену.

— Принимай отсюда, — беззлобно сказал подошедший Рогозин, — управимся без тебя, принимай, принимай.

Лева молча кивнул и пошел за своим пиджаком, когда его из своей комнаты окликнула Нина.

— Вас к телефону, — официально сказала она, протягивая трубку.

— Спасибо, — Лева удивился, телефон был внутри, звонит только кто с ипподрома. Лева чуть было не произнес привычно «Гуров», вовремя спохватился и, очавшись вспомнить свой писательский псевдоним, сказал: — Слушаю.

Звонила секретарша из дирекции и сообщила, что его срочно просят приехать к Николаю Тимофеевичу. Нина заполняла какой-то дневник. Лева потоптался, не зная, как начать разговор. Нина отложила ручку, привычно закинула спавшие на лоб волосы.

— Поезжай, что же ты стоишь.

— Да, да. Конечно.

Лева почему-то был уверен, что деятельность его на конюшне закончилась. Они увидятся, обязательно увидятся, но уже не будут работать рядом. Он уже не примет от нее лошадей, не станет украдкой смотреть, когда она, сидя на сломанном колесе, пьет

из пакета молоко, не будет, поглядывая на часы, ждать ее возвращения с круга. Ничего этого уже никогда не повторится. Он сейчас уйдет туда, где ее нет, даже мыслей о ней нет.

— Иди же. — Нина нетерпеливо постукивала ручкой по столу. — Ты больше сюда не придешь?

— Не знаю. — Он наклонился и не столько поцеловал, сколько ткнулся губами в ее волосы.

У кабинета следователя, на диване, сидели Аня и Наташа. Лева, стараясь не выдать своего удивления, остановился, вежливо поздоровался. Аня, обычно резкая и импульсивная, ответила сдержанным кивком, Наташа встала и протянула руку.

— Здравствуйте, Лева, — мягко сказала она, — вот мы и встретились. Я вас ждала. — Она слегка улыбалась, казалось, встреча происходит не в прокуратуре у кабинета следователя, а в тенистой аллее парка.

— Не ожидал вас здесь встретить, случилось что-то еще? — спросил он.

— Что-то еще, — передразнила его Аня, — сука ты, Лева.

— Аня! — Наташа взяла Леву за руку, хотела его защитить.

— И ты сука! — выпалила Аня.

— Аня! — Наташа встала междулевой и Аней, словно разнимая дерущихся.

Лева взял ее за локти и отводил.

— Здесь прокуратура, — сказал он, удивляясь собственному спокойствию.

— Испугал!

— Я только напоминаю, Аня, — сказал Лева, пожимая плечами. — Стыдно и нехорошо.

Девушка хотела ответить, дерзко взглянула на Леву, но лишь вздохнула, вдруг как-то сжемилась, забилась в угол дивана.

Лева кивнул Наташе и вошел в кабинет. Присутствие здесь Крошина уже не удивило инспектора.

— Здравствуйте, начальник, — пророкотал следователь и сделал вид, будто собирается вылезти из-за стола, — здравствуйте, — повторил он и протянул свою огромную руку.

— Добрый день, Николай Тимофеевич, — сказал Лева, отвечая на мочегучее рукопожатие.

Крошин, поднявшись при входе Гурова, стоял и, сдержанно улыбаясь, смотрел на следователя и инспектора.

— Сядьте, Александр Александрович, — следователь махнул на Крошина рукой, — и ты, дружок, садись. Вы знакомы, насколько мне известно. Скажу вам по секрету, вы друг о друге одинаково высокого мнения.

В спокойной улыбке Крошина появилось удовлетворение.

Лева пришел в момент церемонии подписания протокола. Крошин внимательно, но без придирок перечитал записанные следователем, поставил подпись под страницей, в конце четким почерком быстро написал: «Записано с моих слов верно, мной прочтано, добавлений не имею».

— Спасибо, Александр Александрович. — Следователь взял протокол. — У меня к вам просьба. — Пожалуйста. — Крошин чуть заметно склонил голову.

— Желательно нашу беседу сохранить, так сказать...

— Конечно. — Крошин пожал плечами. — Я не боюсь.

— Бывает, знаете ли, так, ради красного словца... С девочками также проведите разъяснительную беседу. — Следователь кивнул на дверь. — Писатель Шатров собрал еще не весь материал. Вы меня понимаете?



— Безусловно. Не подумайте, что я торгуюсь, Николай Тимофеевич... Об убийстве и нашем приятеле, — он поклонился Гурову, — я никому не скажу ни слова. Девочки тоже, я гарантирую. Однако, если у вас есть возможность и служебный долг вам позволяет, не сообщайте о случившемся мне на работу.

Лева следил за беседой, стараясь не выдавать свою растерянность и неосведомленность, прилагал максимум усилий, чтобы сохранить умный вид.

— Зачем бы мне писать вам на работу, да и о чем? — Следователь отодвинул кресло и поднялся, давая недвусмысленно понять, что разговор окончен.

— Деньги Николаю дал я, — Крошин встал, подождал, пока хозяин кабинета протянет ему руку, прощаясь, добавил: — Такой факт можно истолковать по-разному. Спасибо, и до свидания. Лев Иванович, — он повернулся к Гурову, — я перед вами несколько виноват, вы тут узнаете, так не сердчайте. Заглядывайте, поболтаем за лошадек.

Лева кивнул; когда Крошин вышел, взял протокол и, увидев в графе «привлекался ли к судебной ответственности» запись «не привлекался» сказал:

— Не знаю, как в остальном, но здесь он соврал.

— Не надо о людях думать плохо, дружок. — Следователь налил стакан воды, посмотрел на свет и залпом выпил. — Александр Александрович не скрыл, что находился под следствием, запись же в протоколе сделал я. Чтобы тебе не гадать, а мне не превращаться в рассказчика, ты все это прочти. Позже обсудим. — Он положил перед Левой три протокола и, вытирая пот, удалился из кабинета.

Суммируя прочитанное, отбросив скучные, но обязательные при допросах подробности, Лева узнал, что сегодня, в семь утра, к дежурному по управлению уголовного розыска обратилась гражданка Лихарева Наталья Алексеевна. Дежурный Наташу выслушал, позвонил полковнику Турилину, который

приказал отвезти девушку в прокуратуру города к старшему следователю Николаю Тимофеевичу Зайцеву. Допросив девушку, тот пригласил к себе Анну Полякову и Александра Александровича Крошина. Лева читал протокол по порядку.

— Вчера вечером, примерно около двадцати одного часа, — рассказывала Наташа, — ко мне в издательство, которую я временно снимаю, пришли мои знакомые: инженер Александр Крошин и конюх ипподрома Николай Кунин, последний в очень возбужденном состоянии. У меня в это время находилась моя подруга, студентка университета Аня Полякова. Крошин попросил меня сварить кофе и не мешать, так как им нужно поговорить. Мужчины принесли с собой бутылку коньяка, они расположились в комнате, а мы с Аней остались на кухне, где я гладила. Дверь в комнату плотно не закрывается, а дверь на кухню мы с Аней умышленно оставили открытой, так как хотели знать, о чем будут говорить мужчины. Крошин спрашивал негромко, он обычно так разговаривает, Николай же отвечал очень громко, порой даже кричал, и я слышала все отчетливо. В основном говорил Николай, Крошин лишь его успокаивал. Из слов конюха я поняла, что он давно подозревал, что писатель, который ходит к ним на конюшню, совсем не писатель, а работник уголовного розыска. Сегодня же Николай сам увидел удостоверение писателя, где черным по белому написано, что лейтенант милиции Гуров Лев Иванович состоит на службе в управлении уголовного розыска.

Вопрос: Вы удивились словам Николая Кунина?

Ответ: Нет. Я не удивилась, больше испугалась.

Вопрос: Почему вы не удивились?

Ответ: Последнюю неделю Николай нервничал, из отдельных фраз, сказанных им Крошину, я поняла, что в смерти наездника Логинова виновата не лошадь. Логинова убили. Николай упрекал Крошина в

том, что он не смог узнать, действительно ли появившийся на конюшне парень — писатель или он из милиции. Крошин обещал Николаю выполнить его просьбу и прошил меня несколько дней назад, а когда я отказалась — Аню, позвонить в уголовного розыск.

Вопрос: Крошин давал вам телефон?

Ответ: Нет, не давал.

Вопрос: Что было дальше?

Ответ: Я отнесла в комнату кофе. Николай и Крошин спорили, не стесняясь моего присутствия. Николай говорил о необходимости срочно скрыться и просил у Крошина денег. Тот убеждал Николая, что уходить в нелегалы, он так выразился, глупо, раз напали на след, лучше явиться с повинной. Найдут все равно, а наказание совершенно разное. Николай не соглашался, продолжал просить деньги, Крошин не давал, говорил: во-первых, у меня нет, ты мне и так много должен, во-вторых, я тебе не дам в любом случае, так как это карается по закону. Между ними началась ссора. Николай струсил и отступил. Я заявила, чтобы они немедленно оба уходили, так как я живу без прописки и не хочу попадать в историю.

Вопрос: А раньше вы не понимали, что уже попали в историю?

Ответ: Нет. Я же не знала, что Логинова убили Николай.

Вопрос: А теперь знаете?

Ответ: Да, он сам вчера вечером сказал.

Вопрос: Он говорил о каких-либо подробностях убийства?

Ответ: Нет. Затею в комнату пришла Аня. Она тоже стала уговаривать Николая явиться с повинной. Он отказывался, всячески нас оскорблял, требовал денег. У нас с Аней денег нет, а Крошин сказал: «Денег не дам, мало того, если до утра не явишься с повинной, я первый сообщу о тебе». Николай забрал начатую бутылку коньяка, обругал нас и ушел.

Вопрос: Он ушел один?

Ответ: Да. Мы трое остались. Я хотела сразу пойти в милицию, но Аня и Крошин отговаривали меня, мол, Николай одумается и явится сам, нечестно лишать человека последнего шанса. Мы договорились в десять утра собраться у меня и вместе, если Николай скроется, идти в милицию.

Вопрос: Как вы собирались узнать, скрылся Кунин или явился с повинной?

Ответ: Позвонить сначала на конюшню, узнать, на работе он или нет, затем позвонить в милицию и узнать там.

Вопрос: Во сколько часов ушел от вас Кунин?

Ответ: Точно я не помню, примерно около двадцати трех часов. Мы сидели вместе около часа, затем Крошин и Аня ушли, он собрался отвезти ее домой. Всю ночь я не могла заснуть и в пять утра пошла погулять. Я долго сидела в сквере у здания управления внутренних дел, наконец, решилась и обратилась к дежурному.

Вопрос: Почему вы не дождались десяти часов и своих приятелей?

Ответ: Я боялась, что Аня и Крошин вновь начнут меня убеждать не заявлять в милицию.

Протокол допроса Ани содержал примерно то же самое, только имелось добавление, что в субботу, пятнадцатого июля, к ней утром заехал Крошин, они вышли на улицу, зашли в будку телефона-автомата, сначала Крошин куда-то позвонил, затем объяснил Ане, как надо разговаривать и постараться узнать голос. Крошин набрал номер и передал ей трубку, она говорила, как велел Крошин, но голос

не узнала, ведь слышала она писателя лишь однажды и всего несколько слов. Согласился же она на эту проделку, так как любит розыгрыши, кроме того, ей хотелось сбить спесь с этого парня, уж больно он заносчиво держался. Да, один раз Крошин взял у нее трубку и слушал сам, но лишь пожал плечами, тоже ничего не понял. В понедельник Аня сама вызвалась сходить в редакцию журнала и узнать, работает там Лев Штарош или нет.

Протокол допроса Крошина был значительно обширнее и, кроме фактов уже известных, содержал следующее.

Знакомы Крошин и Кунин около трех лет, близких отношений никогда не поддерживали, изредка обменивались информацией о лошадах. Из эпизодов подобных знакомых у Крошина множество. Этой весной Николай начал ухаживать за подругой Наташи, они познакомились на ипподроме. В мае Николай предупредил Крошина, что явный фаворит одного из заездов разладился и вполне может проиграть. В результате Крошин довольно крупно выиграл, и, когда в начале июля Крошин попросил у Крошина взаимы двести рублей, последний не счел возможным отказать.

Он понял, деньги Николаю необходимы для игры, но спрашивать ничего не стал, считал конюх знакомым скверным, игроком авантюристом, да и не принято выведывать намерения; захочет, скажет сам. Николай молчал. Крошин не спрашивал. Двзятого июля, в воскресенье, перед началом состязаний Николай забежал на трибуны, он был чем-то сильно взволнован, от него уже пахло коньяком спиртным, он шел из ресторана, где купил бутылку коньяка. Крошин от выпивки отказался. Николай убежал на конюшню. Заезды складывались очень интересно. Крошин о конюхе забыл. Когда начался заезд, в котором участвовал Логинов из Гладиратора, и Крошин увидел, как странно ведет себя старший наездник, ему показалось, что наездник с конюхом решили «пустить заезд наловон». Крошин мысленно обругал Николая: мог бы и предупредить, ведь деньги на игру получил. Когда же Логинов все-таки выиграл, Крошин посмеялся и забыл, правда, выдача за Гладиратора, которого играл весь ипподром, пять рублей, несколько удивила. Двести рублей, поставленные против фаворита, не могли так поднять ставку. Значит, Николай занял не только у меня, решил Крошин, либо конюх подключил к своей изощренной махинации кого-то еще. В воскресенье Николай на трибунах больше не появился. Крошин надеялся увидеть его теперь не скоро: проигрался парень, денег у него нет, будет скрываться. Николай пришел к Крошину домой вечером в понедельник, конюх находился в сильной степени опьянения и рассказал, что в воскресенье Григорий, так он называл Гладиратора, ударил Логинова по башке и старик очнулся. Крошин не очень верил Николаю, больно тот нервничал, однако не подумал, что конюх мог убить наездника, так как парень казался трусоватым, на убийцу никак не походил. В пятницу, четырнадцатого июля, Николай прибежал на трибуны и сообщил, что на конюшню явился какой-то парень, выдает себя за писателя, интересно бы узнать, действительно он писатель или нет. Значит, со смертью Логинова не все чисто, решил Крошин, конюх об этом знает и нервничает. Возможно, наездника пристукнули дружки конюха. Рассудив, что лишнее ему стало совершенно не обязательно, да же вредно, желая лишь вернуть двести рублей, Крошин обещал помочь конюху разобраться в писателе, предпринял попытку, затем решил не ввязываться из-за двухсот рублей в историю. Когда вчера Николай, как ошпаренный, прилетел в ресторан иппо-

подраму, где Крошин собирался поужинать, вытащил его из-за стола и прямо на улице начал требовать деньги, говорить о побеге и признался, что наездника Логинова в ссоре по пьянке пристукнул он, конюх Николай, Крошин сначала не поверил. Он решил, что конюх вновь хочет выманить у него определенную сумму, уж очень все казалось несерьезным, как несерьезен был сам Николай.

В остальной части показания Александра Александровича Крошина совпадали с показаниями девушки. Лева собрал все протоколы в стопку и положил перед следователем.

— Николай Тимофеевич, в вашей практике встречались случаи, когда люди брали чужое убийство на себя?

— Бывало, дружок. В моей практике все встречалось, — ответил следователь. — Если бы Кунин явился с повинной, самоговор был бы очень возможен.

— Так вы всему верите?

— Зачем всему? Девочки рассказывают правду.

— Не всю, — сказал Лева.

— Возможно, даже скорее всего, — согласился следователь. — Крошин приукрашивает свою роль в истории с попыткой подкупа Логинова. Однако прищипнуть его пока невозможно.

— Пока нет конюха.

— Твою задачу я сейчас определяю следующим образом. — Зазвонил телефон, следователь снял трубку, послушал и протянул ее Лева. — Тебя, дружок. Девочка эта, светлаякая.

— Наташа? — спросил Лева, прикрывая трубку ладонью.

— Поласковее будь, поласковее, — с удивительной для его габаритов быстротой следователь выскочил из кресла и снял параллельную трубку.

— Слушаю, — сказал Лева.

— Простите, Лева, это Наташа. У меня к вам огромная просьба...

— Пожалуйста, Наташа, чем могу быть полезен? Мне очень, очень нужно вас увидеть, Лева. Только, пожалуйста, очень прошу, не в вашем кабинете. Надеюсь, в наших с вами отношениях ничего не изменилось? Или теперь вы уже не имеете права звать ко мне?

Следователь кивнул, Лева изобразил замешательство.

— Не знаю, если вы приглашаете...

— Ну, конечно, буду рада, очень, очень.

Следователь спрятал трубку в ладони и сказал: — Хорошо, зайду на днях.

— Хорошо, зайду на днях, — повторил Лева.

— Левушка, разве джентльмены так отвечают женщинам? Вы должны спросить: «Наташа, когда вы желаете меня видеть?»

— Наташа, когда вы желаете меня видеть? — повторил сигнал следователя, повторил Лева.

— Умница. Я желаю вас видеть сегодня. — Наташа тихо рассмеялась. — Сан Саныч уже отправился на свои бега.

Следователь кивнул, но Лева взбунтовался и ответил:

— Сегодня меня желает видеть начальство. Давайте ваш телефон, освобожусь, позвоню. — Он записал номер, поспешно распрощался и положил трубку.

— Нельзя быть настолько невыдержанным. — Следователь тоже положил трубку и начал рассказывать по кабинету, паркет жалобно закрипел. — Девиза беспокония, очень даже понятное дело. Прописки-то нет, и не работает. Ты, дружок, соверши красивый поступок, помоги ей устроиться на работу, временную прописочку получить.

— На работу ее Крошин сейчас мигом устроит, она меня за дурачка...

— Очень выгодная позиция, лично я обожаю, когда меня за дурачка принимают, — перебил Лева следователь. — На тебя коллапс примеривают, ты его поглубже надвинь. Дураку все простительно, человек, с дураком разговаривая, сам глупеет.

— Вы знаете, как она меня примет? — спросил Лева и покраснел. — Простите, Николай Тимофеевич, я не обязан пугаться...

— Ну-ну, — перебил следователь, налил себе стакан воды, отставил. — Жидкость необходимо ограничивать. Ты девицу из себя не строи, темненькой-то ты голову заморочил. Как ее, Анна?

— Откуда вы знаете? — не выдержал Лева.

— Такая умный, Лева, самому порой страшно становится. — Следователь выпил воду и сразу достал платок. — Я ужасно умный. Он промокнул лицо и шепотом, отдуваясь, забрался в кресло. — Целуйся с ней, не целуйся, меня не касается. Ты человек холостой. Мне необходимо знать... Следователь убрал отеческие нотки, Лева тоже сделал официальное лицо. — Первое. Что девицы здесь не договорили. Второе. Твоя Анна может знать, где находится Кунин. Третье. Чего боится уважаемый Александр Александрович?

— Почему именно Анна? Почему вы решили, что Крошин боится? — спросил Лева.

— Действуйте, инспектор. Лихарева не знает, где конюх, а Аня Псякова может знать. Ясно? Крошин чего-то боится. Чего, я не знаю. Вы узнаете, инспектор. Старайтесь. Девушки в данном вопросе помочь не могут. Сам Крошин, он может помочь.

— Слушаюсь, — Лева направился к двери.

— Минуточку, — остановил его следователь, помялся и сказал: — Ты, дружок, как-то объясни Косте историю с удостоверением. От него скрывать нельзя. Так уж ты сделай старику одолжение, сам со своим начальством разберись. Договорились? Ну, спасибо.

Константин Константинович выслушал доклад, переключил телефоны на секретаря, попросил соединить только с генералом и несколько минут молчал. Лева сидел на самом краешке кресла, поджав, сплотно кузнечик, худые ноги, и изучал рисунок на козле.

— Я виноват перед вами, Лева, — сказал наконец Турилин, — но если вы, коллега, не пересмотрите свою манеру работать, мы серьезно поссоримся, и я вас накажу. Да, я был не прав, когда не поверил вашей версии о телефонном звонке, проверке и прочих рассуждениях. Вы обязаны доказывать свои выводы здесь, в кабинете, а не ставить эксперименты. Мы бы взяли Кунина под наблюдение, но бежали бы сейчас высунув язык, не искали бы иголку в стоге сена. Почему товарищи должны расплачиваться за ваши ошибки? Сколько времени мы теперь истратим на его поиски? Это, знаете ли, обыватель считает, стоит милиции объявить всеобщий розыск, раз-два — и готово. И перестанет краснеть, черт вас возьми, вы серьезный работник, а не инстинктука.

Лева встал.

— Как отец поживает? — спросил Турилин и тоже встал, прошел по кабинету, остановился у окна, повернувшись к Лезе спиной.

— Спасибо, — ответил Лева, — и мама здорова. Мои знаменитые родители чувствуют себя отлично.

— Зря пугаетесь, — продолжал смотреть в окно, спрашивая Турилин, — генерал недавно интересовался, тот ли вы Гуров. А с мамой вашей я сам стал-кивался. Она лет пять назад нам очень помогла. Просите рассказать, удовольствие получите. Сди-

тась, Лева.—Турилин вернулся на свое место и спросил:—Как дальше жить будем?

—Я сам найду Кунина,—ответил Лева,—не улыбайтесь, пожалуйста, выслушайте меня.

—Какие сейчас улыбки?—искренне возмущился полковник.—Говорите, коллега, я здесь внимание.

Лева изложил свой план. Турилин обдумал его и сказал:

—Предъявите ваше личное оружие.

Лева провел ладонями по пиджаку, словно не знал, здесь пистолет или нет, и развел руками. В отличие от Левы полковник, когда сердился или волновался, бледнел.

—Константин Константинович, я же на конюшню работаю, пиджак снимать приходится,—перешел в наступление Лева.—Сейчас я пистолет и без вашего напоминания взял бы.—Он врал самозабвенно, боялся, что начальник сейчас передумает, и торопливо говорил:—Убийцу ищем, я же понимаю, взрослый человек я, Константин Константинович. Я очень аккуратный и осторожный...

—Лично задерживай Кунина я вам категорически запрещаю,—прервал Лева Турилина.—Вы меня поняли? Установите его местонахождение, остальное вас не касается.

—Обещать не могу,—ответил Лева и развел руками.—Простите, товарищ полковник, тогда от моего плана лучше отказаться.—Он начал убеждать Турилина, приготовился к длинному разговору, но полковник неожиданно сразу согласился.

Приписав столь легкую победу своему красноречию, Лева позвонил Наташе, предупредил, что скоро придет, и, взяв из сейфа пистолет, вышел на улицу.

Как только за Левою закрылась дверь кабинета, полковник распорядился, чтобы оперативная группа из районного отделения не выпускала Гурова из поля зрения.

Глава десятая

Наступила ночь. Лева с Аней уже два часа сидели в сквере. Сопровождавшая их оперативная группа расположилась в машине, из которой пустынные улицы и сквер просматривались отлично.

Старший группы — капитан Самиров — дремал на переднем сиденье, водитель тоже дремал. Молодые лейтенанты Люся Козлова и Виктор Болтанский наблюдали за Гуровым и Аней.

Анна в которой уже раз взял у Левы сигарету, закурила и устало сказала:

—Да не знаю я, где он, ей-богу, не знаю.

—Не лгите, знаете.—Лева тоже мусолил сигарету, но не закурил ее.—Я считал вас сильной, а вы трусливый, жалкий человек. Сказали бы честно: знаю, но вам не скажу — и точка. Празду выговорить пороку не хватает?

Задуманная Лазой операция началась прекрасно. У Наташи он пробыл лишь несколько минут, договорился, что будет звонить, и ушел. Он боялся, что Анна не захочет с ним встретиться, но девушка согласилась.

Два с лишним часа Лева уговаривал Анну сказать, где находится Кунин. В начале разговора он имел психологический перевес, так как с инспектором уголовного розыска девушка разговаривала впервые и терзалась. Был момент, когда она уже готова была признаться, и Лева почувствовал это, но, видимо, допустил ошибку, и Анна снова замкнулась. Затем прошло время, и она успокоилась. Он пони-

мал, что с каждой минутой теряет позиции, и уже готов был сдаться, когда вспомнил слова своего начальника Трофима Ломакина. Никогда не убеждай женщину логически, часто повторял старый сыщик. Дави на психику, на нервы, на честолюбие. Лева предпринял последнюю отчаянную атаку.

—С официантом в ресторане вы наглы и храбры. Официант вам ответить не может. А меня испугались. Нос повесили, бунтите odio и то же.

Анна раздала сигарету ногой, резко подняла голову, посмотрела в глаза.

—Что, что? — подзадоривал Лева.—Все? Кончили порох в пороховницах? — Он встал и поклонился.—Подать шашлычка, мадам? Шампанского? — Анна кусала губы, молчала. Лева расхохотался.—Э-э! Беззащитному хамить! Вы мы не знаем. Вот, мол, знаю, да не скажу. Возьми меня, фронт, за руль, за двадцать. Слабо, слабо.

—Знаю! — Анна вскоčila.—Знаю и не скажу! — Она резко повернулась и пошла по аллее.

Лева смеялся ей вслед и сказал:

—И бегом! — Он не двигался с места, понимал: либо заставит ее остановиться, либо проиграл.—Страшно, аж невмоготу?

Аня остановилась и повернулась.

—Да кто тебя боится? Кто?

—Жанна д'Арк! — Лева вновь рассмеялся, но стол, к девушке не подходил.

Тогда она сделала несколько шагов, пошла обратно, к нему. Лева сел на скамейку, достал сигарету.

—Закуривайте и успокойтесь.

—Что вам от меня нужно? Что вы ко мне пристали? — Она устало вздохнула.

—Коля недавно вам позвонил?

—Позвонил,—с вызовом ответила Анна и повторила:—Позвонил. Только вам я ничего не говорила и больше ничего не скажу. Один на один, недоказуемо. Презумпция невиновности,—выпала она скороговоркой весь свой запас юридических знаний.

Лева молчал. Он вспомнил огромного следозатяла прокуратуры и молчал. Сначала Анна смотрела на Леву с вызовом: на-ка, мол, выкуси. Через минуту она отвернулась, а еще позже тихо сказала:—Ну, я пойду...и не двинулась с места.

—Один на один вам со своей совестью отстать сейчас не советую, так как нет у вас никакой презумпции невиновности,—медленно, подражая следователю, скучным голосом говорил Лева.—А есть вина, пока она маленькая, расти та вина будет не по дням, а по часам. Судить вас будут не по кодексу, а по совести. От совести никому не деться. Будет Коля сидеть десять лет, все время вас будут судить. Коля вернется, он судить станет. Он вам любовь, а вы ему подлость и трусость. За что же вы его так? Веснушки у него, недотепа он, конечно. Он вас любит, верит, позвонил, помощи искал. А вы?

Анна сидела горбившись, при последних словах выпрямилась, спросила:

—А мне? А мне выдать его?

—Липкое словечко подобрала.—Лева заметил, как Анна украдкой взглянула на свою ладонь, где были написаны какие-то цифры.—Позвоните: двадцать пять, тридцать четыре...

Анна отдернула руку. Последние две цифры стерлись, но Лева уверенно сказал:

—Прекратите цирк. Я могу позвонить дежурному по городу, назвать номер, через минуту установят адрес, через пять там будет оперативная группа. Вместо явки с повинной — арест. Наказание удаивается.

Анна плакала. Лева закурил. Наконец девушка поднялась, они вышли из сквера, остановились у телефонной будки.

— Что я ему скажу, ну что? — Аня вскрикнула.
— Соедините меня, я поговорю сам, — ответил Лева.

Аня послушно вошла в будку, набирая номер, всхлипывала и бормотала:

— Он не как вы, он хороший, добрый... не убивал он никого... Алло? Коля? Нет? Аня это, Аня. Позовите, пожалуйста, очень, очень прошу. — Она разрыдалась, и Лева забрал у нее трубку.

— Анюта? — услышал Лева мужской голос.

— Здравствуй, Николай, говорит инспектор уголовного розыска Гуров. — Лева говорил громко, четко выговаривая слова. — Я мог бы просто арестовать тебя, но решил сначала поговорить.

— Анюта, за что? — пробормотал Кунин, Лева перерыл его.

— При чем тут Анюта? Я знаю твой телефон, значит, знаю адрес. Зачем тебе арест, Николай? Думай, ты же мужик, черт тебя подери! — Чувствуя растерянность и нерешительность Кунина, Лева говорил жестко, не давая тому опомниться: — Оденсь и выходи на улицу. Сейчас же оденсь и выходи на улицу. Ты хочешь, чтобы у людей, которые тебя приютили, были неприятности! Оперативная машина в трех кварталах от вашего дома. Я хочу тебе добра, Николай. Нина Петровна, Милышеч, все хотят тебе только добра. Ты понял меня!

— Все равно вы арестуете меня, — ответил Кунин, — там или здесь? Какая разница?

— Я не арестую тебя, Николай. Даю слово, что я не арестую тебя, — сказал твердо Лева. — Выходи, я тебя встречу, и мы поговорим. Ты понял?

— Хорошо. Только не у дома. Я не хочу, чтобы видели.

Лева облегченно вздохнул. Как определить место встречи, не выдав, что адрес Николая неизвестен? Лева вспомнил первые цифры номера. Дзвездчат пять, значит, Пролетарский район.

— Николай, подойди к зданию цирка. Тебе ведь недалеко.

— Рядом, — тяжело выдохнул Николай.

— Знаю, что рядом. Только не валяй дурака, — сказал Лева.

— Чего уж теперь. Через десять минут буду.

Лева повесил трубку и побежал. От того места, где он сейчас находился, до цирка было совсем не рядом. Назначая встречу, этого он не учел.

Аня бежала вместе с ним, Лева забыл про девушку. Она скинула туфли, размахивала ими и спрашивала:

— Куда? Куда, где он?

— Машина с опергруппой двигалась следом. Капитан Свиридов проснулся, вытер ладонью широкое лицо и сказал:

— Во даст, коллега.

— Может, подвезти его? — спросил водитель.

— А мы побегим? — Свиридов усмехнулся. — Прости, возраст не тот. — Он увидел человека, который заперал «Жигули», и сказал: — Притормози, — вылез из машины, хлопнул молодого мужчину по плечу. — Здравствуйте, уголовный розыск.

— Здравствуйте, — отворачиваясь, ответил хозяин «Жигулей».

— Сделайте одолжение, — Свиридов заглянул мужчине в глаза. — Смотрите, видите, двое бегут? Догоните их, подвезите, куда они попросят. И ни гу-гу. Ясно? Тогда я не стану проверять, чем от вас пахнет.

Мужчина испуганно кивнул, сел за руль и рванул с места.



Анна начала отставать, когда ее обогнала машина, взвизгнула тормозами и водитель громко спросил: — Тренируетесь или куда надо? Подвезу.

Лева молча прыгнул в машину, втащил Анну и, задыхаясь, сказал:

— Цирк.

— Это уж точно, — ответил водитель.

— Поездело, — Анна откинулась на сиденье, — как нам повезало.

— Это уж точно, — повторил водитель, глядя в зеркальце на «Волгу», которая шла следом.

Когда они остановились у здания цирка и Лева полез в карман, водитель запротестовал:

— Никогда. Дружеская услуга.

— Большое спасибо, — Лева вышел из машины, помог вылезти Аче, оглянулся.

— Пожалуйста, — водитель резко развернулся и мимо «Волги» рванул назад.

Лева с Аней успели отдышаться, когда с противоположной стороны улицы к ним направилась темная фигура. Человек пошел в свет уличного фонаря, и Лева узнал Кунина. Конох двигался медленно, еле ноги волочил. Анна хотела пойти навстречу. Лева ее остановил:

— Сам, пусть он подойдет сам.

Кунин поравнялся с афишей, на которой был изображен атлет. Его богатые плечи и театральная улыбка резко контрастировали с жалкой, поникшей фигурой коноха.

— Пришел, богатырь! — Лева демонстративно сунул руку в карманы.

— Пришел. — Николай взглянул на Аню. — А ты...

Он не успел договорить, рядом остановилась «Волга», через секунду капитан Свиридов и лейтенант Болтянский держали Кунина за руки.

— Что это? — Аня закрыла ладонями лицо.

— Уголовный розыск, — спокойно ответил Свиридов. — Кунин Николай Васильевич, вы задержаны.

— Стоп! — Лева стоял, поднимая пистолет.

— Лейтенант Гуров, я...

— Не знаю, — резко прервал Свиридова Лева, — отойдите оба к стене.

— Дурак, — пробормотал Свиридов, но к стене отошел.

— Анна, проверьте у него документы, — командовал Лева.

Аня подошла, посмотрела предъявленное ей удостоверение и прочитала:

— Капитан милиции.

— Дайте сюда, — Лева взял удостоверение, проверил, вернул Свиридову. — Извините, товарищ капитан, служба. — Он убрал пистолет и, хотя отлично все понимал, спросил: — Что произошло?

Кунин остался под охраной лейтенанта, капитан слевой отошел в сторону.

— Выполняя приказ, я все это время сопровождал вас, — сказал капитан. — Теперь, когда убийца задержан, это уже не имеет значения. — Он внимательно смотрел Лева в лицо, чуть не подмигивая, явно предполагая ударить по рукам и покончить дело миром.

— Я выполняю приказ полковника Турилина. Найдите Кунина и склоните его к явке с повинной, — ответил Лева. — Не мешайте мне.

— А я обязан охранять вас, лейтенант Гуров...

— Выполняйте свое задание и не мешайте мне выполнять мое, — перебил Лева.

Капитан смотрел в глаза, но взглядом не встречался.

Как ему это удавалось, неизвестно.

— Лаз Иванович, — ухмыляясь, произнес он миролюбиво. — Убийца найден вами — задержан вами и нами. Догозорились?

— Нет, — Лева отрицательно покачал голозой, жестом подождал Аню и Николая. — Ко мне обратилась студентка университета Анна Полякова и сказала, что ей звонил ее знакомый Николай Кунин. Он просил ее помочь встретиться со мной, чтобы явиться в милицию с повинной. — Он посмотрел на Аню и Николая. — Так это было или не так?

— Так. Слово в слово, — ответила Аня.

Николай продолжал смотреть себе под ноги.

Свиридов молча повернулся и направился к машине. Сев рядом с водителем, он подождал, пока сядут подчиненные, и сказал:

— Соляк, дурак чертот!

— Гуров молодец, — возразила девушка, — ему с Куниным еще работать.

— Много ты понимаешь...

— Мы понимаем, что хорошо и что плохо, товарищ капитан, — вмешался в разговор лейтенант.

— Домой, товарищ капитан? — спросил водитель.

— Домой? — Свиридов откашлялся. — Мы обязаны охранять этого... он чуть было не выругался, — этого... Гурова.

— Значит, за ними? — равнодушно спросил шофер и двинул машину вдоль тротуара, по которому шли Лева, Анна и Николай.

— Все так и напишешь, — говорил Лева, — ты меня понял?

— Понял, — ответил Кунин.

— Скажи человеку спасибо, — Анна дернула Кунина за рукав.

— Спасибо, — послушно сказал Николай и махнул рукой. — Больше, меньше — какая разница?

Всю ночь Гуров беседовал с Куниным, но ничего нового установить не сумел. Конох твердил упрямо: ударил спящего, ни о каком тотализаторе понятия не имею. В чем виноват — виноват, больше добавит нечего.

Утром они вместе позавтракали в буфете управления, затем приехали в прокуратуру. Следователь попросил Леву зайти часика через три и отпустил его.

Теперь следователь, конечно, вытащит из Кунина все, рассуждал Лева, направляясь на ипподром. Навинный, несколько растерянный взгляд, добродушная улыбка, недогад в каждом движении — все это притворство! Играет Кунин или он такой из-за дела? Видно, он убил Логина. Видно, рассуждал Лева. Сомнения он оставлял для Константина Константиновича, который терпеть не мог категоричности, пока следствие не закончено.

Можно построить две версии.

Кунин лишь изображает протеста. Цель ясна. Поняв, что на него, как говорится, вышли, он пытается свести все к непредумышленному преступлению, без заранее обдуманного намерения. Плюс явка с повинной.

Кунин действительно трусливый, беззлобный парень. Тогда провисают билеты тотализатора и более чем странный звезд Логина перед убийством. Непомерно высокая выдача за фаворита Гладжатора. Однако, если Кунин такой, каким он выглядит, ему не придумать столь хитрой в своей простоте истории и уж тем более не взять чужой вины на себя. Все было так, как он рассказывает, а билеты и звезд — хвост другой истории, которая пока никому не известна. Убил Кунин, но Крошина выбрасывать из дела еще нельзя. В этом Лева уверен. Каким-то краем Крошин здесь замешан.

Утром, когда Лева дождался результатов, Турилин, делая строгое лицо и не скрывая при этом, что доволен, сказал: два дня на отдых, коллега. Полковник

терпеть не мог слово «отгул». Рабочий день не нормированный, переработки быть не может и отгуливать не за что. Отдохнуть же человеку иногда надо. Сейчас Лева чувствовал себя вольготно, хотя далеко не все в проделанной работе ему нравилось. Крошки пока остались в стороне. У Лева было такое ощущение, словно боль прошла, а гнилой зуб остался. Вот-вот она всплывет с новой силой, лечить зуб поздно, только удалять.

Через служебный вход на ипподром он прошел уверенно и уже через несколько шагов оказался как бы за городом. Одноэтажные длинные здания конюшен, запах сена, земли, пылающие лошадей, стук их копыт. Главное же, неторопливость и обстоятельность окружающей жизни давали возможность успокаивающе. Пистолет Лева снова оставил в сейфе, и сейчас снял пиджак и набросил его на плечи. Он непроизвольно пошел медленнее, чуть взвешивая. Вот и транзитное здание Григорьевой. Сумрачно и прохладно. В проходе никого, из денников доносятся уже знакомые звуки: шорохи, сопение, глухой удар в деревянную перегородку. Лева просунул руку сквозь прутья, похлопал Гладиатора по шелковому грубу, рысак повернулся, ткнулся мягкими копытами, обняв зубы.

— Балуи,— Лева шлепнул его по губам,— нет у меня сахара, Григорий.

Рысак, обижанный, отошел в угол. Лева с удивлением смотрел вдоль пустой конюшни, прошел дальше, заглядывая в денники. Рогозин и два молодых наездника сидели в комнате Григорьевой,— она стояла, увидев Лева, перестала говорить.

— Здравствуйте,— Лева поклонился, хотел протянуть руку, но неожиданно почувствовал, что этого делать не стоит.— Я помешал?— он не смотрел на Нишу, обращаясь к Рогозину.

Старый конюх исследовал его ботинки, брюки, плечи и грудь, уперся в глаза.

— Прискакал? Что случилось?

— Не помню.— Лева развел руками, взглянул наконец на Нишу и только тогда сообразил, что здесь уже известно об аресте Кунина и сейчас это событие обсуждалось.

— Ты что же, сученок, надоела?— Рогозин поднял.— Ты кого в смерти Лаксевича видишь, сухий сыр?

Лева залился румянцем, Ника резко сказала:

— Михаил Яковлевич, сейчас же...

— На надо,— перебил ее Лева, отстранил воинственно выпяченную грудь Рогозина, нетерпеливо повесил пиджак на спинку стула и сел.— У меня мама не собака, Михаил Яковлевич, а женщина, доктор наук, извините за нескромность.

От такого буквального толкования слов Рогозина, главное же, от укоризненного тона всем стало неудобно. Лева перехватил инициативу и продолжал:

— Кунина никто не арестовывал, даже не задерживал. Он явился с позинной сам. Я не люблю, когда мне не верят, но желающие могут с Куниным сегодня увидеться и поговорить лично.

— Серьезно?— спросила Ника обреченно.

— В таких вопросах я не шучу, Ника Петровна,— сухо ответил Лева.— В свободное время объясните своим сотрудникам, что с работниками милиции рекомендуется разговаривать в ином тоне. В противном случае вам придется искать не одного конюха, а двух.

— Испугал.— Рогозин снова поднялся.— Двухлетка, и столбу скачет.

Лева не обращал на него внимания, смотрел на Нишу. Девушка молчала.

— Вы меня поняли, Ника Петровна?— Он повернулся к Рогозину:— Нэхорошо, Михаил Яковлевич. Сыдно.

И столько убежденности было в словах Гуроза, что Рогозин ссутулится, махнул рукой и хотел выйти. Лева его остановил:

— А извиняться за вас Нине Петровне поручаете?

Рогозин повернулся и забормotal:

— Прости, прости, не со зла я, с обиды,— и быстро вышел.

— Вот как бывает, ребята.— Лева сказал так, словно разговаривал с детьми.— Уж так мне скверно, слов нет.

— Не мог Колька человека убить,— не поднимая голоса, сказал Петр Темин.— Верно, Ника Петровна?

Ника ему не ответила, посмотрела внимательно на Лева и спросила:

— Кофе сварить, Лев Иванович?

— Спасибо большое, Ника Петровна. Пожалуйста.

Ника включила плитку, взяла кофемолку. Молодые наездники встали.

— Приборку, Ника Петровна?— спросил Темин.

— И горячихки Ляньке на грудь поставьте. Пятнадцать минут.

Когда ребята вышли, Ника вздохнула Гурозу волосы. Он задержал ее руку, прижался щекой, поцеловал шершавую ладонь. Кофе пили молча. Ника смотрела на бледное лицо Лева.— его голубые глаза стали еще больше,— все хотела сказать, что пора идти ему домой и выпасты, но не решалась. Уж очень это прозвучало бы сентиментально, да и какое она имеет право на подобные советы, он наездника не послушается, сделает по-своему. В комнате появился Рогозин, в костюме, с влажными и тщательно причесанными волосами. Он тихонько сел и сказал:

— Переодевайся, Нинок, к Кольке пойдем.— Он кивнул Лева на дверь.

Они вышли, подождели, пока Ника переодевается, и направилась в прокуратуру. Лева не был уверен, что следователь разрешит свидание, и по дороге позвонил по телефону. Следователь молча выслушал его путаные объяснения и сдвинув разразил, сказал, что Кунин все еще здесь, в кабинете, они заканчивают и ждут гостей.

Увидев Рогозина и Григорьеву, Кунин сначала вскрикнул, затем плюхнулся назад о кресло, съехавшись. Следователь вырвался из-за стола, пожал предыдущий руки, пригласил садиться. Только Лева оценил значение данного факта. Рогозин сел напротив Кунина, привычно с ног до головы оглядел его и сказал:

— Рассказывай!— Он держался как хозяин в этом большом, строгом кабинете.

Следователь не занял своего места, а продолжал стоять и взялся за графины с водой.

— Как же это, Коля?— спросила Ника.— На верю я, ты не мог...

— Придержки, Нинок,— строго остановил ее Рогозин, нацепил свои очки в металлической оправе, наклонился к Кунину.— Ты или не ты?

Кунин несколько раз молча кивнул.

— Я,— выдавил он с трудом.

Рогозин снял и протер очки, покачал головой и неожиданно горько заговорил:

— Не мог ты, Никола. Никке не мог. Их,— он кивнул на следователя,— обмануть можно. Мэня, старого, можно. Лошадей обмануть нельзя. Они же твою доброту чуют. Уговорили тебя здесь, запугали, скажи. Я ничего не боюсь, до Центрального Комитета дойду.

Лева хотел остановить старого конюха, но следователь пригрозил ему пальцем и довольно кивнул.

— Ты не бойся, парень. Тут же ясное дело,— продолжал Рогозин,— им убийцу найти необходимо, ты подвернулся, тебя и запригли. Мне, старому, правду скажи. Ну?

— Не надо, Михалыч,— ответил Кунин.— Никто меня не запугал. Сам я, все сам. Убить меня мало. Все водка.

Следователь взял со стола протокол допроса, протянул Рогозину.

— Можете прочитать.

Старый конюх надел очки и начал медленно читать. Остановившись, смотрел на Кунина, качал головой. Прочитав лист, Рогозин протянул его Нине.

Лева со следователем отошли к окну. На вопросительный взгляд Гурова следователь ответил:

— Он врать не умеет. Совершенно. Говорит только правду. Горе-то кзкое, горе. Ведь хороший парень, добрый.

— Хорошие и добрые людей не убизают,— сердито ответил Лева.— Нашли кого жалеть.

— Тебэ не жалко?

— Нет!

— Меняй профессию, Лев Иванович. Настоятельно рекомендую, меняй. Иначе разберутся в тебе и выголят.

Следователь смотрел сердито, даже зло. Лева сначала растерялся, потом, взяв себя в руки, ответил:

— Без рекомендаций обойдусь, уважаемый Николай Тимофеевич. Я по делу вам больше не нужен!

— Вы мне такой и по делу и без дела не нужны,— переходя на «вы», сказал следователь.— Сейчас возьмете Кунина, понайти и выведете с ними к Кунину домой. Измытите у него пиджак, в котором он был в тот вечер, и найдите подкову. Он забросил ее где-то неподалеку от своего дома. Вы мне данную подкову найдите обязательно.

— Постараюсь, Николай Тимофеевич.— Лева отошел.

Следователь извлек свой огромный платок, вытер лицо и шею, тяжело шаркая, вернулся к столу. Рогозин закончил читать, уже не смотрел на Кунина, встал.

— Я его, мерзавца, тогда в сбрыйный попонкой прикрыл, чтобы не выдали пьяного. Убийцу вроде спрятали. Бывайте.— Он протянул следователю корявую ладонь.

— До свидания, Михаил Яковлевич.

— Дазайте без свиданий.

— На суде-то встретимся.— Следователь пожал Рогозину руку.

— Тюрьма, значит,— утвердительно сказал Рогозин.

— Тюрьма, конечно,— согласился следователь и обратился к Нине:— Нина Петровна, мне нужна характеристика на Кунина.

— Хорошо.— Нина встала и неожиданно протянула Кунину руку.— До свидания, Коля. Страшное ты дело сделал, не прошу я тебе.— Кунин кивнул, нерешительно пожал протянутую руку.— Ты парень слабый, не свихнись там.— Она кивнула на окно.— Вернешься, приходи. Я тебя на работу возьму.

Кунин плакал, все не отпускал ее руку, хватался, хватался, как утконош. Он прощался, прощался, прощался...

— Коли жив буду, дождусь тебя.

Рогозин Кунину руку не поддал.

Гуров выполнил указание следователя, взял пиджак Кунина, отыскал подкову. В научно-техническом отделе провели соответствующие экспертизы, кото-

рые обнаружили на правом рукаве пиджака замытые остатки крови. На подкове тоже нашли кровь. Уголовный розыск свою миссию выполнил, дело продолжала прокуратура. Кунина арестовали. Ожидая суда, он находился в городской тюрьме. Из Москвы прибыло теперь уже не нужное уголовное дело, по которому три года назад проходил Крошин. Дело хотели направить обратно, но полковник Турилин не разрешил, приказав Гурову со всеми материалами внимательно ознакомиться. Не сейчас, так через год мы столкнемся с этим Крошиным, считал полковник. К встрече необходимо подготовиться.

Глава одиннадцатая

Когда Лева вернулся в группу, братья Птицыны приветствовали его стоя. Ломакин похлопал по плечу и коротко спросил:

— Дозолен!

— Нет.

— Что так? — поинтересовался Ломакин.

Лева положил на стол прибывшее из Москвы письмо. Ломакин взглянул на обложку, стал копаться у себя в столе, наконец извлек оттуда конверт и молча протянул. Он был молчаливым, Трофим Васильевич Ломакин. Лева прочитал письмо, которое Ломакин получил от своего товарища из Московского уголовного розыска: «Крошин, словоч, каких я в жизни не встречал. А ты мою жизнь, Трофим, знаешь. Крошин умеет, хитер, хладнокровен. Если у тебя есть против него хоть что-нибудь, цепляйся и держи. Не торопись, только не торопись, иначе уйдет. Если ты его возьмешь, буду твоим должником до конца грешных дней твоих. Дозаказательств не имею, но убежден, что у Крошина есть валюта, ценности и деньги на сумму что-нибудь около миллиона. Если ты его «копиплюк» найдешь, Крошину петля. Мы его заберем к себе и докажем все его дела по Москве. Именно из-за этих денег и молчаливо содеянные Крошиным, не дали против него показаний, видимо, рассчитывают получить свою долю после освобождения. Если деньги выплывут, конечно, все заговорят, и Крошину конец. Старайся».

Лева вернул Ломакину письмо, пожал плечами.

— Читай, работай,— Ломакин указал на папку,— это твоё дело.

— А магазином опять мы будем заниматься? — чуть ли не хором воскликнули братья Птицыны.

— Перебьетесь,— ответил Ломакин, усаживаясь за свой стол и давая понять, что разговор окончен. Анатолий Птицын, отличавшийся от своего брата родинкой над левой бровью, подошел к Гурову, ткнул пальцем ему в грудь и произнес речь:

— Ты, Лав Гуров Симичкин, пробрался в лобби-челки. Ты стал пенкоснимателем, занялся и превращаешься в обыкновенного карьериста. Когда ты станешь генералом, не забудь, что спяночачки тебе повязывали бескорыстные труженики,— он указал пальцем на брата и себя.— Ты идешь к слазе по нашим хрупким костям.— Анатолий сделал шаг назад и быстро спросил: — Когда свадьба?

Лева оказался на высоте, не покраснел, даже не смутился.

— Не надо заводить таланту. Несите свой крест достойно,— ответил он.— В оттошении свадьбы вас нагло дезинформировали, так как я убежденный женоненавистник.

— За дачу ложных показаний.— Анатолий щелкнул пальцами, протянул руку. Брат вручил ему конверт. Анатолий положил конверт перед Ломаки-

ным.— Вгляни, Трофим Васильевич, какого змея развратил ты на груди своей.

Трофим вынул из конверта несколько фотографий, начал разглядывать. Лева не знал, что предпринять. Розыгрыш или нет? Пока он раздумывал, Ломакин просмотрел все фото и грустно сказал: — Врешь, значит. И ты врешь, Лева. Нехорошо, — он специально употребил любимое выражение Гурова.

Лева не выдержал и покраснел.

Ломакин поднялся, взглянул на часы и сказал: — Поехали, братишки.

— Конечно, нам, бездарностям, жуликов искать надо, — сказал Анатолий.

— Убийства, сложные, запутанные дела расследуют молодые таланты, — поддержал его брат.

Проходя мимо Лева, Ломакин бросил на стол конверт и позорился:

— Нехорошо, Лева.

Когда смех и шаги за дверью стихли, Лева вынул из конверта фотографии. Смущающаяся Нина. Он, Лева, стоит потупившись, почему-то держит себя за мочку уха. Нина и Лева идут по скверу, и у него до неприличия восторженный вид.

Лева отложил карточки. Вот черти. Как они ухитрились?

Гуров до позднего вечера читал дело, по которому проходил три года назад Крошин. Когда не видишь людей, не слышишь их голоса, интонаций, а читаешь лишь сухие протоколы допросов, разобраться в ситуации весьма сложно. Ясно одно, что группа валютчиков была задержана в Москве три года назад. Размах их операций был достаточно широк. Пятеро сошлись. Крошин, безусловно, был в группе, но против него никто из арестованных показаний не дал. Обыск на квартире Крошина результата не принес. Его опознал лишь один иностранец, но очная ставка успеха не имела. Крошин все отрицал. Деньги и валюты у преступников изъятия крайне мало, хотя образ их жизни доказывал, что все располагают огромными средствами. Крошин был казначеем — только так можно объяснить поведение валютчиков на следствии. Призван свою вину и дружно изобличая друг друга, Крошина все выгораживали. Причины? Не хотеть терять «нажитые» капиталы. Главная же, арест Крошина и изъятие у него крупной, видимо, очень крупных сумм влекли за собой отягчающие обстоятельства, вплоть до высшей меры наказания.

Гуров сидел в своем кабинете до позднего вечера не только потому, что читал и перечитывал материалы. Лева с нетерпением ждал звонка следователя. Как продвигается дело Кунина? Ведь билеты тотализатора в имеющийся материал никак не вписываются. Как они появились на месте преступления? Самоговор? Такие случаи встречаются: если двоим преступникам грозит неминуемый провал, всю вину берет на себя один. Наказание одному меньше, и добыча остается у напарника. Оговаривать же себя Кунину нет никакого смысла. Да и человек он для такого дела совершенно неподходящий. Кунин говорит правду. Но если он говорит правду, при чем тут билеты? Как объяснить поведение Логинова перед смертью? Этот странный съезд и все, что говорил Рогозин?

Лева сидел, глядя на пустую стену, и думал, думал. Непрерывно шел по замкнутому кругу. Как ни пытался, вырваться из него не мог. Следователь позвонил и предложил заглянуть к нему на досуге в ближайшие тридцать минут.

Отдыхавший в коридоре, Лева вошел в знакомый кабинет.

— Маленькая неувязочка у меня произошла, решил посоветоваться, — сказал следователь. — Приятель-то наш, Кунин, левшой оказался. Понял, какая неприятность? Друг ты мне, Левушка, но истина дороже. Ищи преступника.

— Как левша? — Лева смотрел с недоумением. — Я сам видел, как Кунин расписывался.

Следователь вышел из-за стола. Большой, сильный и энергичный, он начал рассказывать по кабинету, говорил коротко, рублеными фразами:

— Кунин левша, правой лишь пишет. Он утверждает, что ударил Логинова лезвием. Удар же был нанесен правой. Кровь на правом рукаве.

— Врет, значит, — не выдержал Лева.

— Тут, дружок, еще один моментик образовался. — Следователь заговорщицки подмигнул и, не глядя на килы бумаг, выдернул один лист. — Прочитай, товарищ инспектор уголовного розыска.

Лева взял бумагу — это было заключение экспертизы: кровь на рукаве пиджака Кунина была третьей группы.

— Понял? — Следователь смотрел торжествующе. — А у Логинова вторая группа. И из подкоза вторая группа. У Кунина первая группа.

— Чья же кровь на пиджаке? — Лева присел на ручку кресла.

— Ох, какой шустрый! — Следователь рассмеялся, трясая огромным телом, чуть ли не слезы выпирал. — Убийцы это кровь, убийцы, — быстро сказал он. — Кунин-то невиновен. — Он хлопнул в ладоши. — Понял, сыщик?

Следователь ликовал, он чуть ли не полз, схватил трубку, набрал номер и спросил:

— Где Кунин? Уехал?

В дверь тихонько постучали.

— Входи, тезка! — грозно рявкнул следователь. Кунин застрял на пороге, пересилил себя и вошел.

— Здравствуете, — еле выговорил он. — Меня отпустили? Главное, не убивал я, не убивал. — Кунин протянул дрожжащие руки. — Все перепуталось в голове. Сны вижу, о яви не отличаю. Теперь жить можно. Просто жить и работать. Спасибо-то!

— Хорош! — Следователь обошел вокруг Кунина. — Обыкновенный человек. Видел? — Он любовался кономом, словно произведением искусства. Взял его за плечи, усадил в кресло: — Удобно? Свободному-то сидеть удобно? — поднял его, толкнул к дверям. — Марш в коридор, вызову.

Когда Кунин неслышно фыркнул за собой дверь, следователь уже серьезно сказал:

— Вот поработаете с моим Левой, поймаете, что невиновность человека доказывать куда как приятнее, чем самого опасного преступника изобличить. Чуть ли не сорок лет я работаю, все туда и туда отпраздновал. Преступники, мерзкие людишки, а на душе все одно хорошо. Такие праздники, как сегодня, редко случаются. — Он еще раз прошелся от окна до двери, занял свое место за столом, поворочался, вновь привычно позвонил. — Ну, дружок, праздник кончился, давай работать. — Следователь ловко выхватил из груды нужных документов, взглянул на него, бросил обратно. — Когда я выяснил, что Кунин левша и группа крови не совпадает, я решил по старинке — плясать от лещи. Успокоил я кономю и подробненько допросил. Только спрашивал я его не о том, что он делал в воскресенье, то есть в день убийства. Расспрашивал я его о понедельнике, вторник и так далее. Меня интересовало, где он бывал, с кем встречался после убийства.

Лева сидел напряженно и смотрел на пустое кресло напротив. Кто должен сесть в это кресло? Лева

догадывался, знал, но старался не думать, только слушать.

— В понедельник вечером, на следующий день после убийства, — начал свой рассказ следователь, — после допроса в этом кабинете Кунин направился, как ты думаешь, к кому?

— К Крошину и рассказал о случившемся, — Лева не сводил с кресла глаз и увидел в нем Крошину. Сан Санич сидел не развалившись, но и не напряженно, смотрел пылливо, спокойно, чуть-чуть насмешливо улыбался.

— Пришел Кунин к Крошину, рассказал печальную историю, признался, что крепко пьян был и ничего не помнит. Принял Крошин конюха нелюбезно, а выслушав, вдруг к столу пригласил и коньяк поставил. Выпили они, Кунину жарко стало, и Крошин любезно предложил принять ванну. Очень Кунин удивился, но хозяин чуть ли не силком его в ванну засунул. Затем снова к столу сели, еще выпили. Кунин все уходил порывался, однако хозяин не отпускал и оставил ночевать. Похоже на Крошину?

— Абсолютно нет, — ответил Лева.

— И я так думаю, — согласился следователь. — Утром выпили кофе, Кунин благодарит и прощается начал, а Крошин ему, как бы между прочим, и скажи: не мое это дело, но ты рукам у пиджачка простирни на всякий случай. Смотри Кунин, а на подкладке правого рукава темные пятна, кровь вроде бы. Он оправдываться стал, хозяин его к двери ведет, слушать не хочет. Не знаю, не интересно, говорит, что твое — твое, а мое — мое. Утром в среду Кунин в робе подкову обнаружил и от страха «вспомнил».

— Тут я на конюшне появился, — вставил Лева.

— Именно. Конюх к Крошину за советом, тот откряхивается, ни к чему мне это. А лично свою ведет последовательно: не трусь, все обойдется, не найду тебя. Кунин совсем ошелел от страха, начал подробности «вспоминать», а когда твое удостоверение увидел, побежал.

Я невинového явиться с повинной вынудил, — сказал Лева.

— Пока мы с этим оборотом не разобрались, на Крошину не вышли бы.

— Как дальше жить будем? — повторил Лева любимую фразу следователя.

— Чего опасался, то и произошло. Преступник есть, а где доказательства? — Следователь пятерней потер голову. — Прежде чем огород городить, надо свои предположения для себя же фактиками подпереть. Обсудим...

Когда Лева пришел на конюшню, Рогозин раздавал лошадям «кашу», буркнул что-то и продолжал работать. Не обескураженный столь холодным приемом, Лева остановился и весело спросил:

— Как здоровье, Михаил Яковлевич?

Рогозин таскал ведро от денника к деннику, не отвечал. Лева начал помогать, но конюх оттолкнул сердито.

— Не балуй. — Он разогнулся, ткнул пальцами Леву в грудь. — Лучшее уйди.

Сегодня Леву ничто не могло ни смутить, ни обидеть. Он рассмеялся, схватил два полных ведра, убежал в противоположный конец конюшни, задал корм. Так он и бегал с ведрами, пока все лошади не получили своей порции. Сидя у себя в комнате, Лева составляла график тренировок. Пробегая мимо открытой двери, Лева крикнул:

— Добрый день, Нина Петровна!

Нина его не видела, но голос узнала. Радость как-то у Левы, поняла она и стала ждать. Лева бро-

сил ведро, схватил Рогозина под руку, привел к Нине в комнату, закрыл дверь. Тяжело отдуваясь, он прислонился к косяку. Рогозин смотрел недоверчиво, Лева вопросительно.

— Коляка ваш, оборотом, невиновен и уже освобожден, — Лева выглянул в коридор, вновь плотно прикрыв дверь.

— Как невиновен? Не понимаю, — Нина поморщилась, кончиками пальцев провела по лицу, словно снимала прилипшую паутину.

— Сядь, стригун, объясни толком, — сказал Рогозин. — Николай сам сказал, мне сказал.

— Объяснять не буду, не имею права, — ответил Лева.

Нина, не обращая внимания на присутствие конюха, объяла Леву и крепко поцеловала его.

— И за меня, Нинок, — хихикнул Рогозин.

Нина на мгновение прижалась к Лева, отстранившись, деловито сказала:

— Работать, сегодня от нас четыре лошади в призу.

Хмель радости прошел, и Рогозин спросил:

— А дальше? Кто за Лексеича ответ нести будет?

— Майдем, если можете, конечно. — Лева повесил пиджак, засучил рукава, словно сейчас же собрался идти на поиск преступника.

Началась подготовка к бега, Нина с помощницами уехала на разминку. Лева с Рогозиным остались одни. Подготовив четвертую лошадь к соревнованиям, они закурили, сели на лавочку у конюшни.

— Михаил Яковлевич, — начал Лева и с удовольствием отметил, как конюх повернулся, пригласив слушать, — вы мне рассказывали, как когда-то наездникам давали деньги, заставляли специально проигрывать.

— Было, — согласился Рогозин.

— По нашим данным, убийство совершил кто-то из засадегаев ипподрома, — Лева лукавил, не сказал, что убийца почти найден. Где, как и когда преступник мог встретиться с Логиновым и предложить ему сделку?

— Лексеич на такое дело не пойдет, — сразу ответил Рогозин. — Болтают о нем, все брехня, я-то знаю. — Конюх говорил об убийце наездник, как о живом.

— Он и не пошел, — сказал Лева. — Однако последний его заезд помните? За фаворита Гладнатора пять в ординаре платили. Почему? Кто-то против него крупно играл. А мог Логинов на Гладнаторе проиграть?

— Ни в жизнь. — Рогозин даже сплонул.

— А что-то, Михаил Яковлевич, считал, что Логинов проиграл, — настаивал Лева. — Вспомните, вы мне сами говорили, что Логинов на себя поставил, когда раньше не бывало, отдавая вам билеты, сказал... как он сказал?

Рогозин задумался, потом медленно произнес:

— «Мне сегодня полагается, жулье учить надо».

И вроде того: напомним некоторым, кто мы такие есть.

— Вот-вот. Предложили ему деньги, Михаил Яковлевич, поверьте мне, предложили, — убеждал конюха Лева.

— Лексеич бы того прохвоста вдоль спины и к чертовой матери, — возразил Рогозин.

— Так иначе было, сами видите, — не сдавался Лева. — Как, где и когда такой разговор произойти мог?

— В субботу, только в субботу, — ответил Рогозин. — Нинок ему в пятницу сказал.

— Хорошо, в субботу, — Лева кивнул. — Где и как?

— Покупали Лексеича, значит, покупали, сукины дети, — бормотал Рогозин. — По моему уму, если



такое дело было, то так...—Рогозин, глядя в землю, будто видя сквозь нее, начал рассказывать:—Зашел в субботу после работы он в ресторан выпить. Каждый день заходит, все знают. Известное дело: здравств—здравств, кто узнал, к столу зовет. Он на лево повернул, в дальний угол за служебный стол, на людей внимания не обращает, пиво пьет. Тут, полагаю, и подсел к нему. Один подсел, вдвоем такие дела не делают, и сказал между делом: «Слышал, ты, мастер, завтра на Гладнаторе едешь?» Лексеич кивнул, пиво пьет. «Может Гладнатор проиграть?»—тот спрашивает. Лексеич усмехнулся, пиво пьет. «Стоп,—то говорит. Лексеич пиво пьет. «Триста...» «Пятьсот...» «Тыщу!»—Рогозин неожиданно покраснел, зашептал горячо:—Ведь к Нинке-то тот подойти не посмел, знает, она его, самое малое, по морде нахлещет. К Лексеичу можно, дело в сумме, старого всегда купить можно.—Рогозин поднялся, Лева встал рядом.—Искать будешь, помни, тот не уговаривал, не предлагал, тот покупал.

— Спасибо, Михаил Яковлевич,—искренне сказал Лева.—А в ресторане не опасно? Ведь все видят?
— И что такого? Говорят люди и говорят, о чем—неизвестно.

— Как же мне такого типа найти?—лукавил Лева.—Подскажите, Михаил Яковлевич.

— Работала в ресторане в тот день...—Рогозин произвел подсчет и закончил:—...смена Федора. Она и сегодня работает. К Федору, старшой у них, не ходи. Болтун. К Митричу обратишься, моего роста и возраста, голова, как колесика, голая. Поклон от меня передай, он тебе все как есть нарисует.—Рогозина захватил сыскной азарт.—Сейчас и отправляйся, пока гостей у них нет. И еще,—он задумался.—ты тут не толкайся, на трибунах побудь, у кассы постой. В ложи загляни, тебе корифеев найти требуется, жизнь их игровую понять. Иди-иди, я Нинке твоей поклон передам.

В ресторане все произошло на удивление просто и быстро. В сыском деле и такое случается. Лева сел за столик, который обслужил маленький лысый официант, заказал кофе и боржом и передал поклон от Рогозина. Гостей действительно не было, официанты слонялись без дела, и Митрич присел на свободный стул, спросил о здоровье Михаила. Завязалась беседа. Когда Лева задал свой вопрос, Митрич удивленно спросил:

— Зачем вам? Колька ведь пришел?

— Приказал и арестован,—подтвердил Лева.—К этому делу мой вопрос отношения не имеет.—Он видел, что официант не верит, но разубеждать не стал.

— Тот вечер хорошо помню,—сказал Митрич, стараясь скрыть любопытство.—Пришел Борис Алексеевич, как обычно, сел за служебный,—он указал на столик в углу.—Самка ему пару пива из холодильника поддал. Тоже как обычно. Потом к Борису Алексеевичу. Митрич быстро перекрестился,—шумная компания подошла, погладели и на выход. Парень молодой подсел, как обычно.

— Какой парен?—спросил Лева.

— Наш, играющий,—ответил Митрич, пылively разглядывая Лева.—Инженер он вроде, солидный.—Лева уже опустил руку в карман, хотел достать фотокартонку, но официант сказал:—Крошин Александр Александрович,—и надобность в опознании отпала.

— Долго разговаривали?—Лева убрал руки со стола, без всякой необходимости достал носовой платок.

— Не помню. Долго не должно.—Митрич выдержал паузу.

— Что дальше было?

— Инженер отошел, двое из оркестра подсади. У оркестра перерыв организовался.

— Потом?—Лева уже больше ничего не интересовало, но он не хотел, чтобы официант понял, что именно Лева интересуется.

— Потом, потом?—Митрич разочарованно вздохнул.—Ничего не было. Допил Борис Алексеевич свое пиво и ушел. Как обычно.

— Большое спасибо, хотя интересного я ничего и не услышал. Спасибо.—Лева распустился и пошел на трибуны.

В кассовом зале уже толпился народ. Листая программки, люди бродят, словно слепые, порой наткнется друг на друга. Веселая или Кристалл? А может быть, Пхихта? Верный тоже королевских кровей.

На трибунах атмосфера чисто спортивная, здесь тоже играют, но и победы и поражения принимают с веселой, громкими шутками и смехом. На первом ярусе—ложи, здесь тихо, разговаривают вполголоса.

Скамеек в ложах ипподрома нет. Кое-где стоят стулья, разнокалиберные, колченогие, явно для своих мест не предназначенные. Занимает их игровая элита, с биноклями и секундомерами, люди спокойные, чуть-чуть усталые. Они наблюдают за окружающими, которые волнуются и кричат, смотря на нихнисходительно, как старики на игру детей. Иные же вообще не обращают ни на кого внимания, они алхимики, занятые поиском философского камня, изобретатели перпетуум-мобиле, йоги, увлеченные самосозерцанием. Когда идет заезд, они следят за летящими скачками. Любый результат воспринимают с огорчением, давно им известное, ни радости, ни огорчения—так должно было произойти, так и произошло. Они все знают, все предвидят, ни в чем не сомневаются. Они не спешат к кассам делать ставки, не ходят получать выигрыши, рядом всегда есть кому сбежать. Приказы отдаются шепотом, иногда лишь движением бровей. И побежал «человек», оглядываясь, запутывая следы: никто не должен догадаться, как играет в этом заезде «сам». Смешно, однако за «человеком» порой действительно следят, кого-то интересуют, как играет «сам». Касс много, они на разных этажах, применяются хитрые приемы «проверки» и «ухода» от преследователя. Такой изобретательности могли бы позавидовать сотрудники «одной иностранной разведки». Иногда проводятся сверхсложные комбинации. Проплетая по кассовым залам, «человек» делает ставку, возвращается. Проносится шумок, слышен шепот: «Лемуру, играет Лемуру». Люди бросаются к кассам, наконец-то они знают: теперь дело верно. За пять минут до старта «человек» неторопливо направляется в буфет, по дороге случайно останавливается у кассы и играет в том же заезде Амуницию.

К ложам корифей подходят, справляются о здоровье, работе, детяхках. Рассуждают о погоде и футболе. «Кто? Кто?»—спрашивают глаза. «Сам»нисходительно шутит, благодарит за внимание, мольбы в глазах он не видит, ведь закон тотализатора жесток: ты поставишь на «моего» победителя, тем самым отберешь у меня часть выигрыша. Может быть, проще дать деньгами? Человек уносит вопрос с собой, он не ропщет, он понимает.

На кругу в это время готовится больше двадцати лошадей, одни из ближайшего заезда, иные поедут через час с лишним. Все красивые, статные, много

в близком родстве, сводные сестры и братья, ену-чатые племянники. Знаюки не путают их.

Прошел последний заезд, корифей неторопливо направляется к каске, лениво достает выигравшие билеты, только шущера бежит получать сразу после заезда. Ленивыми движениями он протягивает кассирше свидетельства своих знаний и опыта. В первом заезде, во втором, в третьем...

— Вы как всегда,— улыбается кассирша, называя «самого» по имени и отчеству.

— Мелочь! — Он тоже называет кассиршу по имени и отчеству, оставляя мелкую купюру, которая, возможно, ему тоже нужна. Однако он «забывает» ее в каске, так как «сам» сейчас на сцене, среди огней рампы, за ним следят восторженные глаза зрителей. Пусть их маленькая чучка, да и смотрят «тотошники» больше на деньги, которые он небрежно сует в карман, неважно, это его минута, он готов тянуть до бесконечности, сейчас он выше мастеров и неездников.

Все. Занавес опустился. Смолкли овации.

Рогозин советовал посидеть в трибунах. Лева пришел и сел. В ложе, рядом с Крошиным, Лева больше наблюдал за лошадками. Сейчас же, расположившись недалеко от Крошина, Лева смотрел лишь на людей. Все в чутъ приподнятом настроении. Кругом почти одни мужчины, если попадает женщина, то ей обязательно кто-то объясняет правила, она кивает, явно ничего не понимая. Основная ее забота сестра и не испачкать юбку.

Трибуны ровно гудят, в начале заезда затихают, когда же лошади выходят на последнюю прямую, страсти прорываются наружу. Крики одобрения и возмущения достигают аплоа. После гонга, оповестившего, что первая лошадь финишировала, крики стихают, по трибунам вновь разливается ровный гул.

Лева все чаще поглядывал на Крошина. Рядом с ним сидела Наташа, Ани не было. О чем думает он, несколько дней назад убивший человека? Что делает здесь? Если предположения Левы верны, Крошин располагает огромными деньгами — тысяча рублей для него пустяк. Просто развлекается, убивает время? Изредка к Крошину наклоняются через барьер какие-то люди — две-три фразы, и отходят. Почему лоуку никто не занимает? Везде полно, а Крошин с Наташей сидят вдвоем. Почему? Вбегает и выбегает из ложи маленький мужичонка, он по распоряжению Крошина делает ставки. Кажется, его лозу: Валёк. Почему Валёк? Лева помнит, что мужичонке под пятьдесят. У него в склеротических жилках лица и закивающие бесцветные глаза. У него нет ни копеек, и он — Валёк. У Крошина есть деньги, и он — Сан Саныч. Почему все-таки в ложе, кроме Крошина и Наташи, никто не сидит? Места не нумерованные, каждый может войти, встать или сесть, там есть свободные стулья. На каменном барьере ложи, у входа, два здоровенных парня пристроились с пивом и бутербродами. Почему они сидят у входа, а не на стульях в ложе? Лева присмотрелся: парни не едят и не пьют, разложили свое хозяйство и сидят, изредка переговариваясь. К кассам парни не ходят, за заездами следят равнодушно: Неужели Крошин имеет телохранителей? Как же Лева не заметил их раньше? Интересно. Лева с нетерпением ждал: может, кто-нибудь все-таки попытается занять свободные места. Наконец какой-то respectable мужичина с дамой хотели войти в лоуку, но парни встали, преградили путь. Крошин равнодушно взглянул, вновь отвернулся. Мужичина взял что-то говорить, жестикулировать. Тогда парни взяли свои бутылки и газету с бутербродами, вошли в лоуку и заняли свободные стулья. Когда мужичина с дамой отошли, парни вновь вернулись на пре-

ную позицию. Вот так номер! Значит, всегдатеаи знают, а новичков заворачивают подобным способом. В свите у Крошина четверо: два телохранителя, любовница и пятидесятилетний «мальчик» по кличке Валёк. Всех немедленно установить и проверить, в нужный момент допросить, решил Лева. Да, были еще Аня и Кукин. Крошин теряет кадры, войско редееет. Ничего, он его быстро восполнит. Только Лева это подумал, как к ложе подошла Анна. Неужели вернулась и снова будет просиживать здесь часы? Зачем ей это надо? На Анну парни не обратили внимания, она прошла свободно. Вход сюда стоит восемьдесят копеек, для девушки это деньги. У Левы появилась интересная мысль. Он вышел на улицу, потянул и направился обратно. На контроле его остановили.

— К Сан Санычу, — сказал он уверенно.

— Пожалуйста.— Пожилая женщина вежливо улыбнулась.

Деньги сами по себе лишь символ, раскрашенная бумага. Крошину нужна власть. Как ее получить? Крошин умеет распоряжаться деньгами. Для любовницы снята квартира. У него телохранители и «мальчик» Валёк. Достаточно назвать его имя, и контролер вежливо улыбнется. А вот и он, Александр Александрович Крошин, сидит спокойный, не обращающий ни на кого внимания. Это его звездные часы. Здесь он личность, победитель. Падаших крохотного государства. На работе он рядовой инженер. Внешне все очень прилично. Старенькая «Волга», скрившаяся квартира. Одет со вкусом, но не броско, держится с достоинством, но скромно, говорит вполголоса. Власть. Он имеет власть. Пусть в микромере, пусть над людьми ничтожными. Будет больше, нужно иметь терпение, торопиться нельзя. В Москве он поторопился, больше такой ошибки не повторит.

Лева начинал понимать психологию Крошина. Зачем понадобилось покупать Логинова? Деньги? Для Крошина это не деньги. Тысячи людей поставили на непобедимого фаворита. Крошин захотел, и Гладатор должен был проиграть. И убил он, конечно, не из-за денег. Его ослупались, обманули, над ним посмели издеваться. Личность он или не личность? Простить, забыть? Значит, отступить? Признать себя побежденным? У него был лишь один зритель — он сам. Именно перед собой он не мог спастись. Признать, что ты нуль, что не можешь, вся твоя сила — сплошной блеф и самообман? Жизнь не удалась, ты ничтожество?

Лева сел в сторонке и смотрел на Крошина. Убийца. Он, внешне интеллигентный, с обязательной улыбкой.

Неудача с Логиновым таила еще одну опасность. Вполне возможно, что старый неездник Крошина знал. Наверняка знал. Логинов расскажет о попытке подкупа, двери ипподрома закроются. Где же тогда царить?

И все равно для совершения убийства таких мотивов недостаточно, должно существовать что-то еще. Главное. Что? Что могло толкнуть Крошина на убийство?

(Окончание следует)

К 100-летию
со дня рождения
М. И. Калинина

Александр
ГОРКИН



ДРУГ И НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ

Михаил Иванович Калинин... Светлое и дорогое для каждого из нас имя. С особым чувством произносим мы его сейчас, в канун столетия со дня рождения этого замечательного человека. «Тверской крестьянин, питерский рабочий и ленинской закалки большевик», он был символом Страны Советов, свободы и братской дружбы всех ее народов.

Его ласмали Всесоюзным старостой, Калининцем. И в этом ярко отразилась огромная народная любовь к пламенному революционеру-ленинцу, мудрому государственному деятелю.

Характеристика, данная М. И. Калининну великим вождем революции В. И. Лениным, когда в 1919 году он рекомендовал Калининна на пост Председателя ВЦИК, была полностью подтверждена всей жизнью Михаила Ивановича. К моменту избрания на этот высокий пост он имел за плечами двадцатилетний стаж революционной и партийной работы, прошел через тюрьмы и ссылки. Он обладал, по словам Владимира Ильича, «умением подходить к широким слоям трудящихся масс».

Около тридцати лет Калинин был Президентом Советского государства и на этом ответственном и почетном посту оправдал доверие, которое оказали ему партия и народ.

Трудно охарактеризовать даже в общих чертах многогранную деятельность М. И. Калинина как выдающегося государственного и партийного деятеля и одновременно пропагандиста, агитатора и публи-

циста, выступления которого отличались исключительной глубиной и богатством содержания, своеобразной, доступной и привлекательной формой изложения. А как передать то неповторимое обаяние личности Михаила Ивановича, ту удивительную простоту и сердечность, внимательное участие и вместе с тем справедливую строгость и требовательность, которые остались в памяти у каждого, кто с ним встречался, кто обращался к нему за помощью или советом. К сознанию и сердцу каждого находил он свои пути, умел глубоко проникнуть в мысли, понять заботы, оказать вдохновляющее влияние и укрепить уверенность в своих силах. Всего себя посвятил он борьбе за победу пролетарской революции, за создание и развитие первого в мире многонационального социалистического государства рабочих и крестьян, преобразованию жизни народа на основах свободы и равенства.

Последние девять лет жизни М. И. Калинина мне довелось работать под его непосредственным руководством в ЦИК СССР и в Президиуме Верховного Совета СССР, близко видеть его в жизни. Память хра-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин вручает Г. К. Жукову маршальскую звезду. В центре — секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин.

Февраль 1943 г.

нит живые черты Михаила Ивановича, его доброту и сердечность, мудрые, никогда не стареющие советы. Многие из них обращены к юношам и девушкам, к советской молодежи, которую Калинин горячо любил, был ее искренним другом и наставником. Он целил нашу замечательную молодежь за то, что она всегда была полна революционного энтузиазма, по первому зову партии шла на ответственные, ударные участки социалистического строительства, а когда нужно, и с оружием в руках защищала завоевания своих отцов.

Помню, как выступал Калинин на собрании комсомольского актива в городе Куйбышеве, где он с некоторыми другими членами правительства и ЦК партии находился в ноябре — декабре 1941 года. Михаил Иванович говорил, что вот мы, старшее поколение, хотели создать для молодежи мирную творческую жизнь. Но фашисты напали на нашу страну, и на молодежь ложится основное бремя испытаний. Она должна быть твердой и мужественной в борьбе с врагом, защищая завоевания революции... Он говорил, как всегда, просто и вместе с тем ярко, словно беседовал с каждым по душам. Думаю, что речь его запомнилась куйбышским комсомольцам той поры на всю жизнь.

Никогда не забудутся, не утратят своего воспитательного значения выступления, доклады, статьи М. И. Калинина, обращенные к комсомолу, к советской молодежи. Перечитывая их сегодня, вникая в содержание его речей на партийных, профсоюзных, комсомольских съездах и конференциях, на съездах Советов и на многих совещаниях, обзорах его деятельности и многогранную работу как ближайшего соратника В. И. Ленина, партийного и государственного деятеля, глубоко осознаешь, какой неоценимый вклад внес он в обеспечение успехов нашего народа, как полезны его опыт и советы для настоящей и будущей работы по строительству коммунизма.

Проявляя подлинно отеческую заботу о молодежи, понимая, как будущее нашей Родины зависит от нее, ее сознательности и активности, хорошо представляя, какие трудности зачастую возникают перед каждым молодым человеком при разрешении жизненных вопросов, определении своего места в обществе, на работе, М. И. Калинин уделял коммунистическому воспитанию подрастающего поколения постоянное и большое внимание.

Напомню читателям «Юности» некоторые его выступления на эту тему.

1926 год. VII съезд ВЛКСМ. Делегаты восторженно встречают вышедшего на трибуну Калинина. А когда утих наконец зал, Михаил Иванович начал речь: комсомольскому съезду ЦК партии и наша Советская власть уделяют больше внимания, чем любому из других съездов. Основная причина этого состоит в том, что «в лице комсомолом у нас растет главное богатство нашей страны», что «в лице комсомолом мы будем иметь те отряды, которые потом будут защищать ряды старых борцов за социализм», что комсомол — это «передовой отряд пролетарской и крестьянской молодежи...»

Говоря об особенностях, своеобразии духовных качествах, присущих молодежи, юности, Михаил Иванович подчеркнул, что первое качество, которым особенно отличается юношеский возраст, это исключительная восприимчивость, из чего необходимо сделать ряд практических выводов, например, в области проведения пропаганды и агитации среди коммунистической молодежи.

Своеобразие юношеского возраста заключается в огромном внутреннем стремлении к идеальным переживаниям. «У молодежи всегда есть желание самопожертвования; у молодежи всегда есть желание

обойти весь свет пешком, пойти в моряки, быть капитаном, открывать новые части света и т. д. и т. п.»... Молодежь «в своей массе необыкновенно искренна и пряма».

Остановившись на этих основных отличительных чертах молодежи, М. И. Калинин отметил их ценность для человека. «Если бы эти качества не имели сами по себе особой, исключительной ценности для человека, то, я не сомневаюсь, значительная часть юношеской душевной красоты, может быть, поблекла бы». И вот мы, партия и руководители комсомольских организаций, думаем, что «не надо глумиться эти юношеские особые свойства, наоборот, их надо беречь, их надо развивать, на почве их надо растить нового, более совершенного человека».

Затаив дыхание, слушали делегаты Всесоюзного старосту. Эта речь давала комсомолу ясные ориентиры в борьбе за нового человека, в работе с миллионами молодых строителей социализма.

Не утратил своей актуальности и мысли, высказанные М. И. Калининым в речи на торжественном заседании, посвященном десятилетнему юбилею комсомолом, 29 октября 1928 года.

Старшие поколения, сказал он, росли в совершенно иных материальных и политических условиях, при иных возможностях массовой организации, массового влияния и общественного воспитания. Если раньше воспитание революционной молодежи направлялось на отрицание буржуазного мира, на подготовку не посредственных борцов, стремящихся к разрушению этого мира, то в настоящее время перед нами стоит задача построения социалистического общества.

Разумеется, подчеркнул Калинин, во всех своих действиях, во всех областях работы комсомолец должен руководствоваться марксизмом-ленинизмом, но он должен вместе с тем участвовать в ряде отраслей деятельности, чтобы выступать непосредственным строителем социалистического общества. Поэтому «вся установка комсомольской организации в области формирования нового человека должна быть рассчитана не только на усвоение марксизма-ленинизма, но и на распространение тех положительных знаний, которые необходимы в жизни для того, чтобы закрепить социализм практической работой». Первая задача, которая стоит перед комсомолом, — это воспитание уважения к положительным, практическим знаниям, задача пропаганды среди комсомольских масс уважения к труду, развитие уважения к человеку, который трудится.

«Молодежь» — сказал М. И. Калинин, — это великодушный, самый подвижной отряд человечества. Ведь не случайно же, что во всех революционных выступлениях застрельщиком является молодежь. Возьмите картины всех баррикадных боев, и вы увидите, что на боевых постах всегда вперед молодежь. Почему это происходит? Да потому, что молодежь острее всех воспринимает несправедливость старого мира, потому что у молодежи много физических сил, они переплывают через край. Молодежь отважна и смела; она не боится смерти. Старики рискуют жизнью не всегда решаются; они больше берегут свою жизнь». Молодежь, заключил он свою мысль, «является прекрасной частью человечества, и эти качества и свойства молодежи надо беречь, культивировать и развивать».

В заключение Михаил Иванович сказал: под руководством Коммунистической партии комсомольская организация справится с трудными задачами по формированию нового человека, который должен быть не только бойцом, но и строителем нового, социалистического общества.

Ленинский комсомол с честью оправдал это высокое доверие партии.



М. И. Калинин с ребятами
его родного села на бе-
регу реки Медведицы.

В октябре 1938 года вышла в свет брошюра М. И. Калинина «Слапный путь комсомола». Давайте передгадем ее страниц, пожелтевшие от времени, но яркие и волнующие по своему содержанию. Очень советуем это сделать.

Тепло и живо показан в ней двадцатилетний путь Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, насчитывавшего к тому времени в своих рядах шесть с половиной миллионов человек. Перед комсомолом открылись широкие перспективы и возможности для творчества и движения вперед во всех областях деятельности на пользу трудящихся. «Интернациональные задачи комсомола», — писал М. И. Калинин, — должны занимать значительное место в работе ВЛКСМ, на него смотрит трудовая молодежь всего мира. Так будем же достойны занимать это почетное место ударной бригады в борьбе за победу пролетариата во всем мире».

Сущностью марксизма, отмечается в брошюре М. И. Калинина, не овладеешь простым заучиванием его формул; в результате этого «может получиться начетчик, знаток текста, буквоед и плохой марксист-ленинец». Наиболее полно марксистско-ленинское учение познается в применении его к практической политике, в общественной и хозяйственной деятельности. А поэтому и «воспитание молодежи в духе ленинизма должно идти не только по линии учебы, но и по линии практической деятельности».

Особенно ответственно роль комсомола в производстве — как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Процент молодежи комсомольского возраста в производстве очень высок. К вопросам организации труда, повышения его производительности молодежь должна подойти вплотную.

Как неустанный пропагандист новой, коммунистической морали, М. И. Калинин постоянно напоминал молодежи марксистское положение об огромной роли труда в социалистическом строительстве, рассмат-

ривал труд как непременное условие жизни человека. Именно в труде, в процессе производственной трудовой деятельности, в созидании человек может развить в себе высокие моральные качества.

В своих выступлениях, беседах и статьях он подчеркивал решающее значение для победы в коммунистическом строительстве сознательного отношения к труду, строгого соблюдения трудовой дисциплины. Работать спустя рукава, давать продукцию плохого качества, не проявлять бережливости — значит не уважать самого себя, не рассчитывать на уважение и своих товарищей. Мало лишь исполнять свои обязанности, напоминал он, надо еще и любить свою работу, стремиться полностью узнать все, что достигнуто в данной профессии. Ничто так не портит человека, как равнодушное, безразличное отношение к делу. Если нет вкуса к работе, то теряется вкус и к жизни. М. И. Калинин решительно выступал против лени, против апатичности, формализма, сухости и скуки в каждом деле.

Обращаясь к молодым рабочим, учащимся, он высказывал пожелание, чтобы у них как можно скорее зародилась профессиональная гордость, а это самая высокая гордость. Беседуя с учащимися ремесленных и железнодорожных училищ в октябре 1943 года, М. И. Калинин говорил: «Я вам прямо скажу, что человек, который выучился хорошо работать, везде будет себя хорошо чувствовать и везде с ним будут считаться и товарищи и начальство, и даже его агитация будет иметь большой вес, так как все его знают как хорошего рабочего. Перед ним будут раскрыты пути к дальнейшему продвижению: он выйдет в мастера, сможет обучиться чертежному делу, перейти в конструкторские мастерские и т. д. ... Молодым обязательно нужно приучиться добросовестно работать».

Калинин завоевал непоколебимый авторитет среди трудящихся еще и тем, что сам был квалифициро-

важным рабочим, мастером, знатоком своего дела. Посмотрите, рассказывал он, как хороший дворник выполняет свою простую работу: он сметает снег или мусор с мостовой, как художник. Видно, что он работает с душой.

Высказывания М. И. Калинина о решающем значении правильной организации труда, непрерывного повышения его производительности, воспитания в каждом советском человеке чувства ответственности за порученное дело приобретают особую актуальность сейчас, когда претворяется в жизнь грандиозная программа коммунистического строительства, когда с небывалой силой и размахом развернулось социалистическое соревнование за выполнение планов девятой пятилетки и достойную встречу XXV съезда КПСС. Коммунистическая партия проявляет неустанную заботу о воспитании молодежи в духе уважения к труду, стремления отдать свои силы, знания и способности на благо народа. Эти качества в решающей степени вырабатываются у молодежи под воздействием школы и трудового коллектива. На это Калинин неоднократно обращал внимание.

В организации и деятельности студенческих отрядов, лагерей труда и отдыха для школьников также находят широкое отражение рекомендации М. И. Калинина о необходимости сочетать учебу с практической деятельностью, развивать у молодежи способность руководить коллективом, прививать ей умение жить в коллективе.

Михаила Ивановича живо интересовали все сферы деятельности молодежи. Известно, что особое внимание он уделял совершенствованию государственного аппарата, работы Советов, их низовых звеньев — сельских, районных и городских Советов. Он заботился об этом не только, как говорится, по службе, но и по душе. Чтобы еще раз убедиться в этом, мысленно вернемся на сорок один год назад. 27 июня 1934 года Михаил Иванович, занятый огромной государственной работой, находит время и встречается с выпускниками Московского института советского строительства, которым в этот день вручали дипломы.

Напутствуя выпускников, он давал им ценные, конкретные советы: болеть за работу, волевать за нее, избегать чиновничьего подхода к делу, решать вопросы по существу, формально от них не отписываться. К каждой жалобе, говорил Калинин, надо подойти внимательно, рассмотреть ее всесторонне. Мы должны строго относиться к защите интересов трудящихся и будем наказывать за невнимательное отношение к их жалобам...

Вспоминается такой случай, характеризующий отношение М. И. Калинина к письмам и жалобам трудящихся.

Как-то в связи с особенно большим поступлением жалоб в Президиум Верховного Совета СССР среди работников аппарата возникла мысль провести некоторые формального порядка ограничения в приеме и рассмотрении заявлений граждан: не принимать к рассмотрению заявления, которые поданы, минуя местные органы, повторные жалобы рассматривать через определенный срок, установить форму заявлений, направлять их с приложением гербовой марки и т. д.

Когда со своими предложениями мы пришли к Михаилу Ивановичу, он указал нам на всю несостоятельность и вредность этой затеи, сказал, что наши предложения исходят из удобства для аппарата, а существу дела не помогают. В том-то и сила Советского государства, подчеркнул Калинин, что гражданин может обратиться в любой орган и требовать к

себе внимательного отношения, совета, разъяснения, консультации. Обобщение, систематизация и изучение поступающих жалоб дают возможность знать, что делается в стране, в каком районе и с каким вопросом дело обстоит неблагоприятно. Разрешение частного вопроса всегда оказывает определенное влияние на общие вопросы социалистического строительства. Как разрешается жалоба, какое отношение к заявителю в том или ином государственном учреждении, узнают многие; поэтому к разрешению любой жалобы надо подходить политически.

Вот так Михаил Иванович учил своих сотрудников, местных работников внимательнейшим образом относиться к каждой жалобе, пусть даже кажущейся незначительной. Ведь за ней стоит живой человек, верящий в справедливость Советской власти. Калинин никому не позволял подрывать эту веру небрежностью, равнодушным отношением к делу. И, конечно, сам был примером. Встретиться с людьми было для него не одной из обязанностей главы государства, а глубокой внутренней потребностью.

Он никогда не порывал связи со своим родным селом Верхняя Троица, проводил здесь отпуск, работая в колхозе вместе с земляками, помогая матери по хозяйству.

Систематические выезды в республики, области и районы, на заводы, в колхозы, воинские части, выступления на собраниях трудящихся, в печати, регу-



М. И. Калинин в Верхней Троице. Перед покосом.

лярный прием посетителей, внимательное рассмотрение жалоб и заявлений граждан имели исключительно важное значение для успешного проведения в жизнь решений партии.

Все дела, все помыслы М. И. Калинина были направлены к главной цели — укреплению связей Коммунистической партии с народом. Он всегда шел плечом к плечу с массами, вместе с ними боролся и строил новую жизнь.

За время работы на высоком государственном посту Михаил Иванович совершил сотни поездок по стране, побывал в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Кавказе. Он все время в делах, он часто в пути: в стране разнуривалась гигантская стройка, совершались героические дела. Калинин везде должен был побывать сам, все увидеть собственными глазами. Этому принципу он не изменяет до конца своей жизни.

В общении с трудящимися он видел источник силы и вдохновения. В годы революционной борьбы против царского самодержавия М. И. Калинин подвергался многочисленным арестам и ссылкам, много лишений испытал он сам и его семья. Выступая 20 ноября 1935 года на заседании Президиума ЦИК СССР по случаю своего 60-летия, Михаил Иванович сказал, что у него никогда не было ощущения безвыходности положения, он всегда чувствовал поддержку народа. Вот эта вера постоянно укрепляла, закаляла его, помогала переносить все невзгоды.

Одной из главных черт характера Михаила Ивановича была заботливость. Он с радостью передавал свой жизненный опыт, свои большие и глубокие знания молодежи, делился с ней тем, что приобрел годами упорного труда. Вспомним о беседе М. И. Калинина со студентами Института государственного управления; его речь — это программа деятельности для будущих специалистов. Сейчас, тридцать семь лет спустя, она так же свежа, так же интересна и важна для сегодняшней молодежи, эта простая и мудрая беседа. Калинин не поучал, он учил: работу надо брать по силам, брать то, что снесешь. Но нужно нагружать себя полностью и в работе быть пунктуальным, не ловчить, а честно подходить к вопросу, решать, как лучше, не гнаться за ответственными постами.

В административной работе, советовал Михаил Иванович, следует стремиться вносить меньше личного элемента, проявлять прямой, коммунистический подход. Если вы будете честно работать и не кичиться этим, то дело у вас пойдет и народ вас полюбит. Народ в этом отношении — самый точный инструмент. Народ больше всего не любит фальшь и очень быстро ее распознает. На народ лучше всего действует честный, прямой подход.

Обратив внимание на необходимость хорошо, толково составлять документы, Калинин рекомендовал читать художественную литературу: Чехова, Гончарова, Белинского, Добролюбова... Лучше Чехова никто не пишет: коротко, сжато, ясно, прекрасный, настоящий русский живой язык. Читайте беллетристику, советовал он, — это одно из важнейших пособий для наших работников. Вы будете иметь дело с людьми, а беллетристика для общественника все равно, что филология для медика; она учит познавать людские характеры, помогает в понимании людей, дает и общее развитие.

Главное напутствие Калинина студентам: работайте честно, по-коммунистически, не увлекайтесь дешевыми лаврами. Мы служим такой идеальной цели, как уничтожение всех видов эксплуатации, рабства, нежестова, для полного освобождения людей. Что

может быть лучше этой цели? Вот вы и должны быть воодушевлены таким колетом.

Михаил Иванович обращал внимание на необходимость постоянно пополнять знания, учиться и учиться, подчеркивая, что знания приобретаются постоянным трудом. Сам он показывал в этом пример. С юношеских лет и до последних дней своей жизни не переставал совершенствовать и углублять свои знания. Несмотря на трудности и лишения, ссылки и тюрьмы в дореволюционные годы, большую занятость делами государственного управления в советское время, он настойчиво изучал марксизм-ленинизм, изо дня в день знакомился с новинками научной и художественной литературы. Во время Великой Отечественной войны, уже частично лишившись зрения, он вновь перечитывал многие произведения основоположников марксизма-ленинизма, книги советских и зарубежных писателей. И молодежь советовал: «Мне вот скоро 70 лет, а все равно неутомимо изо дня в день приходится следить за литературой и учиться. И никак нельзя иначе. А ведь я поопытнее вас и политически полнее, легче выберусь из трудного положения. Вы помоложе, значит вам потруднее, и помочь могут только знания. Вы все время должны учиться. Сама жизнь повелительно этого требует».

Вся большая и светлая жизнь Михаила Ивановича Калинина была отдана родному народу. Он прошел долгий и прекрасный путь вместе с Коммунистической партией, вместе со своей страной. И потому столетие со дня его рождения отмечается так широко и торжественно.

Он жил заботами и надеждами народа и навсегда останется в делах, подвигах, свершениях страны. Останется как высочайший образец гражданина, борца, человека, рожденного революцией. А для советской молодежи Михаил Иванович Калинин всегда будет добрым другом и мудрым наставником, примером безаветного служения Родине.



КНИГИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ И ПУТЕШЕСТВЕННИКАХ

Игорь
ЗАБЕЛИН

Если иметь в виду не отдельные книги и не особо любимых читателей авторов, а жанр в целом, то по популярности с книгами о путешествиях и путешественниках могут сравниться лишь научно-фантастические и приключенческие книги. Почему?.. Ответ напрашивается как бы сам собой: любознательность... Да, конечно, и любознательность. Но ответы, лежащие на поверхности, далеко не всегда полно отражают глубокие, невидимые течения, а мне хотелось бы поговорить о «литературе путешествий» всерьез. Я начал свой разговор с эпизода, который мне представляется символическим и который действительно произошел в глубине Африки 20 апреля 1961 года. И я прошу читателей обратить внимание на фотографию старика в пещере, сделанную мною в тот же день.

Еще затемно мы выехали из города Мопти, что стоит на берегу реки Нигер, и направились к хорошо известному африканцам уступу Бандиагара, — достигая высоты трехсот-четырёхсот метров, он круто обрывается к лежащей перед ним саванне. Хорошо известен этот уступ и этнографам — его населяют догоны, народ, который много столетий тому назад воспользовался уступом Бандиагара как крепостью и сумел освоить и заселить его. Позднее, в более спокойные времена, догоны расселились и по другим местам, но Бандиагара — сердце страны догонов, и образ жизни их мало отличается от того, который вели их предки тысячелетие назад.

Лишь незначительные детали говорили о том, что цивилизация коснулась и догонов. По дороге мы видели людей с луками и стрелами, с изогнутыми мечами, но вождь деревни вышел к нам с маленьким транзистором в руках. Кроме того, он немного говорил по-французски (раньше эта территория принадлежала Франции). Догоны были очень доброжелательны, они показали нам свои жилища, пустующий «дворец» царька-огоня (огон умер, а нового можно было избрать только после первого дождя, но был сухой сезон), позволили нам отдохнуть вместе с ними в пещерах, где они занимались прядением, плетением циновок... Во время одной из таких передач мы спросили вождя, видел ли он когда-нибудь русских.

— Нет, мсье, — ответил вождь равнодушно.
— Но вы что-нибудь знаете о Советском Союзе, о России?

— Нет, мсье.

Кому-то из нас пришло в голову подарить на память вождю значок с изображением искусственного спутника Земли — в тех условиях мысль весьма оригинальная, скажем прямо.

— Что такое — искусственный спутник? — спросил вождя.

Наш товарищ принялся растолковывать ему суть дела, но вождь явно не понимал его, и тогда наш товарищ, отчаявшись, сказал, что искусственный спутник — это такая штука, которая крутится вокруг Земли потому, что ее запустили люди...

— Ха! — резко выдохнул вождь. — Гагарин!

Не будь я сам тому свидетелем, я бы, наверное, с трудом поверил, что фамилия первого в мире космонавта была произнесена в пещерах догонов на восьмой день после его полета. Но невероятное случилось: крохотный полупроводниковый приемник — единственный в догонской деревне Санга — поймал имя, звучавшее в те дни на всех радиоволнах, и вождь запомнил его и теперь стал понимать, кто мы и откуда!

Так первый космический путешественник принял эстафету путешественников земных, так помог он установлению связи человека с человеком... И сделал он это, совершая ранее невиданное, небывалое, переступив порог невозможного.

А все сказанное в последних строчках имеет самое непосредственное отношение к литературе путешествий, к многовековому читательскому интересу к книгам о путешествиях и к книгам о путешественниках.

В поисках сути

Правоммерно ли по отношению к литературе путешествий понятие «жанр»? С некоторой долей условности, вероятно, правоммерно. Любопытно, однако, что сама тема путешествий пронизывала и пронизывает все основные литературные жанры — и прозу, и поэзию, и даже драматургию. Многовековые, срубленные из ливанского кедра корабли изображены на древнеегипетских фресках, и рядом с ними — невиданные в Египте животные. Пришло время, и наполненные ветром паруса появились на холстах европейских художников. Теперь, конечно, не обходится без путешествий и киноискусство: с помощью экрана или телеэкрана оно позволяет любому

из нас зримо присутствовать в самых отдаленных уголках планеты.

И еще одно довольно простое наблюдение. Сущность человека наиболее полно выражается в трудовой деятельности — едва ли кто-нибудь станет спорить с этим. Но не труду принадлежит первое место среди «вечных» тем устного или письменного творчества. Это несложно объяснить историческими причинами: не воспевать же свободным заливан труд рабов, а трубадурам — крепостных! (Хотя, замечу, былинный Миккула Сейянинович без малого тысячулетие пахнет землёю, да и воин-богатырь Илья Муромец не гулялся крестьянской работой.)

Певцы минувших тысячелетий и столетий отдавали явное предпочтение воинской доблести, любви и... путешествиям.

Что ж, с любовью, как вечной темой, все ясно. Да и с воинской доблестью — тоже: немирной, к сожалению, была человеческая история, и отгаданный воин заслонял пахирей-кормилец в глазах бардов.

Но путешествия?.. Вероятно, справедливо, что истоки европейской литературы — в поэмах Гомера. И разве не примечательно, что одна из них, «Илиада», посвящена преимущественно воинским делам, а другая, «Одиссея», — преимущественно путешествиям?

Как географ, я некоторое время интересовался проблемами страноведения и однажды задался о происхождении слова «страна». Обычно, всем известное слово. Но обратите внимание, какие слова стоят рядом с ним: стран'ность, стран'ное, стран'ствие, стран'ник; были стран'нопримцы — люди, принимавшие путешественников и запомнившие их рассказы; а с распространением грамотности появилась в нашем языке стран'ница (что там на следующей страничке?), а потом и упоминавшиеся стран'оведение... Случайные совпадения? Я просто не приемлю такие, с позволения сказать, объяснения, когда речь идет о глубинных проявлениях человеческого бытия, а тут мы как раз и встретились с таким проявлением.

«Страна» и «странное» — слова-родственники. «Страна» первоначально и обозначала странное, неизвестное, и лишь сравнительно недавно слово это распространилось на те родные места. Но странное всегда манило, интересовало, а если существует интерес, то всегда появляются и люди, его удовлетворяющие, — в данном случае «странники», а говоря современным языком, путешественники.

Значит, прежде всего все-таки любопытство?.. Любопытство свойственно и «меньшим братьям нашим», как называл животных мудрый английский философ Фрэнсис Бэкон за триста с лишним лет до наших дней. Интерес человека к другим странам, к другим народам — это проявление его глубинной общественной сущности, его изначальной коллективной природы; человек вне общества, вне контактов с другими людьми — как близким, так и далеким, — абстракция, не имеющая реального смысла, миф. В таком смысле интерес к другим странам, другим народам — это проявление далеко не всегда осознаваемой самим человеком своей связанности с миром живших и живущих...

Человеческие контакты... Если б они были извечно дружественными! Но было иначе, историю не подправши, и как-то горько сознавать, что и завоеватели с мечом и странники с посохом столь несопоставимо по-разному выражали неизбежность объединения всех племен и народов в единое человечество, неизбежность их коллективного бытия в будущем!

Конечно, не все путешественники были безгрешны, но если это были истинные путешественники, а не корыстолюбцы, то все-таки большинство из них шло

с пальнойовой ветвью, а не с кинжалом за пазухой, и не всегда они были виноваты, что проторенные ими мирные тропы заносились пылью «от шагающих сапогов».

Понятно поэтому и стремления некоторых современных авторов создавать облагороженные образы путешественников или мореплавателей, которым по условиям их времени приходилось держать руку в босой перчатке и, не раздумывая, обнимать меч... Мне вспоминается история с повестью безбрежно скончавшегося талантливого журналиста и писателя Владимира Травинского «Звезда мореплавателей», посвященной Магеллану. В рукописном варианте Магеллан был изображен у В. Травинского мечтателем, отправившимся в кругосветное плавание, чтобы создать на другом конце света республику, страну счастья и справедливости... Невеселое звание — развешивать столь благородный образ, но Магеллан не был и не мог быть таким мечтателем-фантасмом, и Травинский, не меняя своего по-человечески тепло отношения к первому кругосветному путешественнику, уточнил его образ, что пошло лишь на пользу книге («Молодая гвардия», 1959). Объективно экспедиция Магеллана служила, конечно же, установлению связей между народами, но создать страну справедливости путешественник мог только в мечтах, что и сделала современник Магеллана Томас Мор, совершивший «путешествие» на остров Утопия и положивший начало литературе утопического социализма, нередко использовавшей форму путевых очерков.

Когда они появились, путешественники!

В самом деле, когда?.. Вечное это занятие человека, как, например, труд, или приобретенное?.. Человек всегда перемещается в пространстве, иначе и быть не может, но не всякое перемещение — путешествие.

Если одним взглядом окинуть всю историю человека, то можно вполне отчетливо различить два разных по протяженности, но вполне реальных процесса. Первый из них — процесс расселения небольших людских групп из мест своего происхождения (скорее всего это была Восточная Африка) по всему земному шару, — процесс, который сопровождался «отталкиванием» племен от племен и, благо свободного места было много, позволяла людям заселить все пригодные для жизни материи и острова. Во всяком случае, Америка первый раз была «открыта» примерно за 30—40 тысяч лет до плаванья Колумба.

Второй процесс — процесс «собрания», процесс объединения некогда рассеявшихся племен. Он начался всего несколько тысячелетий назад и особенно усилился с появлением такой человеческой организации, как государство.

Период расселения исключал путешествия как форму взаимоотношений между людьми. Период собирания, государственной стабилизации больших людских масс в конкретных районах сделала путешествия практически нужными.

Но тут необходимо существенное уточнение. Кому-то, а Наполеону не занимать, стать было льстиво и при жизни и после смерти. Но мне не приходится читать, чтобы кто-нибудь назвал его путешественником. А ведь он побывал и в Азии и в Африке и закончил дни свои в Южном полушарии... В литературе (в том числе и в нашей) иногда распространяется легенда об Александре Македонском, как о жаждущем знаний молосом человеке, решившем

осмотреть и познать всю Ойкумену... Полноте! Был он гениальным военачальником, но путешественником он не был. Габерж — вот его профессиональный интерес.

А путешествие — занятие мирное. В самой основе его — надежда на добрую встречу, вера в доброту, человечность незнакомых людей, племен, народов. Не всегда эти надежды оправдывались, потому что инстинкты и темные социальные силы долгие тысячелетия затуманивали изначальное человеческое добро, но, не будь этого добра, невозможно было бы и коллективное существование (зло эксплуатировало эту человеческую сущность), невозможно было бы самопожертвование одного ради многих... И многое другое было бы невозможно — путешествия в том числе. Древнегреческий историк и географ Геродот не смог бы прийти в южнорусские степи, где тогда царили скифы, считавшиеся «дикими», но он многом обязан знаниям о ней... И твердой купец Афанасий Никитин не совершил бы в XV веке своего «Хождения за три моря» в Индию... И Н. Н. Миклухо-Маклай не рискнул бы один поселиться у папуасов Новой Гвинеи... И сын московского банкира Василий Васильевич Ойлер, который предпочел накопительству путешествия по Африке, не осмелился бы жить среди племен, считавшихся «людоедскими».

Так вот, в основе этой странной профессии — путешественник! — вера человека в человека. И не будем путать с путешественниками разных такс конкистадоров, грабителей и убивавших как раз тех, кто принимал их с доверием.

Книги путешественников — и названных только что и неназванных, — если они были настоящие путешественники, несут в себе не только сведения о странном, но и известие о вечном — о добре.

А появились путешественники тогда, когда разные государства убедились в невозможности существовать изолированно, в необходимости мирных — прежде всего торговых — контактов. Стало быть, путешественник — древняя, но не самая древняя человеческая профессия. Мы никогда не узнаем имени первого на Земле путешественника, и все-таки было в истории человечества и такое — первый путешественник, первое путешествие.

Нон плюс ультра

«Н» он плюс ультра» в переводе на русский означает «Не дальше», но почему эти слова вынесены в подзаголовок, станет ясно чуть позже.

Путешественники, как, впрочем, и другие смертные, порою награждались современниками или потомками чем-то вроде прозвищ. На страницах книг, посвященных землепроходцу Семену Дежневу, непременно встречается имя другого землепроходца — отчаянного купца Федота Алексеева по прозвищу Холюмогорец, — значит, был он из тех мест, откуда и Ломоносов вышел. В средние века жил-был монах Козьма. По каким-то причинам он совершил плавание в Индию, описал свое плавание и составил карту Земли, — древние греки гордели бы от стыда, глядя на это уродливое произведение, — но все-таки он по праву получил прозвище «Индикополов». А в прошлом веке наиболее известный своими разведками человек Петр Петрович Семенов по воле какой-то царствующей особы (действительно, не помню, какой) стал Семеновым-Тинь-Шанским, ибо первым из русских побывал в горах Тянь-Шаня, а книга его о путешествии буквально перевернула

представления западноевропейских ученых об этой стране. Значит, и справедливо и красиво получилось.

Но в истории географии известно и, казалось бы, совершенно несправедливое имя-прозвище, которое, однако, читатель обязательно встретит в любой книге, посвященной великим географическим открытиям. Звучит оно так: Генрих-Морепплаватель. С Генрихом все ясно, это имя португальского принца, жившего в XV веке... А вот «Морепплаватель»?.. Дело в том, что «морепплавателем» он стал лет через четыреста после своей кончины — так прозвали его географы прошлого столетия. Сам же Генрих никаких плаваний не совершал — он работал на мысе Сан-Висенте, крайней юго-западной оконечности Европы, и прямо перед ним лежал воистину необозримый Атлантический океан, — его дали и владели мыслями Генриха. Слово «работал» не очень сочетается в нашем сознании со словом «принц», но принц Генрих действительно работал. Португальские моряки не умели пользоваться навигационными картами и тем более составлять их. Генрих создал картографическое училище, и мореходы быстро овладели картографическим искусством. Генрих заботился о кораблестроении, и при нем старые, неуклюжие барки были заменены знаменитыми каравеллами, достигшими Америки, обогнувшими земной шар. Разумеется, все это принц Генрих делал неспроста: он мечтал, чтобы его каравеллы обогнули Африку и достигли Индии. И, разумеется, неспроста я рассказываю о принце Генрихе. Он повелевал своими капитанами на первый взгляд, странно: он не требовал, чтобы они немедленно прокладывали дорогу в Индию. Но он требовал, чтобы каждый капитан заходил на юг дальше, чем его предшественник. И постепенно создавалась и совершенствовалась карта. И совершенствовались корабли. Принц Генрих не дождался открытия морского пути в Индию, но его последователи, действуя так же, как он, добились своего.

Принц Генрих создал научный метод овладения пространством — постепенность в сочетании с совершенствованием инструментария и кораблей — вот в чем суть. Но ведь так работают и современные исследователи космического пространства... Все мы знаем, какая огромная подготовительная работа предшествовала первому кругосветному полету Гагарина и первому полету людей на Луну... И вот, оказывается, какие сокровищницы человеческого опыта таит в себе литература путешественников! И вот почему мы сегодня без всякой иронии воспринимаем прозвище принца Генриха — «Морепплаватель».

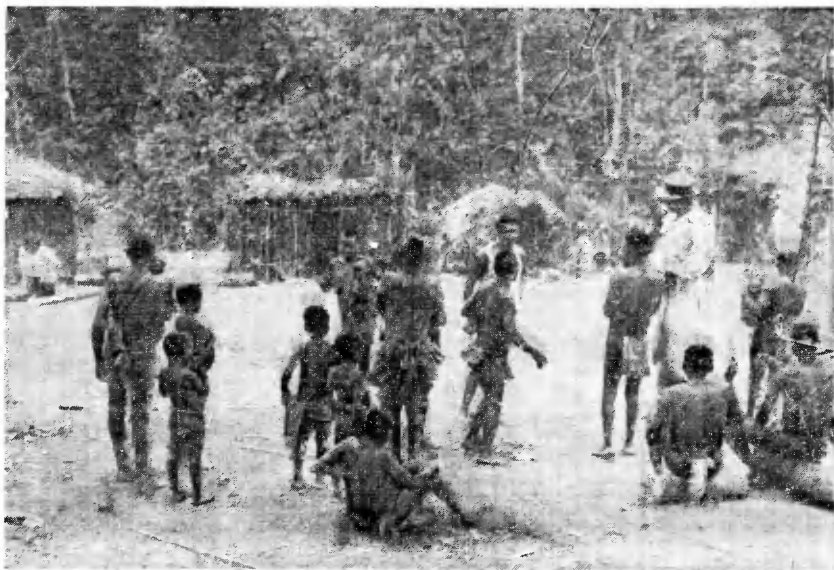
Но вернемся к словам, вынесенным в подзаголовок статьи.

«Нон плюс ультра» — это название мыса на западном побережье Африки. «Не дальше!» — задумайтесь в это название и представьте себе состояние морехода, приближающегося к этому мысу...

Самое невероятное, быть может, заключается в том, что нам, современным географам, неизвестно в точности местонахождение мыса со столь угрожающим названием. Знаем, что был. Знаем, что омывался волнами Атлантического океана, который некоторое время именовался «Португальским морем». Но где он в точности находился — бог весть! Человеческий ум, воля, отвага подвели каравеллы к мысу «Не дальше!» и увели их за него — дальше! — в неизвестные моря и страны. Мыс «Нон плюс ультра» был стержнем географической карты.

Дорого это стоило, конечно. Португальский поэт Фернанду Песоа, живший в первой половине нашего века, писал так:

Португальское море — горячая соль,
Наши слезы и горе — португальская боты
Сколько слез ты украло из глаз матерей,
Сколько синит в глубине твоей их сыновей...



Да, их много там спит. Так же, как в Ледовитом океане, Тихом, Индийском. Так же, как в Сибири, Африке, Америке...

Ни одно большое дело не обходится дешево человечеству, но каждое из них оставляет вечный след, каждое рушит преграды с запретительным знаком — «Не дальше!». И бесконечное количество примеров тому — в литературе путешествий.

Эффект преодоления

Внимательный читатель может обратить внимание, что в заключительных абзацах предыдущего раздела я вспоминаю слезы португальских матерей и ничего не пишу о слезах африканских женщин, — ведь экспедиции Генриха-Мореплавателя положили начало работорговле. Да, так было. За мореплавателями шли солдаты. Таково было время. И даже очень умные люди той эпохи воспевали подвиги мореплавателей-грабителей. Мечтания принца Генриха были осуществлены в конечном итоге Васко да Гамой — он завершил описание побережья Африки и с помощью арабов нашел дорогу в Индию. Первое плавание Васко да Гамы в Индию еще было первооткрывательским и с некоторыми натяжками может быть отнесено к путешествиям в том смысле, в каком трактуются они в этой статье. Второе плавание было откровенно грабительским.



На снимках: Африка. Деревня пигмеев; догмы в пещере.

Величайшая — после «Одиссеи» — поэма, посвященная путешествиям, — это поэма португальца Камоэнса «Лузиады», посвященная подвигам Васко да Гамы и мужеству португальского народа.

Мне довелось побывать во многих странах Африки, расположенных на Атлантическом побережье, — от Марокко до границ Анголы. Я сам слышал восторженные рассказы местных историков о местных вождях, впервые вступивших в контакт с европейцами, иначе говоря, занявшимися продажей своих соотечественников. Случай с Таманго, описанный Простером Мериам в одноименной повеле, — исключительный случай; работавший незачем было пленять местных вождей: они были нужнее им как поставщики рабов, без них не расцвела бы работоторговля.

Не знаю, насколько нужно это отступление. Вероятно, все-таки стоило сказать, что мною не забыты трагические стороны очень сложного историко-географического процесса.

А после этого «оправдания» я должен напомнить, что тема моя не история, а литература путешествий. Итак, мысленно «Ноя плюс ультра» стерт с географической карты!

Будь это событие по своему значению сугубо историко-научным, ему, очевидно, и не стоило бы придавать столь большое значение в статье о литературе путешествий. Но в том-то и дело, что оно поистине символично, в нем как бы запечатлена одна из удивительнейших особенностей литературы путешествий, которую я определил бы как «раскрепощение духа». Да, раскрепощение человеческого духа, и ни малейшей напыщенности нет в этом выражении, ибо свершенное одним — словно ударило силой других. Я поясню свою мысль всего лишь несколькими примерами.

Колумб. Всем известно, с каким трудом он пересек Атлантический океан, известно, что матросы бунтовали, требуя повернуть каравеллы обратно... Корабль Колумба не был, конечно, гигантским. Но управляли им умелые и относительно многочисленные экипажи. Мы справедливо оцениваем плавание Колумба как подвиг.

...А в наши дни регулярно проводятся спортивные «бега» на яхтах-одиночках (с одним человеком на борту) по маршруту Европа — Америка.

Магеллан — железная натура — едва одолев на редкость спокойный — Тихий! — океан во время своего путешествия. Его спутник, завершивший кругосветное плавание, баск Себастьян Эльканго погиб при попытке второй раз пересечь уже знакомый ему Великий океан.

...А сейчас моряки-одиночки на парусных яхтах соревнуются в скорости — кто быстрее обогнет земной шар, причем нередко без захода в какой-либо порт.

Несколько десятилетий альпинисты штурмовали высочайшую вершину мира — Эверест, и безуспешно. Но едва стало известно, что на нее взойшла новозеландец Хиллари и шерп Тенцинг, как следом за ними поднялся на Эверест швейцарец, американец, индус, японцы. А в этом году по разным маршрутам из Эверест поднялись две женщины — японка Ююка Табей и тибетка Фантог. Поразительно!

Поразительно в особенности потому, что во всех этих примерах и речи не может быть о торжестве техники. В практическом плане любому современному Чинчестеру было не легче, чем Магеллану.

Но и Колумб и Магеллан шли в неизвестность, на пути их стояли барьеры, казавшиеся непреодолимыми; они первыми доказывали, что самые неодолимые рубежи преодолимы, первыми смелыми предупредительный знак «Не дальше!».

А последователи их, как и последователи первоисходителей на Эверест, уже знали, что задуманное ими человеку по силам, и потому было им неизмеримо легче. Повторяю: не физически. Но литература путешествий, сообщая о свершенном, снимала психологические барьеры, раскрепощала дух, и потому она постоянно расширяла и расширяет возможности человеческой личности. Но разве только для путешествий важно устранение психологических барьеров!

И жалко, что литература путешествий не исследована с этой точки зрения ни литературоведами, ни психологами.

Ничто человеческое...

Д а, ничто человеческое не чуждо литературе путешествий, ни одна из «вечных» тем не миновала ее, да и не могла миновать.

В вооруженном мире не всегда можно было путешествовать безоружным, как делали это Геродот, фламанец Рубрук, — босиком, в рубище, явившийся зимою в ставку монгольского хана в Центральной Азии, — как Афанасий Никитин, Миклухо-Маклай... Поэтому и воинские доблести запечатлены в литературе путешествий... И товарищество, вплоть до самопожертвования. И великий труд...

И любовь, конечно. По-моему, это недоразумение, что до сих пор не сложены поэмы о Василии и Марии Провинцевых, участниках Великой северной экспедиции, погибших у берегов Таймыра в 1736 году; о Григории и Александре Потаниных, совершивших несколько путешествий по Центральной Азии (из последнего совместного путешествия Александра Викторовича не вернулось); о полярном исследователе Владимире Русанове и его молоденькой супруге, парижской студентке Жюльетте Жан, разделившей с ним его трагическую судьбу; об Иване и Марфе Черских — из их экспедиции на Колыму не вернулась Ивана Деметривна...

О Черских я скажу несколько слов особо, потому что литература путешествий — это летопись подвигов и своеобразной преемственности в подвигах: такая преемственность была, например, в путешествиях Пржевальского и его последователей. Но на Колыме» взяла старт эстафета, почти неправдоподобная по стечению обстоятельств и совпадению судеб. Впрочем, судите сами.

И. Д. Черский, будучи совсем юным человеком, принял участие в польском восстании против царского самодержавия; после подавления восстания его сослали в Сибирь, а в Сибири он очень быстро проявил себя как талантливый исследователь. По ходатайству Семенова-Тянь-Шанского, который к тому времени стал важной особой, сенатором, И. Д. Черского амнистировали, и Русское географическое общество поручило ему исследование бассейна реки Колымы. И. Д. Черский тогда уже был серьезно болен туберкулезом, но незамедлительно отправился из Петербурга почти на другой край света вместе с Марфой Павловной. Смерть стала наступать его, когда он приближался к устью Колымы. Он отказался прервать путешествие. Когда он уже не мог писать — за него вела в путевом дневнике записи Марфа Павловна. Он и умер у нее на руках, не достигнув своей цели — устья Колымы.

Устье Колымы было исследовано спустя некоторые время Георгием Седовым. Он исполнил то, к чему стремился Черский. А еще несколько лет спустя, уже больший, как и Черский, и тоже знавший, что погибнет, Георгий Седов отправился к Северному полюсу. И погиб. Погиб, повторил подвиг Черского...

Когда экспедиционное судно Седова «Св. Фока» готовилось покинуть арктические берега, к месту стоянки его пришли два человека — члены экипажа полярной экспедиции Г. А. Брусилова на шхуне «Св. Анна». Через два года после Седова Брусилов тоже побывал в устье Колымы, — привел туда свое судно из Владивостока. А потом предпринял новое путешествие, но шхуну затерло во льдах и понесло на запад. Вот тогда те два человека, что пришли на стоянку судна Седова, и решили спастись самостоятельно — в сопровождении еще нескольких человек они покинули «Св. Анну» и пошли на юг. В той группе, которая покинула шхуну, было лишь два здоровых человека — штурман Альбанов и матрос Конрад. Они и объединились, предоставив больных своей собственной судьбе. Только они вдвоем и спаслись. Все остальные участники экспедиции погибли. В 1917 году Альбанов опубликовал книгу «На юг, к Земле Франца-Иосифа». Уже в послевоенные годы она была переиздана под названием «Подвиг штурмана В. И. Альбанова». Как вы думаете, следовало ли ее так называть — «Подвиг»?..

Много сложных вопросов стоит перед читателями литература путешествий — всех и не перечислишь, конечно.

Мы, современные люди, независимо от профессии живем под лозунгом, рожденным в таежных лесах дикой истории нашей страны: «Никто не забыт, ничто не забыто». И хотя этот лозунг имеет точный адрес, обращен к пережитой войне, он с полным правом может быть отнесен и к литературе путешествий, к ее исторической ветви. В буквальном смысле слова тысячи имен как отечественных, так и зарубежных путешественников ввели в обиход современного читателя книги историков географии И. П. Магидовича, Я. М. Света, А. И. Алексеева, М. И. Белова, писателя Сергея Маркова — вспомним его последнюю по времени книгу «Вечные следы» (1973).

Особенно следует подчеркнуть, что нравственный подход к оценке историко-географических событий в наши дни становится почти непрерывным даже в строго научных работах. Примером тому может служить книга Д. М. Лебедева и В. А. Есакова «Русские географические открытия и исследования» («Мысль», 1971).

А начало вот такой — по существу, а не по числу — традиции оценки географических событий положил в русской литературе М. В. Ломоносов. Анализируя результаты работ Великой северной экспедиции, он особо подчеркивал, что «главным» в этой экспедиции был не ее начальник Витус Беринг, а его помощник Алексей Чириков. И это на самом деле было так, но вся посмертная слава досталась Берингу — его именем названы море, пролив, остров, поселок, район, — а Чириков вообще мало кому известен... Так что в жизни действуют не только традиции, намеченные гениальными людьми. (В журнальной статье невозможно проанализировать сколько-нибудь подробно «проблему Беринга», и я позволю себе отослать читателей к своей книге «Встречи, которых не было» (1966), — там помещен большой историко-публицистический очерк «Берега несправедливости», посвященный, в частности, и этой теме.)

Есть в нашей литературе путешествий еще один спорный вопрос, тоже глубоко нравственного характера и тоже связанный с памятью человека, заслуги которого были приписаны другому. Речь идет о первооткрывателе пролива между Азией и Америкой, который носит имя Беринга.

В 1973 году была переиздана книга «Подвиг Семена Дежнева», написанная М. И. Беловым, человеком, в общем, неплохо знающим историю русских географических открытий, но явно чуждым ломоносовской традиции в литературе путешествий.

Суть же дела в том, что Семен Дежнев самозащитно никакого подвига не совершал и никогда себе этого не приписывал. Он был лишь участником предприятия, которое действительно может быть охарактеризовано как подвиг, — предприятия, начатого и совершенного Федотом Алексеевым, по прозвищу «Холомогорец». Именно этот Холомогорец был организатором и руководителем отчаянно смелой экспедиции, которая и прошла впервые проливом между Азией и Америкой. Но Холомогорец из экспедиции не вернулся — погиб, а Дежнев остался жив и в нескольких «отписках» сообщил о плавании. Не очень задумавшиеся о нравственной стороне дела историки и приписали ему все заслуги. Сейчас, пожалуй, один М. И. Белов по трудно объяснимой причине продолжает настаивать на неверной точке зрения. В специальной же литературе в конце концов одержала верх ломоносовская традиция (в частности, это видно и по книге Д. М. Лебедева и В. А. Есакова), и тут несомненно вспоминается история первого кругосветного плавания: Магеллан погиб, и описание путешествия дал его спутник Пигафетта, но никто не называет его на этом основании первым кругосветным путешественником.

...Нельзя, рассказывая о литературе путешествий, не привести хотя бы одного примера взаимовыручки, товарищества. Я действительно ограничусь одним примером. Когда при попытке перелететь из Европы в Америку потерпел катастрофу дирижабль «Италия», на помощь его экипажу пришли советские люди на ледаколе «Красин», — совсем недавно этот исторический эпизод был воспроизведен в фильме «Красная пахта».

И нельзя не сказать о человеческой смелке, порою граничащей с тем, что в просторечье именуют «безумием». В конце прошлого века почти одновременно с Норвегией и Россией возникла идея — в Америку потерпеть катастрофу дирижабль «Италия», на помощь его экипажу пришли советские люди на ледаколе «Красин», — совсем недавно этот исторический эпизод был воспроизведен в фильме «Красная пахта».

И нельзя не сказать о человеческой смелке, порою граничащей с тем, что в просторечье именуют «безумием». В конце прошлого века почти одновременно с Норвегией и Россией возникла идея — в Америку потерпеть катастрофу дирижабль «Италия», на помощь его экипажу пришли советские люди на ледаколе «Красин», — совсем недавно этот исторический эпизод был воспроизведен в фильме «Красная пахта».

Первым ледаколом был «Ермак» — не очень уж могучий корабль, который С. О. Макаров водел в полярные моря. А совсем недавно вступил в строй советский атомный ледакол-гигант «Арктика», которому никакой лед не страшен, — вероятно, он может, если потребуется, пробиться и к полюсу.

Вообще мысль использовать океанские течения для облегчения путешествий — очень давняя мысль. После открытия Америки использовали, например, течение, идущее от берегов Африки к Новому Свету. Плавание эти казались капитанам парусников настолько легкими, что они прозвали этот участок Атлантического океана «дамской дорогой». Недавно этой «дорогой» воспользовался экипаж папирусного судна «Ра». А еще раньше состоялось блистательное плавание через Тихий океан на плоту «Кон-Тики», задуманное и осуществленное, как и плавание на «Ра», Туром Хейердалом. Его плот заслуженно помещен в музей рядом с «Фрамом» Ф. Нансена.

ЭПИЛОГ

Спилюги как будто не приняты в литературных статьях. Но я позволю себе эту вольность по причине, которая мне представляется уважительной: я до сих пор не сказал о самом главном географическом открытии, о той роли, которую сыграла в этом открытии литература путешествий.

Об открытии этом, как ни странно, обычно не пишут в географических книгах, но оно действительно состоялось, и я определяю его словами, сказанными в середине прошлого века выдающимся немецким путешественником Александром Гумбольдтом: страствуя по земному шару, путешественники открыли, что человечество — «это одно великое братское племя», «единое целое, существующее для достижения одной цели (свободного развития внутренней духовной силы)», и это «воззрение именно всеобщностью своего направления прямо составляет то, что возвышает и одухотворяет космическую жизнь».

Слова эти взяты мною из самого знаменитого сочинения А. Гумбольдта — «Космос». Именно этот пятитомный труд вернул людям древнегреческое слово «космос» и утвердил его современное значение; в нем Гумбольдт одним из первых заговорил о жизни как космическом явлении и увидел возвышенность и одухотворенность ее в единстве и свободном развитии (раскрепощении!) духа... Конечно же, Гумбольдт знал, как сложно и противоречиво все в мире. Он пережил варварские наполеоновские войны и даже выступал в роли дипломата с мирными предложениями. Он обратился с письмом-протестом к президенту Мексики, требуя защиты индейцев от произвола колонистов. Он резко осуждал рабовладельческие порядки на Кубе и, правда, более мягко, в письмах, осуждал крепостничество в России. Его слова о человечестве, как «братском племени», конечно же, не отражали реальной ситуации. Они — как бы проникновение в суть такого явления, как человечество, и они — как бы взгляд в неблизкое будущее, которое в последние годы жизни А. Гумбольдта уже было определено и провозглашено «Манифестом Коммунистической партии».

В молодости А. Гумбольдт прославился путешествиями по Южной и Центральной Америке — их даже называли «вторым открытием Америки».

Понималось, что первое совершил Колумб. Следом за Колумбом пришли завоеватели и воинственные переселенцы, и тут ничего не изменилось. И все-таки не будем забывать, что Колумб положил начало регулярным связям между народами разных континентов.

Гумбольдт проплыл и прошел несколько тысяч километров по самым глухим районам Америки вдвоем с товарищем, французским ботаником Э. Бонплапом. Их крохотный «интернациональный» отряд ни разу не подвергся нападению со стороны местных жителей, наоборот, им помогали даже могли. Американские дороги вернула А. Гумбольдта в Европу, а

европейские — привел в Россию: он совершил большое путешествие и по нашей стране, вплоть до ее южных пределов, и, разумеется, всюду его встречали по-дружески. И, конечно же, не случайно написал Гумбольдт в конце своей долгой девяностолетней жизни о «великом братском племени» — человечестве.

Полет первого космонавта Юрия Гагарина не только отшвырнул в бесконечность пресловутое «Не дальше!», но и как бы протянул реальные нити понимания, доверия между всеми народами Земли.

Литература путешествий на протяжении веков протягивала и укрепляла эти нити. Она целеустремленнее, прямолинейнее, чем какой-либо иной жанр литературы или искусства, формировала у людей представление о человечестве как целом, о его братской единой сущности. А воплощалось это, в частности, и в экспедиционной практике. Первая зимовка в Антарктиде была осуществлена англо-норвежской экспедицией. В экспедиции Амундсена к Южному полюсу принимал участие русский океанограф А. Кучин, а в трагической экспедиции Р. Скотта было даже четверо русских каяров. Ныне Антарктида — материк коллективного интернационального подвига.

Становится делом всего человечества, несмотря на существующие политические разногласия, и освоение космоса.

И когда на околоземной орбите встретились космические корабли, впервые в истории посланные в совместный полет Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, то в той дружеской атмосфере, в которой этот полет протекал, были и частицы тепла, накопленные и сбереженные для человечества литературой путешествий.



О. САВОСТЮК, Б. УСПЕНСКИЙ.

Первый снег.

М. ЧЕРЕМНЫХ.
1890—1962
Рисунки
для окон РОСТА
(1920 г.)



К 25-летию мастерской плаката
Московского художественного института имени В. И. Сурикова.



И. ОВАСАПО
Плакат



А. АХАЛЬЦЕВ.

Мост через Обь.



В. СМЕРНОВ.

Утро (автолитография).



ЛЮДИ СЕГОДНЯШНЕЙ СИБИРИ

Всякий день поезда и самолеты, пересекающие Урал, везут сотни людей, которые впервые увидят Сибирь, разве известную им только по книгам и кинофильмам,

самую бурно растущую и быстро изменяющуюся часть нашей страны. Но каждый из тех, кто придет сюда жить и работать, проведет ли он здесь несколько лет или останется на всю жизнь, — внесет свой штрих в облик завтрашней Сибири...

Пожалуй, прежде всего к этим людям обра-

щена книга Владимира Шорра «Берег родному берегу», вышедшая в серии «Черты сегодняшней Сибири» (Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1974).

«О поколениях судят по героям, которые к нему принадлежат», — эти строки Олега Дмитриева мог бы поставить эпиграфом к своей книге В. Шорра, ибо рассказывает он не о стройках, а о строителях. И хотя персонажи книги в основном — строители Иркутской гидростанции, в их еженедельном трудовом бытии, в их чаяниях и раздумьях отразились труд, мысли и надежды людей, работавших и на других новостройках. Это поколение, сделавшее Сибирь такой, какова она сегодня.

В том, как сибиряки жили и работали, а не только в объемах продукции и иных цифрах созданного ими, — живой пример молодых строителям текущего дня, той же Байкало-Амурской магистрали. Пример этот не в технических приемах одной из героинь книги, бетонщицы Анны Москаленко — ее рекорды наверняка уже перекрыты, — но в том ощущении счастья, с которым она проживает каждый свой рабочий день («перекрыть» это ощущение невозможно). Или бригадир скалолазов Владимир Сухомлинов, о котором идет речь в одном из очерков, являет собой яркий пример того, что в труде заключена важнейшая возможность роста и совершенствования человеческой личности...

Пользоем начинание — эта серия «Черты сегодняшней Сибири», хороший вклад в нее — книга В. Шорра.

Ю. ЛЯХОВ

СВОЯ ТЕМА

Небольшая книжка Игоря Дуэля («Берег и море», Владивосток, 1975) посвящена одному из рыболовческих хозяйств Приморья. Внешним толчком к ее созданию послужило путешествие автора в составе выездной редакции «Нового мира» в дальний колхоз, носивший то же название, что и сам журнал.

И. Дуэлю доводилось и до этого бывать на

Дальнем Востоке. Он ходил за Сибирь на сейнере во время путинных матросом, успев тем самым на практике познать нелегкий рыбацкий труд. У него имелось определенное «предрасположение» к тому кругу проблем, с которыми столкнулся, оказавшись в артели «Новый мир».

Свой рассказ автор ведет живо, непринужденно, избегая шаблонов, применявшихся очерковыми «ходоками». Он будто нарочито избрал явно неудачный рейс, когда сейнер «Альбатрос», вырвавшись из порта профессионалов, долго и безуспешно «дергал пустыря».

Оказывается, при основном знании дела (автору явно пригодилась его прежняя рыбацкая практика) и такое плавание не помеха. Наблюдая за тем, каким молодцом показал себя капитан «Альбатроса», сколько проявил выдержки, собранности, природного таланта моряка в этом явно незнакомом рейсе, понимаешь, что недаром управление колхоза доверило ему одно из судов своей немногочисленной рыболовной флотилии.

И. Дуэль не просто стремится познакомиться с жизнью обитателей поселка, необычного даже для довольно пестрого по своему национальному составу Приморья (здесь живут представители девятнадцати национальностей). Он затрагивает и ряд местных экономических, хозяйственных проблем. При всем том жизнь рыбацкой артели показана не в изоляции от остального Приморья, а плотно вписана в более широкую панораму края.

Вот почему, читая одну из лучших глав книги «Три четверти века», где рыбаки-ветераны, перебивая и дополняя друг друга, воспроизводят перед очеркистом картины трудового обихода и жизни этих суровых берегов, борьбы с интервентами в годы гражданской войны, испытываешь ощущение, будто перед тобой оживает история края. А сами эти старики, увлеченные сединами, но все еще крепкие, сохранившие былую силу в жилистых рыбацких руках, невольно заставляют вспомнить авторские слова об утвердившихся здесь, на тихоокеанских берегах, деревьях, которые не просто выросли — выстояли наперекор наводнениям, ласпам, ураганам...

С. ЛЯХОВ

СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЫШКИ

Внакомая многим реплика: «Вырастешь — мешу!» — так часто отвечаем мы на бесконечные ребячьи «почему». И не задумываясь, что дело обстоит не так: наоборот, ребенок не может «вырасти» до тех пор, пока не поймет, откуда не получат исчерпывающих ответов на все свои вопросы. «Нам не надо или не доверим молодости. Но мы словно забываем, что вся история человечества состоит из загадок и отгадок», — делится тревогой писатель Юрий Дружников в своей книге «Спрашивайте, малышки» («Московский рабочий», 1974).

Видимо, каждый обращал внимание, с каким интересом ребята слушают передачи для взрослых по радио и телевизору. Запоминают факты, примеры, делают выводы, сравнивают с тем, как воспитывают их самих. Что привлекает их в этих передачах? Может, желают понять, что же в конце концов хотят от них эти взрослые, да понять: взрослые? Возникает прямо-таки популяристская ситуация: взрослых контактов двух космических миров: мира взрослых и мира детей. Или, может, им так куда проще — ребята пытаются приглядеться к себе со стороны? Какие же мы с точки зрения взрослых? Что они о нас думаешь?

И что знает, кому больше необходимы эти передачи? К кому же не будем забывать, что наши дети — в будущем воспитатели наших внуков. И тогда согласимся с мнением Юрия Дружникова: «Разумно ли искать секреты из педагогики? Не лучше ли наоборот: открыто объяснить, особенно старшим, почему надо поступать так, а не иначе, какие это повлечет за собой последствия».

«Почетный» манси-малыш сейчас, а совсем не после, хотя он и не любит отвечать на вопросы, над разрешением которых тысячелетиями человечество думало. И, конечно, просвещеннейшие умы человечества. Всегда ли мы представляем интересы наших ребят? Что их волнует? О чем они спорят? В чем сомневаются? На какие вопросы стремятся получить ответ?

Проведя в одной из школ немудреный эксперимент, Юрий Дружников стал обладателем 614 вопросов, заданных старшеклассниками. Тут

были вопросы и космические: «Почему звезды собираются в галактики, а не блуждают поодиночке?», «Судьба земной жизни?», «Есть ли у бегемотов хвост, и какой длины?». Очень серьезные: «Сейчас пишут о громадном потоке информации. Посовещайтесь, пожалуйста, как в нем не утонуть, как найти границы, что нужно и что не нужно. Есть ли выход?». И весьма проинформированные: «Человек скоро сможет преодолевать перегрузки, возникающие при полете со скоростью света. А как быть с перегрузками школьниками?». Спорящие с родителями: «Моя палла — начальничек». Он говорит, что работать с 8-летней лучше, чем с 10-летней, потому что у нее не уберут в институт. Правильно ли это?». Вопросы по науке, технике, политике, праву, морали, искусству, спорту. Каждый четвертый задавал вопрос, на который условно обозначить: «Кем быть?». Шесть сотен записок. Спрашивали малышки, почему плачут девочки. Были записки сумбурные, но ни одной глупой. Сердитых — ни одной. Довольных — много. Были неграмотные, но ни одной нетактичной. Строгие, но ни одной жестокой. Почему? Да потому, что наши дети гораздо чище, чем некоторые подчас о них думают.

Юрий Дружников заставляет задуматься не только над самим ответом, но и над причинами вопросов, чтобы понять, обнаружить наши, старших, упущения. Он использует вопросы для совместного поиска истины и делает вывод, что такие встречи «отвечаем на любой вопрос» очень нужны и ребятам и учителям. Первым, чтобы поспорить, высказываешь о том, что тебе волнует, о чем ты думаешь, но просто спросить иногда невольно. Вторым, чтобы держать руку на пульсе, знать, что волнует твоих воспитанников.

А. Л. РАЗУМИХИН

ПОЭТ ИЗ ДИВНОГОРСКА

Вгороде Дивногорском, на Крайнем Севере края, всего один член Союза писателей — это Владимир Белкин. Десять лет он строил этот прекрасный город на скалистом берегу Енисея. Он одолевает трудные работы, которую все еще является самой большой в мире. Длинная дорога, лесорубом, плотником, маневником и долгие вечера и ночи за пишущей машинкой. Это биогра-

фия, это судьба. Пожалуй, можно было устроиться в газету, но, по словам самого Белкина, он «человек нетерпеливый и чувствовал бы себя не в своей тарелке. Да и тание, например, стихи надо иметь право написать».

Мы лес валили, крыши крыли и воевали с мошаркой, а выходило, вроде бы были творцы истории живой...

Как и многие нынешние Сибиряки, Владимир Белкин приехал в Красноярский край человеком зрелым. Поэтому он знает, как трудно бывает человеку, корнями своими в необжитую, недавно еще дикую землю. Своему другу из Смоленска он посвящает такое стихотворение: «Какой невольничкой: с одной стороны ты смотришь на лыльное поле и паутинки на терне. А здесь на ней, на паутине, и лог, жарками ослепленный, восторженно и — отчужденно — душа притихшая глядит».

К одному из стихотворений книги Белкин взял заглавие строки Сергея Дрофенко: «Только честность — надежная сила на изломе великих времён». И потому, если не случайны у Белкина такие строки:

Все обиды и печали,
что по злой моей
неповинности
вне
огорчали,
оссадали и во мне.

И когда постыдный
счет
строга совесть
предъявляла,
зря беспечность
общая:

Сколько жерновов
столчился,
Выюг отлегло, гроз
дрожало!

Ничего не позабылось.
Только глубже
проросло.

Да, «честность — надежная сила» поэзии, и лауреат премии Красноярского комсомола Владимир Белкин это знает.

Вадим КОВАДА

ПОЗИЦИЯ КРИТИКА

Духовное, нравственное, общественное — это не социальные явления — вот так ось, вокруг которой строятся замыслы Ф. Кузнецова о литературе и современной действительности («За все в ответе. Нравственные

искания в современной прозе», М. Советский писатель», 1975). Впрочем, не только в современной. Разговор о таких понятиях, как идея, нравственность, героизм, опирается на богатства наследия общечеловеческой и художественной мысли.

Открыты, заявлены о себе принципы, привнесены принципы «реальной критики», Ф. Кузнецов эти принципы руково-водителем, и в материальном утверждении непрерывности героических, революционных традиций в жизни советского общества, и в определении социальных корней междоусобицы, и в материальном толковании духовности. Критик сосредоточен на решении и таких существенных проблем, как историзм современной прозы, народное и национальное, общественное и классовое. Ф. Кузнецов не отделяет, не разграничивает друг от друга социологический, эстетический критерии (хотя очевидно, большая привлекательность Кузнецова общественно-философской проблематикой, нежели вопросам художественной поэтики). Особенно показательна в этом отношении глава «Судьбы деревни в прозе и критике». Проблема остро и темпераментно. Автор анализирует тот пласт современной литературы, вокруг которого долгие годы кипели (и продолжают кипеть) споры. Произведения деревенской прозы» Ф. Кузнецов рассматривает и в других главах, неизменно подчеркивая при этом весомый заряд социальных идей, которые содержат в себе эти книги. «Вера в романов Федора Абрамова не просто крестьянская, но и колхозная, именно так и толково так мыслят они себя». Это разграничение говорит и о позиции критика. Не поиск абстрактных моральных ценностей (нак истолковывали некоторые «деревенские прозу»), но конкретно-исторический ее анализ.

Полемичность не отменяет качества творческого почерка Феликса Кузнецова. Сборник, собранный под его редакцией, статьи, которые печатались в периодике,

его наблюдения, выводы, утратив привязанность к конкретным фактам литературного развития, не утратили при этом актуальности. А это, согласитесь, для критика — достояние немаловажное.

Валерий ГЕИДЕКО

А. В. Луначарский:

«Бороться,

творить...

ВСЮ

ЖИЗНЬ»



«Из твоих писем я вывожу заключение, что в тебе все время происходит сильнейшее брожение. В твои годы я такого в себе не запоминаю, но это чистый плюс для тебя. Волноваться, бороться, творить и сомневаться хорошо всю жизнь, но особенно в молодости». Это отрывок из письма Анатолия Васильевича Луначарского сыну — тоже Анатолию и тоже литератору. Кстати сказать, Анатолий Луначарский сыночку и выполнил все наказы отца: боролся, творил... Погиб он на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Хорошим наставником и добрым другом Луначарский был не только для своего сына, но и для всей советской молодежи, которую горячо любил, ценил ее увлеченность и энтузиазм. Он знал, что такое о молодежи, как о смене старшему поколению, старался, чтобы эта смена выросла здоровой, сильной, умной. Он знал, что быть наставником и другом молодого поколения строителей социализма не просто. Но он имел на это моральное право, ибо прошел большой и трудный путь профессионального революционера, государственного деятеля. Как и многие борцы за счастье народа, он проходил школу жизни, свой университет в царских тюрьмах, в ссылке. И везде не покладая рук он готовил себя к борьбе, занимался самообразованием, много читал, изучал иностранные языки.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции А. В. Луначарский в тече-

ние двенадцати лет руководил Наркомпросом, ведавшим тогда всеми вопросами советской культуры: народным образованием, высшей школой, музыкальным и изобразительным искусством, кинематографией, театром, эстрадой и цирковым искусством, изданием книг.

Его необыкновенной эрудиции завидовали все. Он знал шесть европейских языков и свободно говорил на них. И недаром шла молва, что Луначарский — самый образованный министр просвещения во всей Европе.

Много внимания Анатолий Васильевич уделял воспитанию молодых строителей социализма. Всей душой, всем сердцем он был с комсомолом, с молодежью.

В трудные годы разрухи и голода Луначарский в лекциях и докладах убежденно и ярко говорил о будущей счастливой жизни. Говорил так увлекательно, что молодежь забывала о недоедании, о нехватке учебников и бумаг, стремясь все свои силы и знания отдать строительству этой новой жизни.

В докладах «Ленин и молодежь», «Искусство и молодежь», «Новый человек», «О быте и многих, многих других Анатолий Васильевич Луначарский пропагандировал ленинские взгляды на комсомол как на ближайшего помощника и преемника дел Коммунистической партии. Его речи, лекции и статьи были направлены на воспитание такого подрастающего поколения, в руки которого можно смело передать эстафету

строительства социализма. При этом Луначарский подчеркивал, что вся воспитательная работа должна эффективно воздействовать на молодежь, захватывать ее, волновать, изменять строй ее чувств и мыслей, поднимать на борьбу за победу дела партии.

Нарком просвещения делал все возможное, чтобы образцово наладить общее образование в школе и специальное в техникумах и вузах. При его непосредственном участии была разработана целый комплекс мероприятий по созданию единой трудовой политтехнической школы.

Для воспитания всесторонне развитой молодежи Луначарский наряду с другими мерами рекомендовал: сделать театр по-настоящему надейным и приблизить его к массам, широко использовать художественные и документальные фильмы, сделать клуб доступным и привлекательным для юношей и девушек, развернуть массовую физкультурную работу.

Много внимания уделял Анатолий Васильевич вопросам быта молодежи, культурного облика комсомольцев. Он смело выступал и по таким проблемам, как мораль, любовь, дружба, семейные отношения.

В своих лекциях и речах он охотно отвечал на вопросы, волновавшие молодое поколение Страны Советов, не обходя острых углов, проявляя находчивость и остроумие. Вот один из примеров. Как-то во время своего выступления он получил записку: «Скажите, что такое любовь?»

Анатолий Васильевич улыбнулся и ответил: «Если эту записку прислала мне очень молодой человек, он, несомненно, еще узнает сам, что такое любовь. Если это написал человек пожилой, моих лет, он, как мне кажется, все-таки еще должен помнить, что такое любовь. А вот, если об этом спрашивает человек среднего возраста, мне его просто от души жаль».

Сейчас, когда отмечается 100-летие со дня рождения А. В. Луначарского, можно смело сказать, что добрые зерна, посеянные им, дали прекрасные всходы: советская молодежь благодаря повседневной заботе партии растет просвещенной, энергичной, боевой. И среди тех, кого она всегда помнит и чтит, — Анатолий Васильевич Луначарский.

Николай ПИЯШЕВ



ВСТРЕЧИ

Владимир
ОГНЕВ

ИЗ ЧЕРНОГОРСКИХ ЗАМЕТОК

Фото автора.

Когда мы говорим об интернациональном воспитании советского молодого человека, мы вкладываем в эти слова многое: и уважение к революционным традициям братских стран, и знание исторических связей нашего государства с народами других земель в прошлом, и действенную дружбу и взаимопомощь в настоящем. В этом номере «Юности» мы публикуем заметки Владимира Огнева, в которых нашли отражение и легендарная русско-черногорская дружба, насчитывающая несколько веков, и современные общие проблемы — борьбы за мир, против фашизма, в защиту общих идеалов — прогресса, строительства коммунизма.

1. Чем различаются воспоминания о войне бывшего начальника генштаба итальянской армии Уго Кавальери и моего друга, партизана Ивановича. И почему в одной песне славятся Пеко Дапчевич и маршал Тимошенко, а в Которском морском музее хранятся «зачетки» русских учеников XVIII века — Куракина, Голицына и других детей дворянских и боярских...

Хозяин «пежо» — Иванович (он так и представляется), полный мужчина с усиками, здоровается за руку и заверяет, что везти русского в Цетинье, Древнюю столицу Черногории, для него большая честь. Мирю Джурович, поэт и добровольный гид, укладывает чемодан в багажник и говорит мне:

— Поехали, как сказал Гагарин! — и смеется. Тронулись. Первые же реплики моих попутчиков — и оказывается: они почти знают друг друга. На следующих десяти километрах устанавливаются общие знакомые. Дорога забирает вверх. Выясняется еще одна подробность: наш Иванович не более не менее — чемпион Черногории по авторалли.

Запевает. Мирю подтягивает ему красивым тенором. Потом оба ругают черногорские песни.

— Мы не музыкальный народ. Это все чужие песни. Первая — македонская, вторая — сербская.

Но и это говорится с гордостью.

Я дышу полной грудью — какой воздух! Пахнет каким-то особым настоем трав. Дорога петляет, медленно набирая высоту между громадных скал, сужается, входит в подобие скалистого коридора, за ним резко тормозим — впереди идущая машина сигнализирует притормаживает. Едем в один ряд. Справа возникает корчма. Обращаю внимание на название — «Царев лаз». И фамилия владельца.

...Корчма полна народу. Садимся за единственный свободный столик. Рядом большая компания черногорцев. Они кончили пить и сейчас хватают друг друга за руки и страшно кричат.

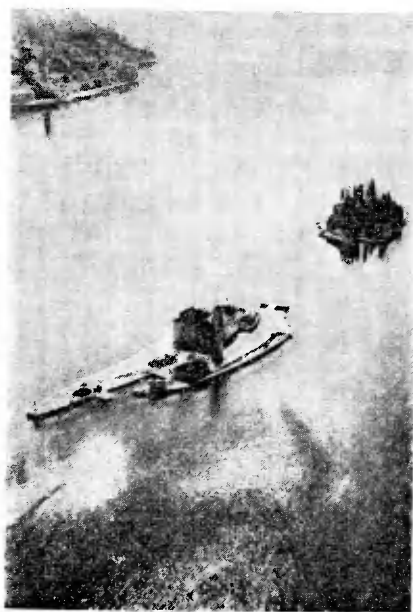
— Ничего, — улыбается Мирю, — это так надо. Черногорец не даст заплатить другому. Так они могут кричать часами. Девушка дважды подходила к столу, но борьба за право заплатить только нарастала с новой силой.

Девушка уходит за перегородку. Кто-то включает большой телевизор. Замолкают даже претенденты на оплату общего счета. Включается Мюнхен. Олимпиада.

Мы потягиваем пиво, Иванович — кофе. Прежде чем жалить, он делает медной турочкой круговые движения, как колдует. Как вертит баранку. Оказывается, так и надо пить по-черногорски. Густь остается на стенках.

На экране женский бег. Мелькают ноги. Нарастает волнение в корчме. Подходит девушка со счетом. Снова вспышка короткой борьбы за престиж. Дрожат руки — сильные, закатанные до локтя, волосатые, напряженные, с сжатыми бумажками... А глаза — в телевизионный экран. Девушка пытается проявить инициативу и просто отнять у ближнего к ней парня деньги, он и сам рад бы разжать кулак, да братья по трапезе не дают. Девушка уходит ни с чем.

Фрагменты из книги «Югославский дневник», которая выходит в издательстве «Советский писатель», Журнальный вариант.



Ближе всех к телевизору сидит старик с седыми усами. Он так комментирует появление на экране нашей русской могучей метательницы ядра:

— Какой же муж у нее?

Старик явно растерян. Качает головой. Ему, черногорцу, никак нельзя представить, что муж может оказаться поменьше, чем «эта сильная баба» с тяжелым ядром. Мир рухнет, и нельзя угадать, откуда придет беда...

К немецким спортсменам отношение такое же благожелательное.

Спрашиваю Мирю: осталось ли в народе чувство мести? Нет, говорит он. И не потому, что черногорцы отходчивы. А потому, что новые поколения да и он сам (новое поколение — и немцы и черногорцы) знают обо всем понаслышке, ведь сейчас в мире большинство — люди от 20 до 30 лет!

Удивлен. Как-то никогда не думал об этом.

Если земной шар населен в основном молодежью, то надо во всех вопросах смотреть только вперед, прежде всего вперед! И то, что мы, прошлое поколение, хотим напомнить — наш опыт, наши знания о жизни, — должно быть нацелено в завтрашний день наших детей.

Тогда память наша имеет какой-то смысл.

— А потом, — продолжает Мира, — тут у нас хозяйничали итальянцы. Мы с латинянами почти родственники. И счеты старые и знаем друг друга хорошо. В общем-то народ это добрый. Воевать они не хотели. Особо, по своей инициативе не зверствовали. Но их заставляли...

Я говорю, что читал мемуары Уго Кавальеро, начальника штаба итальянской армии в прошлую войну. Он там приводит слова Муссолини, касающиеся, правда, словенцев, но тем не менее относящиеся вообще к славянам на Балканах: «Мы считали этот район спокойным... После того как начались военные действия с Россией, жители... считающие себя славянами, стали проявлять солидарность с русскими... Я думаю, что пора перейти к решительным действиям. Надо покончить с представлением о мягкости и сентиментальности итальянцев. Югославы никогда не будут относиться к нам хорошо».

— К нему никто хорошо и не относится, — философски изрек Мира. — А итальянцев мы любим.

Борьба за соседним столом вступила, кажется, в решающую фазу. Крик стоял страшный, стол качался. Девушка держала над головой пачку денег, подымаясь на цыпочки и выпятив грудь вперед. Отнимать деньги у нее не стали. Но тот, кто, видимо, проиграл эту схватку за честь, потребовал еще три бутылки вина. Он решил отомстить победителю, как мог...

Пора было ехать. Мы понеслись с ветерком по горной дороге.

— Войну я помню, — сказал Иванович. — Мы вступили сразу, подымались все — старые и молодые. Сначала одно село, потом другое, жгли костры на горах — далеко было видно...

Уго Кавальеро вспоминает: «14 июля 1941 года... Разговор по телефону с Бироли об инцидентах в Черногории. Спросил у Бироли: «Кто такие эти повстанцы и сколько их?» (Ну, прямо тебе Наполе-

На снимках:

Улочка в Которе.

Острова в Бок Которской.

Марко Мартинович экзаменует русских учеников. (Картина неизвестного художника). 1711 год.



он по Пушкину: «Черногорцы? Что такое?..» Вл. О.). «15 июля: «Приказал Бироли отправить в Черногорию одну дивизию...»

— Ну, одной дивизией дело не обошлось,— добавляет Иванович.— Жертвы были большие, очень большие. У нас во многих деревнях не осталось мужчин вообще... Сражались и женщины... Во всей Югославии мы потеряли каждого десятого...

Первым прерывает молчание Мирю:

— У нас, черногорцев, смерть в бою священна. Об этом род не забывает, из поколения в поколение передается память о герое.

...Известно, что немцы установили в Югославии постоянный процент: за одного убитого оккупанта — 100 заложников. Потом, когда близился час возмездия, эта цифра сокращалась. Но она оставалась на уровне 10 за одного до конца войны... Подсчитано, что если бы сохранилось первоначально установленное количество заложников, то при большом количестве потерь в немецких частях, расположенных в Югославии, население Сербии, например, было бы очень быстро истреблено полностью!

Жена бывшего югославского посла в Москве рассказывала мне, что в их роду (она родом из Черногории) были убиты в боях за свободу прадед, дед, отец, братья отца, ее братья, сама она сражалась в Далмации, была ранена... Похожее положение в семье ее мужа. Как тут не понять кажущуюся хвастливой привычку черногорца перечислять свои колена родовословной! Тот же Бранко или Перович скороговоркой сыплют имена предков до пятнадцатого колена: «Перо, Мичо, Мирю, Бранко, Сретен, Радован...» и т. д. и т. д.

...Чем выше в горы подымается дорога, тем более суровее все вокруг. Сосны, изломанные, перекрученные, почти горизонтальные, нависают над дорогой. Кое-где видны обнаженные бурые корни... «Корнем за камень...» Эта строчка Радована Зоговича приходит на память... (Надо будет так назвать антологию черногорской поэзии, которую я составляю для «Прогресса».) Дорога опять спускается вниз. До Скадарского озера она — как ни кружится — пробивается на юго-запад, но вот слева, позади, блеснули голубые воды, закружились горы, опять показались избушки. Солнце последний раз бросает на них прощальный луч. Выше и выше пошла дорога.

— Вон Риека Черногине! — показывает Мирю. — Плохо видно? Это — знаменитое село. Здесь создана была первая в Европе государственная типография.

Едем дальше. Слева внизу открывается вид на другое село.

Добрское... Николай I Петрович строил дорогу на Цетинье. Она шла там, ниже, видны остатки трассы? Но жители заупрямились. Земля здесь плодородная. Это редкость. Сказали: не дадим отнимать землю. Мы ее на горбу таскали. По корнине. По пригоршине. Рассердился Николай: ну, ладно, мол, пожалеете. И велел рубить гору выше. Так дорога прошла мимо Добрского села навеки.

— А теперь?

— И теперь, как видишь, в стороне село. Но люди предпочли быть в стороне от большой дороги... К ним и турки после других добрались...

— Все же добрались?

— А как же!

Долго смотрю на красные черепичные крыши, мечеть, зеленые сады Добрского села. Вечерний туман

запалакивает село. Последней видна головка мечети...

— У этого села свой характер,— говорит Мирю.— Тут вообще упрямые люди...

Иванович спрашивает меня, знаю ли я что-нибудь о легендарном Пеко. Пеко Дапчевца. Герой гражданской войны в Испании. В оккупацию о нем ходили рассказы, похожие на сказку...

— Он разоружил сто солдат. В Бельведере! — кричит Мирю.

— Пеко — наша гордость. Он тут родился,— добавляет Иванович.— О нем у нас песни поют. Сравнивают его знаешь с кем? С Тимошенко!

...В Цетинье удивительный музей... Поражает количество русских экспонатов. Давняя эта трогательная дружба имеет свою историю. О ней существует огромная литература, и мне незачем бланкет тут эрудиции. Кто захочет прочитать об этом, найдет немало книг и описаний.

Но меня с новой стороны удивляла эта страница истории. Как-то удалось прочитать мне сборник исторических документов, в том числе письма черногорских владык к русским царям — от Давида до последнего, Николая. И что же открывается нам! Никогда не подвергая сомнению искренность и истинность дружбы русского и черногорского народов, многие дальновидные деятели Черногории видели тем не менее и с горечью отмечали и давали и политическую игру русского царского двора и его, империей обусловленного, политического поведения.

...Я усмеваюсь про себя: почтители бы эти письма иные наш исследователи из молодых сторонников «единого потока», кто в прошлом России перестает видеть реальный, сложный, социальный организм...

Мы ехали в Котор. Дорога бежала вдоль воды, но это было не море, а так называемая Которская Бока. Что такое Бока? Это что-то вроде залива, губы, фиорда, водной протоки, которая замысловато, наподобие лабиринта, врзается с моря в глубь побережья, петляя меж гор. В Боке всегда тихая вода, но глубина тут немалая. Особенность дороги вдоль Боки Которской в том, что сначала ты видишь городок перед собой, потом он удаляется, казалось бы, навсегда, но совершенно внезапно вырастает перед тобой с другой стороны и опять начинает играть с тобой в прятки. Нигде я не видел такого стереоскопического изображения городов! Дорога выделяется здесь петля, хитроумные и головоломные которых и предстанти трудно. Какой-нибудь Тиват или какое-нибудь там Лепетане возникает сначала на том берегу, а потом ты просто подыезжаешь к ним, незаметно обхвачаешь залива... На тихой гавани Боки долго маячит перед тобой прекрасная церковь, словно плывущая на клочке земли, чуть больше ее фундамента... Потом островок поворачивается другой стороной, и ты видишь, что он продолговатой формы, что церковь еще красивее на фоне купы деревьев. Но вот островок исчезает за поворотом горы, и долго его нет вообще. Уже с противоположного берега Боки церквушка показывается вновь, но теперь совсем близко, и ты видишь, что островок скалистый и отсюда, с юга, церковь неповторимо освещена на фоне ярко голубеющего залива!

Мы приехали в Котор. Поставили машину на набережной и пошли в старую крепость, над которой возвышалась, бросая тень, огромная гора. На ее склонах, повернутом к заливу, выдвигались развалины крепости. В старом городе было прохладно, узкие улочки привели нас к музею. Это, я думаю, уникаль-

ный морской музей. В средневековом домике, стиснутом по фасаду другими домами, потемневшими от времени и морских ветров, на трех этажах разместились экспонаты. С темных портретов смотрят бородатые мореплаватели, капитаны корторских судов, на стеллажах макеты — шхуны, турецкие фелюги, барки пиратов, странные, быстроходные клиперы. Тут же, на полу,— каменные и железные ядра, тантственные жерла медных пушек, цепи, якоря в ракушках, фигуры Афины, украшавшие носовые части кораблей, и вдоль стен — кортики, ятаганы, стилеты, кандалы, грамоты вольных городов Дубровника и Котора, рукописи прошлых веков, византийские, венецианские, турецкие, австро-венгерские и русские документы, письма — от Негоша, Петра, Николая — владык черногорских — к наместникам, русскому послу, английскому консулу, турецкому адмиралу... Остановился перед старой картиной. С трудом разобрал надпись: «Русские бояре в 16-м веке учатся по повелению царя Петра Великого мореходному делу у Мартинювича». Конечно, не в 16-м, а в 18-м веке. И не одни бояре, а и дворянские дети. Тем паче, что на картине художник изобразил и «анкетные данные»...

Да, в те времена тут, в Которе, была известная мореходная школа Мартинювича. На картине изображен по одну сторону стола сам Мартинювич. По другую — шестеро русских в высоких островерхих шапках, все — внимание... Я стал расспрашивать музейных работников о следах, которые ведут от этой картины к русско-черногорским связям. Русские были в Которе и в 1806 году — почти целый год. Тут стояла русская эскадра. Об этом я знал. А раньше?

Весть о неизвестном письме к Петру Первому не давала покоя. Я нашел человека, который «знал вчерне», как он выглядел, содержание письма. Речь идет о письме Змаевича к брату своему, а не к Петру. Значит, это другое письмо? Нет. Это то самое. Мне неверно сказали, что его адресат — русский царь. Но о Петре там рассказано много интересного. Что именно?

Мой спутник Мирю Джурунич говорит, что это может знать Бранко Баньич или Стоевич, титоградские мои друзья-писатели.

Из Котора едем на запад. Рисан. Местечко маленькое, прокаленное солнцем. В 1960 году здесь открыт павильон для обозрения редчайших мозаик, обнаруженных еще в 1930 году. Город Рисан — древнее поселение. Греческое название его Рисон, римское — Ризиниум. В конце второго века нашей эры на частной вилле одного из граждан Рисана были созданы превосходные мозаики неизвестного мастера, которыми вымощены четыре до сегодняшнего времени открытые зала. Три из них выполнены в стиле геометрических мотивов, один же представляет собою редчайший в мире и единственный на территории Югославии мозаичный портрет бога сна Гипноза.

Я вошел в павильон с чувством какого-то странного смущения. Мозаичный пол — голубое с белым — простирался передо мной на небольшом возвышении, окаймленном камнем. По широкому бордюру можно было ходить, осматривая рисунок. Он навел меня на размышления о содержании геометрического сюжета. В большом квадрате (он потом повторялся) была вписана окружность, в которую, в свою очередь, concentрическими кругами вписаны другие, меньшего диаметра. От центра к большому кругу расходились тройные волны, в меньших повторялся

¹ Тут упомянуты князья, бояре и прочие царевы слуги: «Ворисе Иванович Куракин, Яков Иванович Лабан, Петр Голицын, Федор Голицын, Андрей Иванович Репнин, Абрам Федорович, брат царицы москвитой, Михайло Матушкин» и т. д.

присуюнок, который при желании можно было трактовать как радикально расходящиеся солнечные лучи. Между сторонами наружного квадрата и жирной чертой первой, большой окружности помещалось схематическое изображение не то змеящихся годовосей, не то рыб... Когда я сказал об этом своем впечатлении Мирю, он недоумоно пожал плечами: фантазия, мол. Но я остался при своем мнении. Неужели нельзя предположить, что геометрический орнамент тельца когда-то вырос из обобщенного изображения реалистических примет мира, окружающего человека? Морю, солнце, растительный мир или фауна? Средиземное море, в котором могли плавать и на фанатизме мозаичных дел мастеров прошлого... Что касается Гиппоса, он не произвел тогда гипотетического впечатления, которое можно было предположить, зная про уникальный характер этой мозаики. В центре концептически вымощенного фона возлежал пухлый дитина, который облокачивался на руку, наверное, не чтобы не помять два крыла, выглядывавших из-за его полноватой спины.

Возвращаясь из лавильона, остановился поговорить с чистеньким седым стариком, продающим входные билеты. Здесь, в Рисане, особенно любят русских, говорил он. Старик очень хочет побывать в России. — Там колокол есть. Царь-колокол!

— Там колокол есть, Царь-колокол!
Вспоминает Ивана Грозного знает

Вспоминает Иванна Грозного, качает головой. Как-ие, мол, цари у русских... Один страшнее другого. Отсюда и порядок у русских. Ба-альшая страна! А Царь-колокол стоит еще в Кремле? — Не слыли? — беспокоится старик. — Очень мне хочется Царь-колокол посмотреть. Это не то, что на картинке, ведь правда?

Я обещал старику, что колокол мы не гронем.

Говорим с Миро о старине, национальной гордости, свободе. Он как-то не совсем понимает меня. Разве может такое быть, чтобы любовь к свободе и родине своей не совпадали? Шли на разных курсах? Он смотрит, прищурившись, на вершину Ловчена и говорит:

— Негош¹ умирал... Понесли его на руках черногорцы вот по тем тропам, через перевал, на Цетинье... Знаешь, какие последние слова он сказал? «Любите Черногорию и свободу»... И закрыли ему глаза.

— Здесь Негош умирал?

— Да, на обратном пути на родину стало ему плохо совсем. Он все торопил друзей, хотел в Цетинье поспеть к смерти... На родину.

2. Старый партизан Лука думает о душе и рассуждает о русской литературе

В «Фонтане» играла музыка. Светящийся ящик странно подрагивал, словно икал. Хриплый женский голос обещал блаженство, которого не бывает. Народу было много. За сдвинутыми столиками сидели бледные иностранцы — мужчины в длинных баках и рыжеватых шкиперских бородах, которые казались прилеженными, женщины, почему-то все очень худые, оголенные, с гремющими, как кастаньеты, браслетами.

К нам подходил, смущенно нахмурившись, коренастый старик. Подошел, погладил усы и протянул, не глядя на меня, узловатую крепкую руку. Я понял, что это мой будущий хозяин.

— Устали? — сказал он. — Отдыхать надо. Такой молодой, а писатель, — почему-то удивился старый Лука, хотя Миро был тоже писатель, а выглядел яв-

по моложе меня. Очевидно, догадался я потом, русский писатель должен был, по мнению старика Луки, выглядеть намного презентабельнее, — ведь он любил русских беззаветно, и всякая подделка тут не котировалась. Но все же я был оттуда. Деваться было некуда.

Вопреки прогнозам Мирю, старик вовсе не соби-
рался затевать попойку. Он ласково потрепал меня
по рукаву и сказал твердо:

— У меня жена весь день ждет гостя. Ему приготовлена лучшая комната на втором этаже. Там чисто и тихо. Он может писать свои книги у меня, сколько ему понравится.

Миро достал ручку и какой-то бланк и велел Луке подписать его. Старик презрительно отодвинул бумагу и сказал:

— Или ты думаешь, что Лука будет брать деньги с русского?

Он даже поднялся и показался мне много выше, чем раньше. Он стоял, гордо и хмуро смотрел на Миро.

— Ты совсем рехнулся, видно?

Его усадили, успокоили, что денег платить не будут, если он так обижается, и старик сразу же повеселел.

— Разве я каждый день вижу руса? Когда мы воевали, мы видели вас чаще. Мы — братья. Для меня большой день сегодня, большой праздник.

...Кровать была удобной, подушки заботливо избиты, но луга в окне и разные мысли не давали мне уснуть. Я вышел на балкон. Тучи давно ушли в горы. Под лунной красиво блеснула листва на деревьях, белесела трава, блеснула чья-то роскошная машина, напоминающая ракету, блеснула крыши, блеск шел отсюда-то из-под земли, ночь светилась и благоухала терринки запахами цветов, смутно блелеющих в тени дома. Мне чудился теплотом произнесенные слова, я прислушивался, но шепот этот то повторился, то смолк. Нервы были одновременно и напряжены и окутаны этим лунным туманом. Состояние такое, как будто слушаешь музыку — освободиться невозможно, и ты уже другой, не такой, какой был до этого, и кажется, что-то должно произойти, легкое, загадочное, оставив прошлое в таком же смутном, неосознанном тумане лет...

— Не спишь, рус?

Я вздрогнул. Во дворе сидел мой хозяин и курил трубку. Как я его не заметил!..

— Спускайся, айда, такая ночь!..

Я спустился к старику Луке. Он показал на стул рядом с собой. Стулья стояли под навесом из бьюнка, который едва начал заплетаться вокруг тонкой проволоки. Сквозь него видны были легкие облачка, просвеченные луной. Лицо Луки было в тени. Выколотив трубку, он сказал:

— Ингода я знаюется не по себе. Вот идет себе жизнь, катится под гору. Ты волеал, потом детей растил, потом камень, по камню... он кинулся на дно, шло гуло, деньги есть, это правда, а все как-то думно, когда истая жжешь осенью... Горько в горле и глаза твои то есть... Зачем все это, — он развел руками, — если история прежнего нет. Говорят, старей ты, Лука, блажшый, мол... Нет, я знаю, что не то... Я еще мому, я еще не старин. Только скучно мне так жить. Думю, знаюш, рус, можно все делать, нужно делать. Хозяйство, конечно, люблю, не буду урвать... Только не по мне видю, копить эти динары, когда все уже, кажется, и есть. Я вот книги стаа читать, много читаю. Библиотека у меня, рус, можеш посмотреть днем, большая — два шакета не увезут! Русские книжки люблю. Там про совесть пишут. Наши тоже читаю, думую. И чем больше читаю, тем больше думую. Почему я раньше, когда молодого

¹ Великий поэт, просветитель, владыка Черногории (1811—1851).

был, торопился все, да и время, прямо сказать, не до книжек было. То батрачил, потел, то воевал, кровь лил... А ныне думаю все о сути жизни. Для чего все это...— Лука показал на небо, на край крыши своего дома, на фонарь, раскачиваемый ветром, на нас с ним поочередно, потом куда-то в темноту, видно, на сарай с добром, которое он нажил на эти проклятые динары свои,— все это вокруг...

Я заинтересовался минорным настроением Луки и готов был услышать еще немало интересных признаний, полагая, что это — только начало исповеди, но жена Луки строго позвала его в дом, и он поспешно откликнулся на ее зов.

— Да, рус, завтра рано вставать надо, привезут новые двери, надо снять пелги старые, потом договориться с шюфером о брикетах угля на зиму, потом...

Лука махнул всердцах рукой и, пожелав мне спокойной ночи, ушел.

3. Чудесные события, связанные с Осман-пашой, который учился в Сен-Сире, внучкой воеводы Милиянова, ставшей женой американского архитектора Райта, и письмом дагматинца Змаевича к своему брату, в котором он рассказывает, как Петр Великий произвел его в русские адмиралы Измайловы.

Бранко Баневич везет меня в горы. Он сидит за рулем и рассказывает о Марко Милиянове. Горский воевода, писатель-самочулка, герой войны с турками, он поспорил с владыкой Черногории Николаем I и поселился на горе Медуи. Гора эта знаменита тем, что на ней остались последние камни старинной крепости последнего иллирийского царя. Турки разметали, что могли, но иллирийские камни крепости, неизвестно как возведенной в древнюю эпоху иллиров, им были не по силам. Они могли только надстроить крепость, перекроить ее внешний облик по-своему. Потом время разрушило и турецкие сооружения. А иллирийская основа — фундамент дома Марко Милиянова остался. Простоят века, если ничего не случится с Землей нашей в целом...

Милиянов оставил книгу, о которой пишут диссертации философы и этики. Называется она «О чойстве и юнацтво». Чойство — слово, трудно поддающееся переводу. В нем — и гуманизм и человечность, как душевное состояние и духовное начало вообще. Юнацтво — героизм, мужество, но тоже на народной основе. Милиянову принадлежит такое, например, определение чойства: «Герой тот, кто защищает человека от другого человека. Человек тот, кто защищает другого от себя». Мысль, достойная раздумий и в 20-м веке. Может быть, особенно в 20-м!

Подъезжаем к дому Милиянова. Останавливаемся прямо над краем пропасти. Задние колеса машины упираются в валун. Бранко спокойно выходит из машины и показывает мне окаян — горы, горы, долина у ног; покатые склоны лесистой горы — с другой стороны. Внизу поодаль — школа, в долине — лесколько домиков крестьян. Далеко разносится звон колокольный — стадо пасется у кромок леса. Пахнет дымком.

Дом Милиянова одиноко стоит на вершине. Дом крепость.

Входим в музей. Беленые стены. Вещи Милиянова, портреты, фотографии, оружие, рукописи... К ним — сичала. Обращаю внимание на крупный каллигра-

фический почерк. И на то, что слова почти не разделяются между собой. Но грамотная речь; образно говорит: «Одиночество безобразно, как слепота или мост, по которому все идет мимо».

— Он выучился грамоте только в пятьдесят два года,— улыбается Бранко.— До этого воевал, некогда было. Эти строки из его стихов.

Читаю еще один стих, вернее, двустишие — о власти и человечности:

Власть — что булала на шее,
Гуманность остается и после пепла власти...

Это говорит человек, облебенный по масштабам Черногории большой властью. Он был воеводой целого пламени, «кучей». Милиянов разгромил турецкое войско под Фундином в 1876 году. Турок было больше в десять раз! Николай I дал бой туркам под Волчьим Долом, а Милиянов — под Фундином. Турок пало тысяч двенадцать, черногорцев — всего триста сорок, говорит предание. А всего участвовало в бою сорокапятитысячное турецкое войско под командой Махмуд-паши под Фундином (южный фронт) и Осман-паши и Мухтар-паши — на северном, против Николая I. Мухтар-паша пал на Волчьем Доле, судьба же Осман-паши была по-своему удивительной. О ней стоит рассказать подробнее.

Он учился военному искусству не где-нибудь — в Сен-Сире, известной французской военной школе, основанной в 1808 году, в доме, который был построен еще при Людовике XIV. Кстати, и Николай I закончил Сен-Сир примерно в те же самые годы. Может быть, этим и объясняется почти дететивный и по-своему романтичный поворот сюжета в их отношениях... Осман-паша попал в плен после разгрома турок. Он играл в покер в Цетинье, ждал абсолютно свободно. Но однажды пришло сообщение из Турции, что его любимым сыном умирает, Николай отпустил Осман-пашу под честное слово. И паша вернулся, похоронив сына. Николай отпустил его из плена. Осман-паша больше никогда не воевал с Черногорией. Романтическая эта, рыцарская легенда подтверждается историческими документами.

Рассматриваю пробитое пулями знамя черногорцев. На белом — красный квадрат и в нем крест и инициалы: «Н. I» — Николай Первый. Как же оно изречено! Вот что, оказывается, означал строка поэта Душана Костича, которые я знал давно: «Сердце мое пронзено болью, как флаг под Фундином».

Вот котел на веригах, в котором великий старец варил ницу, вот гуси, на которых он играл, подлевая себе в доаге зимние ночи, вот его знаменитый «белокопач» — пистолет с длинной белой, словеной кости, рукояткой...

Бранко рассматривает схему сражения, говорит вслух:

— Как на Сутеске!

Восторженно находит общий принцип партизанской войны, сам удивляется неожиданному открытию.

Рассматриваю материалы первой типографии на юге Европы. До 1496 года было выпущено 8 книг. Здесь были отличные шрифты. Печать в два-три цвета. При Иване Црнговиче (XV век) печатал некто Макария. Так и набиралось внизу титульного листа — «Макария от Черногории». Макария уехал в Валахию (бывшую Румынию), печатал первые книги и там. Сохраняет память и имя Божидара Вуковича. Сорок лет прожил он в Венеции, печатая книги для славян. Умирая, завещал сыну, Винченцо, перенести прах его к берегам Скадарского озера, в Черногорию.

...Всматриваюсь в портреты Марко Милиянова. Красота его мужественна. На портретах он такой же, как

на первых дагерротипах, донесших, к счастью, облик воеводы-философа.

А вот женщина, перепосанная патронташами, в меховой шапке. Дочь Миланова! Милица Миланова воевала как солдат с турками! Крупная, сильная девушка. Стоит с длинноствольным ружьем в руке, за поясом ятаган, пистолеты... Ну и ну!

Еще большие поражен, рассматривая фотографию рядом... Мария — внучка Марко была, оказывается, женой знаменитого американского архитектора Ллойда Райта, создателя теории «открытого пространства», автора великолепных небоскребов и вилл. Вот чудеса! Но и это не все. Во время балканской войны Мария приехала из Америки, переделалась в черногорский костюм и воевала в рядах соотечественников! Кончилась война, залечила рану, оставила у очага долому с запекшейся кровью, длинный чубук, поцеловала саблю и, всплакнув по-бабы, стала натгивать на себя тонкие чулки, узкую, длинную по тогдашней моде юбку в серую крупную клетку, надевала шляпку и на парохде греческой компании через Италию, на океанском корабле в каюте-люкс, отправилась к Ллойд Райту, в Америку...

На одном из фото — друг Миланова, Новак Милошевич. Черногорцы это имя помнят. Ему после Фундина русским царь саблю прислал с бриллиантами. Вот она, красавица!.. Новака спросили: «Сколькох ты зарубил в бою?» «Я считал до 27», — ответил Новак, — а больше не помню...» Когда умел Новак, над ним пела тулундша. Это плакательница значит. (Я вспоминаю книгу плачей черногорских — редчайший документ народной сокровищницы искусства — «Поле яди-ково. Антология народных черногорских плачей».) Не всякий заслуживал такого эпископского отпевания. О Новаке плачи особенно прекрасны.

...Могилу владыки Василия в Петербурге. Не каждый знает, вероятно, что похоронен он у нас, рядом с Суворовым.

Умирая, завещал Марко Миланов половину своего дома под музей черногорской славы, а остальную половину — под школу для детей крестьянских, лес же и поле обширное воевода отказал поселаям-соседам. А себя похоронить велел на вершине Медуна...

Идем туда по крутой тропке. Я нет-нет да и хватаюсь за жесткие ветки кизила — страшная высота. Камни из-под ног сыплются вниз, и звук их долго слышен. У ворот ограды не сразу отпираем заржавевший замок, входим в заросший травой дворик. Могилы проста — камень с крестом и имя хозяина Медуна... Ветер здесь злой, резкий. Огромная даль... Отсюда даже дом Миланова кажется маленькой коммунальной виллой.

— А там — Ловчен. Там — Негош...

Бранко смотрит, прищурившись, вдаль. Я ничего не вижу. Только спящие цепи гор, снежные шапки скалистых отрогов.

Спускаемся осторожно. Говорим о свободе, о высоте, о чувстве почти оранином, когда ты знаешь, что опасность может быть только внизу, а здесь — покой и воля... Бранко говорит:

Негош был однажды в Венеции. В соборе ему протянули для поцелуя золотую цепь от креста. Он ответил: «Черногорцы цепей не целуют!»

Здесь издавна рождались очень смелые и волюнолюбивые люди.

Мы садимся в машину и едем по каменистой, опасной и коварной дороге.

А вот и поляна с вырубкой, за ней котлован, заросший лесом. Бранко говорит, что за той вырубкой и начинается поле брани, где Миланов остановил, а потом загнал турок в ловушку. Тут была страшная сеча. Долго еще потом пуг находили кости на своем пути, скрежетал по железу. В черепе и костях позвончиков до сих пор обнаруживают наконечники стрел



Черногорский поэт Бранко Баневич.

и копий, пушечные дыры... А леса пошли в рост на этом месте, как сумасшедшие.

На обратном пути в Титиград обращаю внимание Бранко на странную цепочку развалин на головокруго-жительной высоте.

— О, это остатки большой стены. Ты ничего не слышал о ней? Она когда-то разделяла Византию и Рим. Вроде Великой Китайской. Еще кое-где можно видеть ее остатки. Как строили ее? Сам удивляюсь. Ведь она шла через хребты, пропасти разделяли ее, скалы вставали на пути...

Я думаю о том, что люди всегда стремились отгородиться от мира. И что это никогда им не удавалось. Оставались дороги, мосты, но рушились стены и крепости. От крепостей оставались ворота. Разве что ворота...

— Большая протяженность у этой стены?

— Была она от Приморья до Сербии, — отвечает Бранко.

И тут я вспоминаю, что хотел спросить у Бранко о письме, как-то связанном с именем Петра Великого.

— Ах, это действительно любопытное письмо! Жил в Далмация, кажется, в Которе самом, некто Змаевич, мореход. Что-то у него там вышло, он должен был бежать на чертов. Попал в Карлсбад, нынешние Карловы Вары. До этого он жил некоторое время и в Царьграде. И вот откуда-то с дальнего севера, видимо, с берегов Северного моря, пишет он письмо брату своему после многолетнего молчания о себе. И в письме сообщает, что в Голландии познакомился в таверне с русским гигантом, который за кружкой пива стал его экзаменовать по морскому делу и уго-ворил ехать с собой в далекую Россию, обещая богатство и славу. И вот Змаевич достиг уже и того и другого... Он — кто бы думал? — есть тот самый адмирал Измайлов, что был с флотом русским шведов. — Понятым русским оказался... сам царь Петр!.. Письмо действительно найдено не так давно и не обнаружено, я полагаю, не только в России, но и у нас. Нигде, кроме Черногории. У нас оно напечатано в документах по истории Черногории. Я тебя обязательно с ним познакомлю...

— Всякие, брат, у нас с вами связи были, — продолжал Бранко. — Например, ты знал, что Милорадович, который стрелял в декабристов на Сенатской площади, родом из Херцеговины, где ты только что был?

Конечно, первый раз слышу.

— А ты знаешь, что Врангель, барон тот самый, похоронен в Белграде?

Тоже не знал.

— Видишь, сколько тебе еще знать надо,— смеется Бранко.— С этим белым бароном еще вот что связано. Был такой Душан Василев, юноша, талантливыи поэт-революционер. Он написал стихи против бегловарденцев ваших, клеймил Александра Карагеоргиевича, царя нашего, за то, что принял как родных беглых белых. Они тогда, помнишь, из Крима и Одессы к нам через Грeию бежали...

4. О том, как умирал Антонио Мачадо. Как молодые остаются молодыми. И почему мо- сты священные храмов.

Сегодня у нас еще одна поездка с Баньевичем. Он везет меня к Скадарскому озеру. На террасе загородного ресторана, одиноко стоящего на берегу озера, мы совсем одни. Официант приносит обед и уходит. Мы долго любуемся тихим закатом. Место редкое по красоте. Дали неогладные, до горизонта — камыши. Горы голубеют мягким полукругом далеко-далеко. К ресторану идет насыпь километров пять, не меньше. Кричат дикие голубы. По мелкому озеру ходят пеликаны.

Бранко рассказывает о Черногории и ее сынах удивительных вещей. Он говорит, что знает своих предков с XV века, и, верно, все пятнадцать поколений перечислены. Говорит, что все черногорцы, как это ни покажется парадоксальным, воевали, чтобы не было войны. Что это — качество романтическое. Он говорит, что сейчас начался процесс открытия родины для самих черногорцев. Обнаружено 250 церквей XII—XV веков! Открыто около 50 городов, в том числе легендарный Оболон иллирийский, о котором высказывались догадки давно и в различных письменных источниках...

Как-то разговор заходит о войне в Испании. Я узнаю, что много черногорцев воевало тогда на стороне республиканцев. Главным образом интеллигенты, те, что учились в Загребе, Белграде, Любляне.

Недавно Бранко путешествовал по югу Франции. Он написал стихи о том времени, ему повезло — он познакомился с людьми, которые прятали беженцев.

— Я приехал в местечко Коалиур, неподалеку от границы с Испанией. Здесь я обнаружил бывшее местонахождение Мачадо, ведь он умер тут в январе 1939 года. Я говорил со старухой, которая видела его и говорила с ним последним... Он был очень гордый, говорила она, он отказался оставить испанцев, своих спутников, и пойти ко мне, я видела — он очень старый, с ним все говорили с большим уважением. Я знала, что это великий поэт. У меня была маленькая гостиница недалеко от лагеря, где держали испанцев. Они жили на земле, грелись у костров. Он сидел, как большая птица, закутанный в старый плаед. У него застылаи руки. Все умоляли Мачадо идти ко мне в теплый дом, но он не хотел. Я предложила еду, он гордо отказался, хотя был голоден, как все. Он знал, что еды мало, что всем все равно не хватит, но отказался быть и тут исключением... Старуха рассказывала, что люди, переходя границу, говорили, что позади они жили здесь, бросали оружие и плакали. Это были большие несчастные дети. Мне было страшно жаль их. Я им сочувствовала... Так говорила она... В это время, когда мы сидели с ней на террасе ее домика, испанские самолеты все время носились в воздухе недалеко от границы, и я тогда написал стихи... «Звук, как проволокa огня, в небе. Возвращаются наши кости из ям смерти и небытия. Звук с головой змеи в небе ползет еще ночью...» Мне казалось, что я вижу все, о чем рассказывает старая французка, продолжал Бранко. Я видела Мачадо, кото-

рый все же, уже в бреду, позволил себя перенести в дом этой доброй старухи... Тогда она, впрочем, не была старухой... Она поила его с ложечки подогретым вином. Он умер на ее коленях... Не знаю, не путает ли французка, но она говорит, что с Мачадо была его мать. Она умерла якобы через два дня после Мачадо. «Я буду с ним» — последние его слова... Мачадо умер шестидесяти четырех лет... Может быть, и вправду, мать могла быть с ним?... Самолеты испанцев летали с Майорки. Это я помню. И звук их силас для меня с рассказом о смерти поэта...

Мы гуляли с Бранко по дороге, обсаженной ивами. В лучах заходящего солнца кони на лугу казались красивыми. Они ржали и, стреноженные, переступали ногами. Пастуха не было видно нигде. Их ели комары, и они резко вскидывали красивые головы.

Вдруг Бранко закричал и остановил меня. На дороге к нам ползла змея. Он схватил палку — сухую ветку, к счастью, лежавшую на дороге, и, не успев я оиомниться, как змея с перебитой головой дергалась в агонии... Бранко подел ее палкой и забросил в озеро.

— Давай-ка! — спросил я.

— Да, Нам повезло. Она быстрая и прыгает. Негом сказал: «Увидишь змею — убей ее»...

— Сколько раз увидишь, столько раз и убей...

— Да, но увидеть ее трудно и один раз.

— Ты молодец...

— Перовичу скажем, что змея была вот такая... Бранко показывает распахнутые руки. — Он поверит. — Зачем вы с Милорадом смеетесь над ним? Он очень милый и добрый.

— Мы не смеемся над ним. Он наш друг, но Сретен не знает шуток. И бывает смешным от этого. Потом он очень доверчив...

— Это хорошая и редкая черта, — говорю я серьезно. — Твоя французка говорила о республиканцах — дети, большие дети... Я думаю, только фашисты никогда не были детьми. Мы воевали с фашистами, не только по возрасту будучи детьми, мы были наивны хорошей простотой. Все больше, становясь старше, я люблю наивных людей, люблю видеть в человеке веру, свет в глазах...

Бранко иронически улыбался.

Я родился в 1923 году.

Бранко — в 1933-м...

Я не стал объяснять читателю, что мой дневник не беккер, не характеристика страны, а история встреч.

Человеческая история встреч. Судеб людей, каждый из которых несет с собою прошлое и будущее.

Иво Андрич, один из крупнейших писателей Югославии, сказал о мостах: «Из всего, что воздвигает и строит человек, повинувшись жизненному инстинкту, на мой взгляд, нет ничего лучше и ценнее мостов. Они важнее, чем дома, священные храмы, ибо они более общие. Они принадлежат всем и каждому, равные со всеми, нужные, воздвигнутые всегда на месте, где сходится максимальное число человеческих нужд, они более долговечны, чем прочие сооружения...»

И нет ничего удивительного в том, добавляю я, что эти символические мосты приводят людей не только друг к другу — к своему прошлому и общему будущему.



Юрий
ЦИШЕВСКИЙ

ШКОЛА МАСТЕРСТВА

В Суриковском институте — защита дипломных работ выпускников графического факультета. Пришла волнующая и счастливая пора для молодых художников. Возбужденные голоса дипломников, шум и гомон «большаков» наполняют недавно отреставрированный зал. Всюду озаренные каким-то внутренним светом молодые лица, и, несмотря на то, что за окном идет дождь, кажется, что зал освещен ярким солнцем. Все ждут часа, когда перед Государственной комиссией предстанут дипломники-плакатисты. Где-то в боковом коридоре виновники торжества, тихо переговариваясь, готовят продемонстрировать свои планшеты с плакатами. Волнуются не только они, волнуется также и те, кто в течение шести лет был для них учителями, наставниками, старшими товарищами, те, кто терпеливо посылал своих питомцев и готовил их к сегодняшней торжественной минуте. Среди них мы видим профессоров и преподавателей Н. Пономарева, О. Савостюка, И. Овасянова.

— Для нас, руководителей мастерской плаката, сегодня двойной праздник, — говорит Олег Михайлович Савостюк. — Праздник по случаю «выпуска в свет» очередной группы одаренных, отлично подготовленных художников и праздник по случаю того, что этот выпуск совпадает с юбилеем — 25-летием нашей плакатной мастерской, основанной замечательным художником Михаилом Михайловичем Черемных.

Пока экзаменационная комиссия не приступила к своим обязанностям, О. Савостюк рассказывает о рождении мастерской, о ее творческой деятельности, о том,

как много в ее работу внес М. Черемных.

...Это было четверть века назад. В студенческой мастерской распахнулась дверь, и на пороге показался М. Черемных. Внимательно осмотрел всех присутствующих и сказал, что отныне он будет преподавать плакат. А через несколько минут завязалась увлекательный разговор о проблемах развития искусства плаката, его будущем, о поисках своей творческой индивидуальности. До позднего вечера продолжалась беседа. Михаил Михайлович обладал удивительным даром — к нему тянулись ученики, перед ним охотно раскрывалась молодежь. Делились своими замыслами, мечтами, творческими удачами и неудачами.

С тех пор у студентов мастерской плаката началась новая пора, а институт с этого дня приобрел нового профессора, замечательного педагога, обладающего высокой художественной культурой. Черемных был художником, мыслителем, изобретателем, мастером на все руки. Это он в 1918 году, будучи еще молодым человеком, но имевшим техническое и музыкальное образование, но обладавшим незаурядным слухом и большой художественной смекалкой, взялся перестроить бой кремлевских курантов и заставил исполинский часовой механизм на Спасской башне играть «Интернационал». Это он в 1919 году предложил поместить в пустующих витринах магазинов красочные агитационные рисунки и назвать их «Окна РОСТА». Такой вид наглядной агитации сразу оценил Владимир Маяковский и, увлекшись интересным и очень

важным начинанием, отдал ему часть своей кипучей энергии, поэтическое вдохновение, дар художника.

Вспоминая об этом периоде, Маяковский писал: «Моя работа в РОСТА началась так: я ушел на улуу Кузнецкого и Петровки первый вывешенный 2-х метровый плакат. Немедленно обратился к заву РОСТА т. Керженцеву, который свел меня с М. М. Черемных...» Так Маяковский и Черемных рука об руку стали создавать первые агитационные плакаты. Можно считать, что с того времени начал зарождаться новый жанр в советском изобразительном искусстве, еще только набравшем силы.

Это новое искусство, говорившее языком плаката, впитало в себя наследие мастеров мировой живописи и в первую очередь мастеров древнего русского искусства и русского народного лубка... Оно смело вышло на улицы, чтобы служить широким народным массам.

— Черемных стремился передать ученикам весь свой богатый опыт и знания, — продолжает О. Савостюк. — Помнится, как во время занятий в мастерской профессор часто подсаживался к одному из рисующих студентов и, исправляя работу, внушал будущему художнику, что не ремесленнический, не пассивный, а только активный, творческий подход к рисунку с натуры прокладывает путь к подлинному мастерству. Он советовал, какими средствами надо создавать героический образ, в каких случаях необходимо применять наиболее выразительные приемы, такие, как гротеск, метафора, гиперболизация. Обращаясь к молодежи, Черемных говорил: «Вы, молодые, должны остро подмечать новые явления в окружающей вас жизни, вам это доступно, чем старшему поколению». Старый мастер старался приучить молодых художников к обостренному, образному мышлению в творчестве и в особенности в работе над плакатом, так как считал, что работа над плакатом значительно больше способствует концентрации образной мысли, нежели в других областях изобразительного искусства. И вместе с тем он утверждал, что молодой человек, отдавая свое дарование созданию плаката, не должен замыкаться в избранном жанре, он обязательно должен заниматься живописью, ибо живопись является родоначальницей всех видов изобразительного искусства.



После защиты
дипломных работ.
Июль 1973 г.

Фото С. ВАСИНА.

Говоря о бережном сохранении и развитии традиций и заветов своего любимого учителя, О. Савосток подчеркивает, что тесные связи с жизнью, со всем новым, что возникает в советском обществе, являются непреложным законом в методике преподавания в институте.

— Примеров тому много, — рассказывает он. — Вот хотя бы летние поездки студентов на стройки пятилетки. Да вы сами помните поездки наших учеников по командировкам «Юности» на строительство подшефной железной дороги в Тюменской области и интересные выставки, родившиеся в результате этих поездок. Одним словом, мы никогда не забываем девиз Михаила Михайловича Черемных: «Давайте делать прекрасное!».

...Мы идем в зал, где начинается защита дипломных работ. За столом Государственная комиссия — известные мастера советской графики: О. Верейский, А. Каневский, Е. Кибрик, И. Кузминский, Д. Шаринов, профессора и преподаватели института. На стенах — работы дипломанта А. Курманжанкова. Плакаты посвящены 30-летию Великой Победы советского народа в Отечественной войне. Молодой художник сумел найти образные символы, раскрывающие тему беззаветного солдатского подвига, величие всенародного торжества.

Затем на стендах появляются плакаты Т. Завьяловой. Одна из ее работ посвящена борьбе за мир, другая — советскому спорту, две последних — оригинальные теат-

ральные афиши, удачно гармонирующие со стилистикой драматургического произведения.

Все новые и новые работы на стендах. Они получают высокие оценки членов комиссии, которые говорят о том, что все десять выпускников старались в меру своего таланта создать яркие образы, рожденные жизненными наблюдениями.

Наибольшее одобрение получили политические и театральные плакаты А. Петрушина. Успех этот не случаен: летом 1975 года он получил вторую премию на Всесоюзном конкурсе политического плаката на тему «Советский человек — активный строитель коммунистического общества».

Искусствовед А. Новиков, рецензирующий дипломные работы, рассказал о том, какое большое влияние оказывают выпускники плакатной мастерской, работая в издательствах, на улучшение художественного качества советского плаката. Он также поделился своими впечатлениями о недавней поездке в Париж в связи с экспозицией советского политического плаката в Лувре.

— Нас радует, — сказал А. Новиков, — что коллекция советского политического плаката получила высокую оценку за рубежом, радует и то, что в этой коллекции большой удачный вес заняли работы выпускников плакатной мастерской Суриковского института.

А потом тепло и сердечно поздравил выпускников руководитель мастерской профессор Н. Пономарев, высказавший много добрых

пожеланий дипломникам юбилейного 25-го выпуска.

Государственная комиссия закончила свою работу. Гости и студенты покидают актовый зал под глубоким впечатлением от показанных работ. Невольно приходят на память экспозиции наших московских и всесоюзных выставочных залов, где можно было встретить много знакомых имен художников молодого, среднего и старшего поколений, тех, кто окончил в свое время плакатную мастерскую. Вспоминаются яркие плакаты И. Овасова, Л. Непомнящего, А. Якушина, В. Каракашева, М. Лукьянова; интересные литографии В. Смирнова, И. Большаковой; острые штриховые рисунки Р. Вардзигулянца; яркие живописные полотна О. Савостюка, Б. Успенского, В. Владыкина. Из этого далеко не полного перечня можно сделать вывод, что бывшие выпускники и нынешние преподаватели плакатной мастерской с успехом выступают в различных жанрах советского изобразительного искусства.

Работы плакатистов-суриковцев мы частично показываем на страницах нашей вкладки и обложке. На первой странице воспроизведены рисунки для «Окон РОСТА» основателя мастерской профессора М. М. Черемных. На следующих даны репродукции плакатов, живописных и графических работ художников последних выпусков Суриковского института, выступавших на художественных выставках нынешнего года.

Григорий Поженян



Беседы с сыном

I

Знаешь ли ты,
что летают обычные люди.
Сонный швейцар
и садовник с веселой лейкой.
Что полосатые зебры
и пони с коротенькой челкой
ночью беседуют
о длинношеих жирафах.
Веришь ли ты,
что деревья и мыслят и помнят.
Что неспроста
даже глупый слоненок
красным песком обсыпается
после купанья.
Знаешь ли ты,
как в неволе тоскуют тарпаны
и наслаждаются
полной свободой дельфины.
Слушал ли Баха небесного
вечные «страсти».
Слышал ли ночью,
как гулко стучит
в Миссолунгской долине
Байрона сердце —
он грекам его завещал
после смерти.
Мир полон звуков,
непрочитанных книг
и открытий.
Помни все это.
И не забудь,
что летают обычные люди.

II

Однажды зимой,
а точнее, в середине зимы,
когда не хватало тепла
моему маленькому сыну,
когда не хватило ему синевы —
мы к морю уехали.
Сыну понравились горы.
Я вырезал палки из бука,
запасся едой и питьем,
и горной тропой,
не широкой, не узкой,

мы начали с сыном
свой первый подъем
к вершине,
которую не было видно.
Он шел, оступаясь,
На еще не окрепших ногах.
Шел, падал и плакал,
шел, падал и плакал.
Я строго прикрикнул:
— Что все это значит!!
Мужчины не плачут,— сказал я.
Мужчины не устают.
Мужчины не плачут...
Все было у нас.
Горе раннее долго стояло в дверях,
чайки резко смеялись,
гуси горько кричали,
а путь его был только начат.
Но... Мужчины не плачут —
металось, как эхо в горах.
Мужчины не устают.
Мужчины не плачут.

III

Топчи, топчи свой след, Авдей,
мужая и скорбя.
По веточке,
по щепочке
растаскивай себя.
Души, души
и хмель, и хворь,
и женский всплеск,
и плен,
кистей коричневым кольцом,
венцом набухших вен.
Мучительством немых ночей,
сплясавшим светом дня,
живым огнем
гаси огонь
Антонова огня.
А что осталось
за рекой —
забудь и не зови.
До берега подать рукой.
Плыви, Авдей, плыви.

IV

— Что вы сказали!
— У меня роман...
— Роман!!
— А что ж!..
— Роман, подобный грому!!
— А может, он сродни аэродрому,
с которого уходят на таран!
А может, в полдень вспыхнувший пожар
в бору, звенящем от сухого зноя!
Никто не знает, что это такое.
Но неземной плывет воздушный шар,
Плывет легко и плавно над паромом,
над колокольней,
облаком
и громом,
над завистью,
неверием,
тщетой,
пронизанный щемящей высотой...
Да, у меня роман с моей женой.
И кажутся таинственнее двери,
смешнее и нелепее потери,
когда ее дыхание за спиной.

Круги

Скажи, зачем ты предала круги!
Все стало явным и невыносимым.
Вонзился дятла стук
в призыв гусиный,
и кто-то крикнул:
— Цапля без ноги!
Скажи, зачем ты предала круги!
Не я ль поверил,
что все три разлома
земной коры
сошлись у окон дома,
где ты так просто предала круги!
Теперь казнись, юли, притворствуй, лги!
И звон, и зов, и звук
тобой разъяты:
в квадратном море
трусят волн квадраты.
Скажи, зачем ты предала круги!..

Людмила Щинахина



Самолету

Я люблю твой полет, самолет,
Алюминевый спутник прогресса!
Над полями, над кромою леса,
Над землей, где арктический лед
И колючих туманов завеса,
Так привычен и точен полет!
Я люблю эту страсть — улетать!
В белесые облака, как зимой,
Холодющий воздух глотать.
В неизведанных даях плутать.
Отдаленно парить над землею
И всегда приземления ждать.
Я люблю это чувство разлук.
Новизну. Перемену пейзажа.
И какую-то ветреность даже
в мимолетном прощании рук.
Я тоскую по жизни такой:
Под раскаты небесного грома!
И на плоскости аэродрома
Мне завиден недолюгий покой.
Самолет, я ловлю твою тень.
Я лицо подставляю зениту
И смотрю высоко и открыто,
Как тобой начинается день.

Семен Данилов



Переват
с якутского
Н. ФОНЯКОВ.

Дороги

По зеленой планете, прекрасной и трудной,
Пролетают дороги сквозь тундры и прерии.
Вот и я выхожу на большак многолюдный,
Превращаюсь в кровинку великой артерии.
То лечу я — участник неслыханных гонок —
Как стрела из легенды, со временем сбывшейся,
То, бывает, грущу, как грустит олененок,
От родного стада случайно отбившийся.
Но всегда, отовсюду я снова и снова
Прилечу повидаться с пенатами кровными.
После шумного мира — большого, цветного —
О, какими они вдруг покажутся скромными!
Глушь, Равнина. Лишь белые горы теснятся
У черты горизонта. Но как бы то ни было,
Здесь — и только! — мне сны мои лучше снятся.
На любимой земле, где родиться мне выпало!
Улыбаюсь аласу, очажному дыму,
Невысоким кустам, что к озерам склоняются...
Все дороги ведут к ним, как в древности —
к Риму,
Все дороги земные от них начинаются!

Молодости

В шумной столице, в любом захоластье
Жизнь не игра, как ее ни крон.
Вот почему я с улыбкой и грустью
Слушаю легкие песни твои.
Песня! Что может быть в мире чудесней!
Только от века во все времена
Счастье у жизни не выразишь песней —
Требуется горького пота она.
К трудным высотам ее от подножья
Не воспарить, не взбежить налегке.
Будут и холод и грязь бездорожья.
Будет поклажа в походном мешке.
Знаю, что многое будет по силам
И по плечу, несомненно, тебе,
Но поклонись для начала могилам
Павших за счастье в суровой борьбе!
Выдержишь ты — за тебя не боюсь я,
Всюду, где надо, пробьешь колени.
Знаю! И все же с улыбкой и грустью
Слушаю легкие песни твои.

Р
Сказве А?
неправа?



Еще в младших классах нам говорили, что в нашей стране полностью ликвидирована неграмотность. Это, конечно, правильно. У нас давно все умеют читать и писать. Более того, словарный запас у людей очень-очень большой. Но вот что странно: некоторые взрослые не знают, когда какие слова нужно употреблять, и поэтому получают довольно грустные вещи. Когда в одной кинокомедии герой корчит из себя образованного и говорит о своих чувствах к девушке: «У меня в голове такой водовил, аж мерси», — то это смешно, но когда ученик труда совершенно серьезно заявил, что «на двух следующих уроках мы будем заниматься экспортом мусора со школьного двора», то это уже совсем не смешно. Тем более, когда мы все засмеялись, думая, что он пошутил, учитель сказал, что мы «грандиозно невежественные люди, и пожаловался на нас классному руководителю. А один знакомый моих родителей, когда я ему об этом рассказывала, заметил, что о человеке надо судить по его труду. «Дорогая «Юность»! Разве хороший труд может быть оправданием элементарной неграмотности? Я считала, считала и буду считать, что это не так. В наше время, когда у людей такие возможности для учебы, быть неграмотным просто неприлично. Разве я неправа? Объявлю мне, пожалуйста! С уважением

СТРЕЛЬЦОВА Лариса, ученица 10-го класса.

Москва,

СТЫДНО БЫТЬ МИТРОФАНУШКОЙ

Соловая научной библиотеки. У людей, которые бывают здесь, — высшее образование. У многих — ученые звания и степени. К буфету подходит молодой человек, с иголкой одетый, по моде причёсанный, холерный. Жизнерадостно освещается у тех, кто стоит в очереди:

— Кто крайний?

Получив ответ, замечает знакомого и говорит:

— Уже покупал? А я еще не питался. Чего не звонишь? Ну, будь Днями звякну и заскочу! Передай привет супруге.

Распровавшись, он обратился ко мне:

— Сколько время?

Я ответила, но улыбки сдержать не смог. Уж очень комичным было противоречие между тем, как молодой «научный работник» выглядел, и тем, как говорил. Что ни фраза, то ошибка: лексическая, грамматическая, орфографическая, пунктуационная. Человек, замыкающий очередь, называется не «крайним», а

«последним». Распространенное представление, что слово «последний» в подобном и сходных случаях звучит обидно, — вздор! Его еще Чехов высмеял. Слово «кушать» носит отпечаток подобострастности. В слове «звонишь» — ударение не на первом, а на втором слове. «Передай привет» — вместо «передай», «звякну» — вместо «позвоню», «супруга» — вместо «жена» — характерные признаки малограмотной речи.

Молодой, холерный, довольный собою посетитель столовой для научных работников заметил мою улыбку. Он озабоченно проверил, не расстегнулись ли у него пуговицы, не съехал ли галстук, не растрепались ли волосы, нашел, что все в порядке, и удивленно поглядел на меня. Меня же насмешил не его облик (тут все было сама корректность), а речь. Речь, которая вопила о некультурности и наводила на грустные размышления о том, как он творит свои статьи, как пишет диссертацию, как — страшно подумать! — выступает на конференциях и симпозиумах, представляя, чего доброго, отечественную науку.

По тропе известной марморовой лестницы, которая ведет в научные залы, мы поднимались одновременно. Я гадала: в какой зал он направит свои стопы? В зал гуманитарных наук? (Это гуманитарий! Кто же он? Только бы не филолог! Ну, а если историк, философ, социолог, специалист — мне оскорбительным. Однако, оказавшись на педагогике? Любое из этих предположений казалось, мне оскорбительным. Однако, оказавшись специалистом в области технических наук, все равно стыдно.

Я забыла бы эту встречу, если бы знакомого машиниста не рассказывала мне доверительно, что у нее с некоторыми пор появились выгодные заказчики. Она берет с них вдвое, а то и втрое. Они не только охотно переплачивают, но еще и пылко благодарят ее, дарят цветы, шарикот ножкой. И есть за что! Она исправляет в их курсовых, дипломных и даже диссертационных работах орфографию, расставляет знаки, «причесывает» стиль.

Один из таких заказчиков, расплачиваясь, проникновенно сказал ей:

Категорическое вам спасибо! Внешняя форма работы играет теперь большое значение!

Самый бы он, с какой презрительностью и превосходством повторил его фразу эта женщина! По школьным лет она твердо знает, что «играть» можно «роль», но никак не «значение». Она привыкла, если не уверена, как писать, заглянуть в «Орфографический словарь» да в один-другой справочник, которые у нее всегда под рукой. Для ее заказчиков, нехитрые пособия — книги за семью печатями.

Как же ему не благодарить меня категорически, когда он пишет «координальная проблема», но зато «координировать»!

Возраст ее клиентов, которые не в ладах с грамматикой — от двадцати до сорока лет. Это значит, что для их малограмотности оправданий нет...

Мне приходилось в годы студенчества слушать многих прекрасных лекторов. Но мне часто вспоминается лектор, о котором этого никак не скажешь. Он был славный, добрый человек. Но как он говорил! Его изречения записывали и цитировали. Неравнодушный к мифологическим образам, наш лектор не в шутку, а всерьез объявлял, что некто вынужден заниматься «сизифов работой», имея в виду «сизифов труд». Он же находил, что у некоего общественного установления прошлого века было «чете ахиллесовы пятны». Помнил «гордеву петлю», подражая «гордеву узе!» Удверения в словах он расставлял фантастически. Трагикомическое косноязычие приоткрывало биографию: учение, которое

Владимир Рецендер



✱

Пусть весело тикают наши часы,
еще далеко до плохой полосы
и тысяча верст до разлада,
поэтому плакать не надо.

Удача пока еще в наших руках,
и с первым лучом отодвинется страх,
а если зовет электричка,
что сделаешь,— это привычка.

А новое что-то в ночи началось,
недаром пришел на окраину лось,
стучал по асфальту копытом,
напомнил о чем-то забытом...

✱

Веселым дьяволом вломиться в гости к вам,
веселым дьяволом, совсем не по делу,
смешить до хохота веселой чепухой...
Как жалко все-таки, что я шутник плохой!..

Затея с вами суету вокруг стола:
тарелки, рюмочки — прекрасные дела!
Стать щедрым, вежливым, изысканным
тамадой!..
Как жалко все-таки — уже немолодой!..

Веселым дьяволом с гитарой под рукой
смутиль ваш призрачный, наигранный покой.
Прощаться за полночь в прихожей

пять минут,
пускай вас в комнате другие гости ждут...

Веселым дьяволом похитить вас у всех,
чтоб ваш таинственный лишь мне достался смех!

И по окраине бродяжить до утра,
скрывая разницу — где правда, где игра!..

✱

Присядь на колени ко мне,
как Саския, влобоборота,
посмотрим, как тихо в окне
плывут облака без расчета

на вечность... И пусть облакам
на миг мы увидимся сами
без мук, с грехом пополам,
сквозь пыль в нераспахнутой раме...

✱

Мне снилось, что не брошено письмо
и не совершены в сердцах поступки,
из-за которых нас толкло, как в ступке;
что зеркало глядит в себя само —

в нем не отражены следы разлома
и нет ни ожидания, ни тоски;
а мы с тобой, как в юности близки,
без обязательств, денег и без дома...

Улыбка на губах, и невдомек,
что впереди такая переписка,
и двадцать лет в минуту, и так близко
сон, вывернувший время, как чулок...

✱

Оставь меня на крайний случай,
когда судьба тяжелой тучей
взойдет над светлой головой
и будешь знать, что я живой...

Оставь меня на крайний случай,
на самый крайний, неминуемый,
на край, на гибельный конец,
и голос твой, как твой гонец,
проникнет в бедные пределы
мой, а воздух поредевший
позволит мне дойти, домчать,
чтоб вызволять и выручать...

И я тебя на самый крайний
приберегу и кликну втайне,
и — назову или во сне —
и ты потянешься ко мне...

✱

Ты заметил, как чайка сварлива,
как ворона картава и зла!
Как мотаются возле залива,
как холеные носят тела!

Как нахальны и как беспардонны!
Как уверены в праве на крик!
Ах, и ты потерпел от вороны!!
К этой чайке и ты не привык!!

Вон одна загорает у лодки,
а другая глядит в небеса...
Да, конечно, конечно, красотики!!
Голоса выдают, голоса...

✱

Памяти Е. М. Грановской.

Актриса пела песни Беранже.
Она была богата и прекрасна,
поклонниками управляла властно:
тот — по душе, а тот — не по душе...

Актриса знала тайны ремесла,
умела быть французской, испанкой...
Нет, жизнь не обернулась к ней изнанкой,
но молодость и славу унесла...

Старушка выходила посидеть
на венском стуле в театральный дворик
закутанная, в валенках... И горек,
казалось, день ее: ведь рядом смсрть!

Но сколько было мужества в душе,
что, говоря о гибели без боли,
она смеялась, будто с пресной роли,
и напевала песни Беранже...

**Александр
ДАНИЛОВ**



Среди боевых товарищей он просылал чрезвычайно везучим человеком. В батарее о нем говорили, что он родился в рубашке. Слухи о его находчивости и неуязвимости вышли за пределы дивизиона. Эта его репутация особенно окрепла во время штурма Великих Лук, когда две его стовдвдцатидвухмиллиметровые гаубицы в течение трех с лишним недель вели огонь прямой наводкой, ни разу не сменив позиции. Бывало, по двум его гаубицам по несколько часов кряду работало до трех минометных батарей. Был и вовсе редкий случай, когда против двух его гаубиц немцы подащали на прямую наводку две зенитки, но он сумел одну зенитку подавить, а вторую немцы поспешили оттащить с открытой позиции.

Под огнем он работал исключительно хладнокровно и изобретательно. Когда в дивизии рассказывали о том, что один парень умудрился втащить свою двухтонную гаубицу в церковь и оттуда несколько часов методично уничтожал огневые точки передней линии немецкой обороны, не давая немцам поднять головы, — это совсем уже было похоже на солдатскую легенду. Тем не менее это был, как говорится, голый факт и можно вполне конкретно указать, где именно это было: деревня Шараново под Великими Луками, которую немцы хорошо укрепили и за которую шли очень тяжелые бои.

Сам он был одержим верой в то, что его не убьют. На войне эта вера молчаливая. О ней не принято говорить вслух. Он сказал однажды и увидел, как смутились бывалые солдаты. Одержимых убивают чаще — это тоже относится к бытовым истинам войны. Он открыто бросил вызов всем богам войны. Именно после этого — осенью сорок второго и в особенности зимой сорок третьего года — последовали затяжные тяжелые бои в районе Великих Лук, большую часть которых он провел на позициях

ИСПЫТАНИЕ

прямой наводки. Боги войны его вызов не приняли: из этих боев он вышел без единой царапины.

Его мина была не та, что попала в дух шагах от него в ровик у Запорожского шоссе в августе сорок первого года. И не та, что разорвала его грудь осколками под Рамушевым весной сорок второго года. И не та, что разбила его гаубицу под Новоскольниками зимой сорок третьего года. Среди сотен мин, которые неделями искали его на открытых позициях, его мины тоже не оказалось. Его мина вообще его не искала. Он нашел ее сам.

Ему надо было присмотреть место для будущего капонира, в котором мог бы стоять тягач-«студебеккер», и он решил в качестве котлована использовать гаубочную воронку. Он нашел такую воронку в лесу под Новоскольниками недалеко от позиций батарей. Подумал: повезло. Спустился по заснеженному откосу и стал пробовать лопаткой дно. Раздался сильный взрыв.

Это было 23 марта сорок третьего года.



Наш рассказ — это рассказ о судьбе бойца. И пусть короткая справка о фронтовом прошлом бывшего артиллерийского сержанта Анатолия Покрыта будет прологом к этому рассказу.

II

«Я долго падал. Мне казалось, что я падаю. Но куда я мог падать? Вероятно, меня выбросило из воронки. Я сразу вскочил на ноги и снова, как под Новосколяниками, подумал: «Цел!» Ощутил тело руками — цел! Боли не ощущал. Тут же сообразил, что ничего не вижу. Засорило глаза. Раздвинул веки пальцами — ничего не вижу. Кто-то набросил мне платок на глаза. Кому-то я отдал свой пистолет. Меня взяли под руки и куда-то повели. Платок пах бензином».

Потом — Великие Луки, Калинин, Иваново. В Иваново сделали первую операцию: вставили распорки и иглой выковыривали из роговца песок, землю, пороховники. Результата не было.

В конце июля стали прибывать раненые с Курской дуги. Госпиталь быстро переполнялся. «Вас надо выписывать», — однажды после осмотра сказала ему военврач. «Куда?» «Ну, куда же тебя, родной, выпишешь? Только в дом инвалида...»

Покрытан отказался наотрез.

Снова санитарный поезд. Везли долго. Потом объявили, что поезд прибыл в Иркутск. Покрытан понял, что это его конечный пункт.

Позднее, когда он принял свою новую реальность как неизбежное, он понял, что в первые недели и месяцы после ранения еще пытался жить по законам человека зрячего. Все, что произошло с ним, считал он, означало лишь, что мир сжался до масштаба отгнтовой позиции. Возле орудия он бы не ошибиться. Конечно, командовать отгнвным взводом ему уже не под силам, но быть заряжающим или подносчиком — вполне. Падо только добраться до батареи.

Он совершил побег из госпитали. Товарищ по госпиталю проводил его на вокзал и помог проникнуть в вагон. Однако при первой же проверке документов его обнаружили, сняли с поезда, да еще и долго выговаривали за то, что отгнвает от дела занятых людей...

Некоторое время он еще не оставлял мыслей о второй попытке. Его прежняя жизнь была еще слишком близка. Она сохранялась в привычках и ощущениях, его мышление по-прежнему опиралось на зрительные образы, которые хранила его память.

Однако же его жизнью уже управляют другие законы. Это проявлялось в том, что привычка к действию вытеснялась в нем привычкой к размышлению. Некоторое время он себе в этом отчета не отдавал и не думал о том, что перемена эта качественная. Все его размышления по-прежнему были направлены на обдумывание действия, которое прежде всего имело для него смысл физического перемещения в пространстве. Но однажды он понял, что дело не в тактических просчетах. Дело в том, что он уже не может относить себя к массе людей живущих, работающих, воюющих, читающих, населяющих...

Он понял это не сразу потому, что ни одному здоровому человеку такое не может прийти в голову. Он понял, что порвана самая прочная связь, соединяющая любого живущего человека с другими, с миром — тем миром, который есть сама жизнь.

Это была настолько простая и горькая истина, что поначалу он не хотел верить в нее. Сначала он постиг это умом, но затем настал неизбежный момент переживания, и он сразу ощутил разрыв между своим настоящим и прошлым. Он почувствовал, что на-

дает в бездонную пропасть, что даже разбиться ему не суждено — он будет падать всю жизнь. Десятилетиями стареть, четыре раза в год ощущать смену времен, питать себя воспоминаниями двадцати трех прожитых лет и, наконец, дожить до того часа, когда прожитое уже не будет тревожить.

Все рухнуло в один день. Отчаяние сменялось апатией, полнейшим безразличием ко всему и вялостью. Он ушел в это состояние и напоминал им беспечного. В те дни он ничего не знал о целостном смысле отчаяния, не знал, что подобное состояние может пробудить слух, которая всегда таилась в нем и была ему неведома. И что эта слух обнаруживается замедленно, тяжело и надрывно, и надо оказаться в крайней ситуации, чтобы природа сама бросила на чашу весов твой последний резерв. Крайней ситуацией он привык считать фронт. Для себя — войны с открытыми позициями. В той ситуации все складывалось: пока ты был жив — ты был с людьми, а если ты не мог быть с людьми, то и сожалеть уже ни о чем не мог. Мертвые не сожалели. Других вариантов он в расчет не принимал, во всяком случае для себя не представлял ничего, кроме жизни или смерти, а смерть научился исключать с неопосредованным упорством. Но оказалась возможной еще одна ситуация — промежуточная, — о чем он никогда не думал. Он никогда не думал, что можно быть вырванным из жизни и не быть мертвым. И что из этой зоны нет ходу ни вперед, ни назад.

III

В свои двадцать три года Покрытан определил свою ситуацию как полную неспособность действовать и понял, что долговременное физическое существование в бездействии — раздвигает его. Если впоследствии он когда-нибудь говорил, что за время, проведенное в госпитали, он передумал в с е, то он был абсолютно точен как человек, полностью отдавший себе отчет о своем положении.

Отныне он не мог себе больше питать иллюзорных надежд и строить планы, которых он не в силах осуществить. Любую мысль, которая несла какое-то утешение, он подвергал сомнениям, чтобы впоследствии не распахиваться за ошибку. Он себя не торопил. Единственным, чем он располагал в бытке, — это временем.

Он погружался в такие глубины сомнений, откуда, казалось, невозможно выбраться. Такое может себе позволить только тот, кому нечего терять. Такое можно позволить себе неосознанно, но в тысячу раз труднее позволить себе также сознательно. Он прешел этот потаенный путь. Уже летом сорок третьего года в этом — пока еще стихийно — начала проявляться его воля. В последующие годы ему приходилось укреплять ее, восстанавливать, тренировать и беспрерывно — беспрерывно! — подвергать ее новым и новым изощренным испытаниям. Но зато каждый вывод, к которому он приходил, становился частью жизненной программы, пересмотр которой исключался раз и навсегда. Категоричность его формулировок вовсе не была случайной. Он стал собирать истин, которые, как он считал, имели смысл только для него самого. Пришло решение: «Надо где-то учиться. Чему — не важно. Важно войти в какой процесс».

Он втягивался в нелепое соревнование на марафонской дистанции, где от него потребовалось быть выносливее, выносливее сил, чем от любого подготовленного марафонца. А таким «марафонцем» рядом с ним был каждый здоровый человек.

В иркутском госпитале он услышал, что в Ленинграде, в институте Герцена, вроде бы создана специальная группа, в которой обучают людей, потеряв-



Таким Анатолий Покрытан встретил войну.

ших зрение. Проверить это наверняка Покрытан не мог и потому решил посоветоваться с начальником госпиталя.

IV

3 а два года войны начальник госпиталя повидал уже сотни людей, в жизни которых этот госпиталь играл роль некой поворотной точки. Здесь людей все еще объединяло чувство фронтовой общности, здесь они все еще чувствовали себя солдатами, и многим это помогало на первых порах переживать свою беду. И здесь же происходили молчаливые драмы и трагедии, здесь, наконец, наступала полная ясность — каждый постигал, что такое его реальность, одна-единственная, потому что у каждого она была своя. Этот процесс совершался на глазах, зачастую отодвигая лечебную работу как бы во второй ряд.

Начальник госпиталя слушал сержанта-артиллериста и думал о том, что в каждом подобном случае он никогда не знает, как ему себя вести. Либо сейчас надо поддержать еще одну неистовую надежду — во что сам он ни на минуту не верил, — либо каким-то образом разрушить эту надежду сразу, чтобы потом, когда этот парень окажется бог знает где, его бы не постигло разочарование, с которым человек справиться не в силах. Тут речь шла о пределах человека, конкретно того человека, который пришел к нему за советом. Но откуда он мог знать, где эти пределы? Начальник госпиталя слушал и молчал. А потом, когда сержант закончил, сказал так, будто и не слышал ничего:

— Где расположена четырнадцатая палата, знаешь? Сходи туда, найди Иванова и поговори с ним.

И Покрытан, который не знал никакого Иванова и вообще говорил совсем о другом, с недоумением отправился искать четырнадцатую палату.

Это была самая большая палата в госпитале — коек на тридцать. В ней лежали люди, по собственному выражению Покрытана, «до конца осознавшие, что они такое».

Он нашел палату и остановился в дверях.

— Иванов! Есть тут Иванов?

— Есть, — раздалось из глубины. — Кому я понадобился?

— Мне, — автоматически ответил Покрытан.

«Мне» должно было прозвучать странно, но Иванов не обратил на это внимания.

— Иди сюда, — сказал этот Иванов спокойно.

— Куда «сюда»? — удивился Покрытан. — Я не вижу.

У Покрытана, по свидетельству врачей, левый глаз сохранил один процент зрения, то есть он различал день и ночь. Мог «увидеть» на фоне белой стены человека в черном костюме — точнее, пятно. Всплеск при ярком солнце позволял различать вид собственной тени и даже пытался использовать это для ориентации. Но в тот день, когда он впервые вошел в четырнадцатую палату, он сам еще не подозревал, до какой степени беспомощен.

Лейтенант Николай Иванов был ранен в Сталинграде осколком немецкой гранаты. Осколок пробил обе височные кости. Миллиметр определял судьбу лейтенанта. Николай остался жив, но наслышался глаз. Услышав, что у Покрытана один процент зрения, лейтенант присвистнул:

— Ну, брат, ты же зрячий человек!

И уверенно приказал:

— Будешь у меня поводырем.

Кое-как добравшись до койки Иванова, Покрытан был изумлен, нащупав какие-то бумаги, картон и даже целые книги. Вся койка была завалена этим, и Николай поспешно предупредил:

— Осторожнее, а то ты мне так все перемешаешь, что я потом за месяц не разберу...

— Что это ты делаешь? — удивился Покрытан.

— Читаю!

— Что читаешь?

— Дай руку.

Сначала Покрытан ничего не ощутил на шероховатом картоне, но потом нащупал одну точку, другую — весь лист был испещрен едва осязаемыми точками.

— Я тебе сейчас напишу азбуку. Через два дня придет ко мне — сдашь, — сказал Николай.

Так Покрытан узнал о существовании точечной системы Брайля.

V

Они решили остаться в Иркутске. Дождавшись дня, когда в госпитале меняли белье, надели чистые пижамы, тапочки и отправились в пединститут. Покрытан шел впереди и держал Иванова за руку.

Они шли, шли, и Покрытан почувствовал, как промывают тапочки. Обращаться к прохожим, спрашивать дорогу они не решались. Покрытан напряженно размышлял, Иванов молчал и терпеливо ждал. Наконец Покрытан решился и пошел напролом. Тотчас же они оказались по колено в воде — очевидно, лужа попала на необозримая. Николай не проронив ни слова, по-прежнему терпеливо шел следом.

Тот первый маршрут из госпиталя в институт запомнился Покрытану как самый долгий маршрут в его жизни.

Директор оказался на месте. Поговорили. «Хорошо, ребята, — сказал директор, — хотите учиться — будете

учиться». Им выдали справки о том, что они зачислены на первый курс.

В ту пору в институте учебный год начинался в октябре. Иванов выписался из госпитала раньше, перебрался в общежитие и «забил» койку для Покрытана. Покрытан в оставшиеся месяцы усиленно готовился — старался натренировать руку. Диктанты ему «закатывал» сосед по койке Василий Голубицкий. На фронте Голубицкий потерял зрение и обе руки. Покрытан знал, что Голубицкий был сапером, и потому ему ни разу не пришло в голову поинтересоваться, чем Голубицкий занимался до войны. А Голубицкий до войны где-то на Алтае преподавал русский язык. И когда Покрытан вернулся из города и объявил, что отныне он студент пединститута, что то внезапно изменилось вокруг. Какая-то незримая стена прошла сквозь каждого. Тогда и выяснилось, что изученный сапер Вася Голубицкий поспе не сапер. Не сапер! Вася Голубицкий — учитель русского языка... Свой первый диктант Покрытан запомнил на всю жизнь. Тишина стояла в палате. Такая тишина, будто не один Покрытан, а все они, кто там был, старательно выдвигали точки на картоне. И в этой тишине слышались лишь голоса Васи Голубицкого — негромкий, строгий, внезапно ставший незнакомым голос: «Проказница мартышка, осел, козел да козослапый мишка затеяли сыграть квартет...»

VI

В первые недели их выручала память. Но объем знаний нарастал, как снежный ком, а они вели счет на абзацы. Оба не владели системой Брайля в совершенстве, оба изнемогали от бесплодных попыток угадать за своими соскурниками, оба были не в состоянии хоть чем-то помочь друг другу. Покрытан впал в отчаяние. Коля Иванов, привыкший все проблемы решать одним махом, злился, немилосердно ругал себя и Покрытана, и того неизвестного немца, одного из сотен, которому однажды удалось опередить его, Николая, и бросить гранату на несколько секунд раньше. И вслед за этим он снова принимался за себя и Покрытана...

И Покрытан форсировал развитие памяти. Придумывал всякие упражнения. Память была ему и конспектом, и учебником, и библиотекой. Часто ему казалось, что наступает предел: память не выдерживала нагрузки. Он метался в поисках иных вариантов. Иных вариантов не было.

Накануне своей первой сессии — зимней сессии сорок четвертого года — он почувствовал, что никогда еще не стоял на пороге столь серьезного испытания. Первым экзаменом он сдавал традиционный для гуманитариев курс «Введение в языкознание».

Профессора Копержковского переживания студентов не интересовали. Профессор не обратил никакого внимания на то, что сидящий перед ним студент — Покрытан. Он спрашивал бесконечно долго, наверное, целый час. Это было правильно, считал Покрытан и за это был благодарен профессору. Но все же пятачка ошеломила его. Он «обтывала» пятачку Копержковского несколько дней и так и «так», стараясь понять, заслуженная она или нет. Ему нужна была точность оценки, прежде всего точность. Оценка была ему единственным ориентиром. Речь шла даже не о знаниях — речь шла о том, как ему вообще распределить свои силы. Он понимал, что люди не беспристрастны и что профессор поспе не каменный, а значит, неумышленно мог нагнуть лишней бал. Вообще-то Покрытан не всегда был справедливым к людям, относившимся к нему с сочувствием. Он знал это, но позволяя себе быть несправедливым, ибо полагал, что за сочувствием часто кроет-

ся жалость, а жалость он возненавидел в тот день, когда впервые в ивановском госпитале услышал сострадательное: «Куда же тебя, родной, выпихнешь...» Однако же авторитет профессора был чрезвычайный — высок, и Покрытан в конце концов «сбалансировал» пятачку. По этому поводу они с Николаем устроили праздник. Но вскоре произошло событие, которое едва ли не стоило Покрытану всех его побед.

Факультет получил возможность выдвинуть двух студентов на именную стипендию. Сейчас просто бессмысленно говорить о том, чем была именная стипендия для студентов сорок четвертого года. Вопрос решался самым демократическим путем на общефакультетском собрании студентов. Но предложению профессора Копержковского, одну из двух стипендий отдать! Покрытану.

Назад, в общежитие, Покрытан шел огулешенный. Первые за полгода их дружки не он вел Николая в общежитие, а Николай вел его.

Все полетело к черту: и полученная пятачка и месяцы дьявольской работы. Значит, Копержковский все-таки обратил внимание на то, что сидящий перед ним студент — Покрытан. Значит, он, Покрытан, все-таки обманулся в своем доверии к авторитету профессора. И, значит, все его труды стоят в лучшем случае тройки, а может, и тройки не стоят? Как он сможет это узнать? Как он сможет вообще узнавать, чего стоит его работа, его знания, он сам в конце концов? Он все время думал о том, как отнестись к внешнему миру. Но он ни разу не подумал, что внешний мир всегда по-своему будет относиться к нему и что ему всегда придется делать поправки на это встречное отношение к себе...

Николай ликовал. Николай не хотел или не мог понять его и, кажется, впервые не верил ему. Покрытан снова почувствовал подавляющее его изнутри одиночество. Общая беда сблизилась и сдружила их. На этой общности они хотели построить и общую жизнь. Но у таких разных от природы натур не могло быть общей жизни. Да и существует ли она вообще? У каждого человека жизнь своя. В этом отношении неповторимая индивидуальность человеческой личности — наиболее существенный фактор, более существенный, чем общее несчастье.

Николай радовался. Покрытан думал о новом неожиданном препятствии.

Николай расслаблялся. Покрытан сжимался, как пружина: слишком большая дистанция лежала между ними.

VII

После второго курса Покрытан переехал в Одессу и продолжал учиться в Одесском педагогическом институте. В сорок седьмом году он успешно окончил институт и стал устраиваться на работу. В сорок седьмом году он понял, что учитель без зрения — это не учитель. Конкретней — что слепой учитель не нужен.

У него вошло в привычку по вечерам анализировать прошедший день. Понятия зрительной памяти для него не существовало. Прожитое, до мелочей, откладывалось в памяти ощущений. Эта память, на которую работали слух и осязание, была беспощадной — она не знала избирательности, она не знала отдыха, ей не на что было переключиться. Она перемалывала все.

По вечерам он вспоминал людей, с которыми днем вел официальные разговоры.

Официальный разговор потому и официальный, что предполагает короткий контакт с целью обмена направленной информацией. Вряд ли хоть одно должностное лицо из тех, с кем приходилось в те дни

разговаривать. Покрытану, думало о том, сколько сведений о себе оно дает этому человеку. И уж, конечно, ни одному из них не пришло в голову, что веками отработанные приемы и методы ведения официального разговора не столько скрывают, сколько подчеркивают индивидуальные стороны человеческой натуры. Никто из них не подозревал, до какой степени натренировано и обострено восприятие человека, который от порога делал несколько изверженных шагов к рабочему столу и спокойно задавал свой вопрос, словно заранее зная, что он услышит в ответ.

Он сразу информировал их своим неумелым перемещением в мире вещей, позволяя им связать причины и следствия, которые для них были по алой информации о нем. Они сразу предполагали, что знают о нем все — их обманывало зрение! — и потому им оставалось только скрыть свое сочувствие (если оно возникало) и объявить свой вывод в форму вежливого официального отказа. И он, прекрасно понимая примитивный ход их рассуждений, действительно был заранее готов к отказу, ибо он имел дело с людьми заурядными, обладающими стандартным восприятием и стандартным мышлением. Ему надо было наскочить на человека незаурядного, но это такая редкость!

В конце концов можно было рассматривать и на обыкновенное сочувствие, которое в каком-то одном человеке вдруг окажется сильнее всех сложившихся в нем чиновничьих стереотипов и заставит того человека поступить не правильно, то есть принять Покрытана на работу. В этом расчете на сочувствие Покрытан видел отход от ранее принятых им жизненных позиций. Отход чисто тактический. Тем не менее Покрытан не сразу на это решался.

Поначалу он пытался доказывать, спорить, ругаться, то есть вел себя так, как и должен вести себя человек, изыскивая за правило жить на равных с остальными. Но так как это ни к чему не приводило, он понял, что на сей раз дело не в нем. Осталось только рассчитывать на человеческую слабость, на сочувствие.

...По вечерам он давал себе всего лишь поразмышлять об этом. Это было отдыхом. На что то надо было перескочиться, чтобы с утра делать очередную попытку.

Каждый вечер, перед тем как лечь спать, он говорил себе то же, что привыкла говорить себе героиня известного романа, которой в жизни выпало больше испытаний, чем может их выпсть на долю одного человека. Тяготы каждого дня — если мысленно представить их все сразу — могли бы гнать мысль о тщетности всяческих усилий, и поэтому героиня романа каждый вечер произносила одну фразу: «Об этом я успею подумать завтра». Покрытан никогда не читал этого романа, ничего не знал о той героине, но мысленно придерживался того же правила. В этом выражалась стихийная философия предела, когда человек живет одним днем, живет в постоянном напряжении всех своих сил и каждую минуту знает, что рассчитывать может только на то, чем он располагает именно в эту минуту.

Один резерв у него все-таки был. Он не думал о нем почти пять лет. Впрочем, это нельзя было считать резервом. Это был путь отступления. После пяти лет борьбы он оставил позиции. Он стал искать работу в обществе слепых.

Он опять сидел в каком-то кабинете и заполнял анкету. Кажется, в этой артели делали булавки.

Впервые его ни о чем не расспрашивали из вежливости для того, чтобы была видимость разговора, и видимость размышления, и видимость колебания перед тем, как сказать заранее решенное «нет». Он пришел устраиваться на работу, и ему дали заполнить анкету. Он примкнул к своей общине, от кото-

рой так долго отказывался и к которой вернулся, как блудный сын, изведавший тщету скитания.

Здесь были свои гении, свои ремесленники и свои неудачники. Здесь была своя система жизненных ценностей, которую он почувствовал сразу.

Он заполнил анкету и двинул ее на другой край стола. Привычно, не особенно удивляясь в содержание, начальник отдела кадров пробежал ее взглядом, споткнулся на чем-то, прочитал еще и еще раз.

— У нас высшее образование? — как-то не слышном уверенно спросил он. Покрытан отметил эту неуверенность, но совсем понимая, чем она вызвана.

— Высшее образование... — растерянно пробормотал начальник.

Покрытан возвращался в свою комнату, невесело усмехаясь. «Не можем... С высшим образованием не имеем права...» «Поймите, у нас будут неприятности...» Понятно, конечно... Не так трудно понять, усмехался Покрытан. Нет, он вовсе не хотел доставлять неприятности начальнику отдела кадров. Правда, Покрытан никогда не знал, что человек с высшим образованием, оказывается, не может делать булавок. Это категорически исключено. Просто невозможно. Лорд может есть из глянцовой посуды. Граф — пахать сохой. Это их разнуданная прихоть. С этим окончено. Человек с высшим образованием не может делать булавки, спички, карандаши. Он не может быть шофером, кондуктором, почтальоном, токарем, слесарем, служителем в зоопарке. Но шофер, кондуктор, почтальон, токарь, слесарь, служащий в зоопарке могут получать высшее образование. Пожалуйста. Туда — да. Обратно — нет. Невозможно...

До поры до времени Покрытан думал, что человека в его стремлениях может ограничить болезнь. Ранение. Сложная житейская ситуация. Смерть, в конце концов. Теперь же к этому прибавилось еще высшее образование... Правда, иногда высшее образование трудно реализовать. А иногда от него никому нет никакого проку — бывает же, что человек ошибся в выборе профессии и мается только потому, что получила не тот диплом. Или потому, что вообще получила диплом. А что делать с жизненным опытом, который заранее не приобретишь? А он между тем корректирует жизнь человека, даже получившего высшее образование. Что это такое?!

Непостижимая логика о несовместимости высшего образования и производства булавок занимала его на всем обратном пути к обществу. Бог знает от чего иной раз человека может уберечь чувство юмора и бесценная привычка находить удовольствие в размышлении!

VIII

После неудачной попытки устроиться в общество слепых Покрытан почти не покидал своей комнаты. Он предавался мрачным раздумьям, стал раздражителем, избегал друзей. Время шло, он ничего не мог придумать и все больше и больше замыкался в себе.

Тому, кто мыслит — надо излагать свои мысли.

Тому, кто пишет — надо печататься.

Тому, кто стал учителем — надо растить учеников. Лишнее мыслящего возможности излагать мысли, пишущего — возможности печататься, актера — сцену, учителя — учеников и вы не просто осложните человеку жизнь, вы поставите вопрос о его физическом существовании. Такова роль обратной связи для всего живого в природе. Такова же она и в обществе. Если в этом механизме что-то нарушается, человек попадает в замкнутое состояние, разрушительная сила которого огромна. Развитой трениро-

важный ум ищет этому состоянию объяснение и не находит его потому, что уже обращен внутрь себя, обращен как раз в тот момент, когда единственное спасение — выход на контакт с внешним миром. Остальное — мысли о бесполезности накапливать знания, о тщетности попыток что-то доказывать кому бы то ни было, даже себе, об эфемерности аргументов...

В тот период Покрытан стал хуже себя чувствовать. Нет более тесной и изнурительной нагрузки, чем привычное стремление мыслить, мыслить вообще, без всякой конкретной цели и меры, перемалывать и перемалывать материал жизни, никак не соединяя его, не отбирая и не умея ничем от него заслониться.

Он часто ложился и подолгу лежал, не шевелясь и не меняя позы. Засыпал, но сон его был недолг и неглубок. А когда просыпался, все начиналось заново, с нарастающей силой, и уже сон не давал ему кратких промежуточных отдух. Одна фраза, слышанная им когда-то, долго держалась в его памяти. «Я решительно не могу предположить ситуации, когда умный человек не мог бы найти себе занятия». Эта фраза или другая, очень похожая на эту, занимала его некоторое время. Он пытался вспомнить, кто мог написать это и в какую ситуацию мог попасть человек, сохранивший веру в себя и не пожелавший объяснить эту веру публично. Он пытался сделать эту чужую веру своей и часами думал о том, чем бы еще он мог заняться в жизни, чтобы это занятие могло кормить и все-таки было бы любимым занятием. Но нельзя стать сильным чужой верой. Очень скоро он ее лишился и только острее почувствовал тяжесть своего положения. В таком состоянии его и застала бывшая сокурсница.

— Я слышала, ты ищешь работу, — запросто сказала она, словно не замечая, в каком он настроении.

— Да, — сказал Покрытан.

— Я могу тебе помочь.

— Помогли, — сказал Покрытан.

— В учетно-кредитном техникуме нужен преподаватель политэкономики. У меня полторы ставки. Я могу уступить тебе полставку.

Покрытан улыбнулся. Если б дело было в том, чтобы найти ставку или полставку...

— Ну, вот что, — сказала она, — завтра пойдем к директору разговаривать. Только он не должен знать, что ты не видишь.

Покрытан развел руками. Но она была готова идти к цели напролом. И он, привыкший все делать самостоятельно и сделавший из этого свое жизненное правило, даром подчинился ей с неожиданной легкостью, не желая больше думать и рассуждать. И они пошли.

Она разговаривала, а он сидел слегка отвернувшись, с тем отрешенным видом, с каким и должен сидеть молодой специалист, подающий надежды, но еще не слишком уверенный в своих силах. Скромность и сдержанность Покрытана произвели неплохое впечатление. Он был зачислен на полставки в штат сотрудников техникума.

О том, что Покрытан не видит, директор не догадался.

Покрытан понимал, что долго держать в неведении своих коллег и студентов не сможет. Да ему и не надо было держать их в неведении долго. Важно было, чтобы к нему привыкли и перестали смотреть на него, как на человека нового или, что еще хуже, случайного. И, как часто бывает в подобных ситуациях, подвела его мелочь. Пустяк.

Когда его вызвал к себе заведующий учебной частью, он еще не знал, о чем пойдет речь. Но как только вошел в кабинет и почувствовал дыхание за-

ведующего на своем лице, он с тоской подумал, что настала минута неизбежного объяснения.

— Я вот сейчас сознательно сел к вам поближе, — начал заведующий с вызовом, — а... запаха спиртного — не чувствую, — с удивлением закончил он.

Покрытана затрясло от смеха. Он был готов ко всему, но не к такому повороту темы.

Заведующий истолковал реакцию Покрытана по-своему. Обиделся и повысил голос:

— Странно как-то поводится... Я видел, как вы не раз пытались выровнять свою... гм... походку... Как вы заделали плечом пещку и едва устояли на ногах... И это в коридоре, где всегда полно студентов. Может быть, вы объясните мне? Я думаю, что вы выпиваете, но... не чувствую запаха... Так почему же?

Проклятая пещка! Когда он впервые зацепил ее, он решил отсчитать шаги, чтобы знать расстояние иверняка. Но в коридоре всегда была люда, и он не стал заниматься этим на глазах у всех. Об этой пещке он вспоминал каждый раз, когда толкался в нее плечом — она была окрашена под цвет стен и совершенно для него неразличима. Так почему ж от него не пахнет водкой?

— Я видите ли, не вижу.

— Как? То есть... как не видите?

— То есть, — раздельно выговаривая слова, отвечал Покрытан, — не вижу я этой проклятой пещки, пока не стукнусь о нее!

— Ради бога... извините меня... совершенно не предполагал...

Заведующий был ошеломлен.

— Да, — подтвердил Покрытан.

— Помыслил не мог...

Но именно потому, что теперь заведующий учебной частью знал все, Покрытан первым пошел к директору. Он уже многоту был научен.

Его оставил в техникуме. Как преподаватель он уже успел себя зарекомендовать.

IX

Покрытан работал в техникуме и продолжал заниматься трудоустройством: полставки — это всего полставки. В конце концов в своем же педагогическом институте его утвердили ассистентом на кафедре политэкономики, но обстоятельства сложились так, что он сразу начал читать курс лекций для студентов четвертого курса. Впоследствии обком партии дополнительно направил его читать лекции в строительный институт. Экономисты — или, как тогда говорили, «политэкономов» — в ту пору в вузах города не хватало. Таким образом, в очередной раз без его вмешательства свершился выбор его дальнейшей судьбы. Он принял этот путь как окончательный. Он стал экономистом. Сделавшись преподавателем вуза, Покрытан понял, что его багажа знаний ему хватит ненадолго. Перед ним открылся путь, идти по которому можно до бесконечности. И на этом пути сильнейшим был тот, кто в течение жизни успевал пройти дальше других. Это был великий к вершинам профессионального труда, и тут Великий Учитель Брайль уже ничем не мог помочь ему.

X

В Одессе есть Староконный рынок. Там продают всё. Покрытан был на Староконном рынке двадцать пять лет назад. Двадцать пять лет назад Покрытан приобрел на рынке лулу. Лула была уверистая и, значит, хорошая: по-другому он оценить ее не мог — он поднес ее к своему «зрячему» глазу и ничего не увидел. Но расстаться с ней не захотел, и лула перекочевала в его комнату.

Как уже говорилось, левый глаз Покрытана сохранил один процент зрения. Покрытан купил лупу после того, как принял решение заставить этот процент работать. Вопрос о том, возможно ли это вообще, Покрытаном не анализировался в силу безусловной праздности такого вопроса.

Вернувшись с рынка, он сел к окну, залитому солнцем, положил перед собой текст, достал лупу и стал постепенно напрягаться. Он не пытался сразу же напрягать зрение. Он напрягал тело, постепенно подводя напряжение к глазным мышцам. И в тот момент, когда глаз заволокло слезой, он успел заметить печатный знак. Как насекомое — мелькнула и тут же пропала буква. Была смыта слезой. Одинаединственная. Он даже не успел увидеть, какая это была буква. Но это была буква, а не пятно: у нее были очертания.

Он долго отдыхал. Он отдыхал как штампист, сделавший неудачную попытку взять рекордный вес.

Со второй попытки он рассмотрел букву. И снова ее размыло слезой. Но он уже успел ее запомнить. Снова отдыхал не менее четверти часа. Ломно все тело, будто он и впрямь работал с тяжестью. Потом он еще раз увидел букву и больше в тот день не работал.

За весь следующий день он прочитал одно предположение.

Когда он одолел несколько десятков страниц, сложив их из букв, он почувствовал, как постепенно погружается в дотолу не известный ему мир подлинного исследования и понял, что теперь в его жизни не будет никакой другой работы и что никакой другой работы ему не надо. Он обрел самую сильную страсть, которую, может быть, можно сравнить только со страстью жить. Он по-прежнему читал студентам лекции, но теперь это шло привычно, как бы само собой. Освободившись от дел, которые для большинства из нас являются работой, требующей ежедневного напряжения и воспитывающей в нас уважение к себе,—освободившись от этого, он садился за стол и занимался своей работой. Он болея, чувствовал, как истощаются его физические силы, понимал, что в любой день может доработаться до кровоизлияния, но его один процент уже повиновался ему. Остальное было делом его выносливости.

XI

К концу сорок девятого года Покрытан сдал кандидатский минимум по психитэкономии. В пятидесятом году при Киевском университете открылся институт повышения квалификации преподавателей вузов. Сейчас в подобных заведениях занятия длятся пять-шесть месяцев. Тогда — год. Институт набирал две группы. Первая — более многочисленная — состояла из тех, кто ставил своей задачей сдачу кандидатского минимума. Второй была группа диссертантов. За год надо было написать диссертацию и защититься.

В то время в Одессе с ее шестнадцатью вузами от силы набралось бы пять-шесть кандидатов экономических наук. Отбор желающих попасть в группу диссертантов проводился жестко. Покрытану не отказали потому, что его настойчивость не могла не импонировать. Через Одесский обком партии его документы были направлены в Киев.

Когда приемная комиссия в Киеве рассматривала документы, поступившие из разных городов республик, Покрытан лежал в клинике Владимира Петровича Филатова. Это была пятая по счету операция, и делал ее сам Филатов. Перед операцией Владимир Петрович предупредил, что она носит предварительный характер и что только после нее можно будет

судить, надо ли делать следующую, то есть есть ли вообще шансы на частичное восстановление зрения. «Вам надо воздержаться от любой работы, утомительной для глаз» — с таким напутствием великого хирурга Покрытан выписался и тут же отбыл в Киев.

Из Киева он вернулся расдовосаный и злой. «У нас люди с отланным зрением из месяца в месяц работают по тринадцать часов в сутки и не могут за год сделать диссертации», — сказал директор.

Это была реальность. Покрытан не мог бы обвинить директора в черствости. Наоборот. Директор принадлежал к тем деистельным и знающим людям, которые всегда вызывали у Покрытана уважение. Это был культурный, умный человек и, что особенно нравилось в нем Покрытану, человек твердых убеждений. Директор был убежден, что работа в такие жесткие сроки Покрытану не под силу. Покрытан был убежден в обратном, но ничего не смог доказать. А иных способов воздействия на оппонента нет. Иных способов Покрытан и не признавал. Вспомнив, как он вытаскивал лупу, в которую директор, заинтересовавшись, пытался что-то рассмотреть и, конечно, с привычки не мог ничего рассмотреть, Покрытан злился на себя за ошибку. Ну, что значила эта лупа для человека, обладающего нормальным зрением? Что значат эти четыре буквы для того, кто безо всякого напряжения сразу может увидеть строчку? Пытаясь обосновать свою силу, он только расписался в своей слабости. Мир вещей никогда не может служить аргументом в его пользу. Он давно это усвоил, но именно тогда, когда от разговора с директором так много зависело, он совершила такой промах! В конце концов речь шла об умении Покрытана работать, но ведь этого не выдохнуть на стол в качестве вещественного доказательства! А все, что знал директор института, строилось как раз на обратном: надо по тринадцать часов в сутки работать глазами. Глаза — а-ми. И он, Покрытан, который даже не видел лица собеседника, утверждал, что сможет прочитать тысячи страниц текста (не говоря уж о том, что еще надо и написать кое-что, и это «кое-что» — диссертация!). И ничего лучшего не придумал, как вытаскивать лупу...

Конечно, директор должен был смотреть на него, как на фанатика. Как на одержимого маниакальной идеей. Конечно, он должен был думать, что Покрытан не отдаст себе отчета в том, чего добивается. Но он, директор, должен отдавать себе отчет в подобных случаях, хотя в такой ситуации ему, вероятно, довольно трудно было настаивать на своем...

Так рассуждал Покрытан, глядя на себя с позиции директора института, и не знал, что можно этому противопоставить. Ничего нельзя противопоставить. Только свою веру. Но его вера — это его вера...

Очень жаль, что утеряна такая возможность... Все-то только год, пусть сверхжесткий, но только год! Этот год нужен был Покрытану еще и как чрезвычайной жесткой ситуацией: именно в жестких ситуациях он чувствовал себя уверенно и его работоспособность была безгранична.

Он ходил в институт, читал лекции, вечерами надевал свой самодельный окуляр и прыгался в текст, физически чувствуя его гранитную плотность, и эта непомерно тяжелая физическая работа помогала ему постигать плотность мысли. Он перестал думать о неудачной поездке в Киев. Время пло, набор пятнадцати первого года в Киевском институте повышения квалификации уже приступил к работе. И вдруг он получает из Киева письмо. Что там могло быть, в этом конверте?

«...решением комиссии...» зачислены в группу диссертантов...» «предлагается безотлагательно выехать в Киев...» Буквы прыгали, и он никак не мог собрать их в фокусе.

Взав товарища под руку, Покрытан молча шел по крутому спуску, ощущая под ногами ненадежный подтаявший снег. Работать и впрямь приходилось по тринадцать-четырнадцать часов. Нагрузка была столь велика, что сбросить ее по окончании работы не удавалось. Спал он плохо и каждое утро чувствовал остаточное напряжение минувшего дня. Он и раньше, бывало, взвизгивал себя до последней ступени, но всегда мог отключиться на несколько дней — у него был некоторый запас времени. Он отсыпался, отдыхал, проходил несколько дней, и ему не хватало прежней нагрузки. Это означало, что он снова готов к работе. Но здесь, в Киеве, он не мог дать себе несколько дней передышки. Этих дней у него не было. Все было брошено на кон. Редко человек в такой внешне спокойной и тихой ситуации может столько и разом бросить на кон. После нескольких недель непрерывной работы он позволил себе отложить книги в середине дня. Он отправился с товарищем в бесцельную прогулку, чтобы отключиться на несколько часов, чувствовать только скользкий снег под ногами, думать о том, чтоб не упасть, и больше ни о чем не думать.

Спуск кончился. «Бессарабка», — сказал товарищ. Они повернули налево, и Покрытан понял, что они идут по Крецатику. Покрытан не запоминал ничего из того, что товарищ говорил. Он вбирал в себя уличные шумы, ощущая соседство большого города, от которого он наглухо отгородился с первого же дня. Сейчас он впервые не сопротивлялся ощущениям, которые считал полузабытыми или вовсе забытыми. Они словно дождались своего часа и теперь брали его штурмом, как какую-нибудь крепость, много лет простоявшую в осаде. Он прислушивался к тому, что творилось в его душе, с удивлением и растерянностью.

Комбат Дзеба до войны жил в Киеве. Почему это вспоминалось именно теперь — Покрытан не знал. Его товарищ, которого он подбил на прогулку, так и не понял, почему их бесцельное блуждание по городу вдруг обрело направленность, но в желании Покрытана почувствовать неведомый ему смысл и послушно поверил к горсправке. Впервые вспомнив о том, что командир батареи киевлянин, Покрытан так же впервые подумал, что для Дзебы война ведь не кончилась в марте сорок третьего года. Он непроизвольно сбавил шаг, но товарищ уже сказал: «Горсправка» — и Покрытан сам своими незрчими глазами посмотрел в маленькое окошко.

— Дзеба, Григорий Маркович. Тысяча девятьсот восемнадцатый год рождения.

Он думал, что если Дзебы в Киеве нет, значит, его вообще нет.

Через двадцать минут ему дали адрес.

Потом Покрытан услышал шаги за дверью и почувствовал, как перед ним открывается дверь.

— Мне нужен Григорий Маркович Дзеба.

— Дзеба — это я.

«Это ты», — внезапно успокаиваясь, подумал Покрытан.

— Здравствуй, Гриша.

— Здравствуйте...

Покрытан вдохнул и сделал шаг вперед. Он почти ткнулся лицом в стоящего перед ним человека, пробормотал: «Прости...» — положил руку ему на плечо. Дзеба не отстранился.

— Что же ты, Гриша... — сказал Покрытан и снова вдохнул. — Неужели не помнишь?

— Не припоминаю...



1952 год.
А. К. Покрытан.
После защиты
кандидатской
диссертации...

— Но, может быть, — сказал Покрытан, — может, ты помнишь командира взвода, который воевал с открытых позиций?

Едва он сказал «командира взвода», едва он произнес эти два слова, он почувствовал, как под его рукой напряглось плечо комбата. Что-то Дзеба хотел сказать, но воздух комом свернулся у него в груди, и оттого, что он ничего не смог сказать, Покрытан снова обеспокоился и крепче сжал плечо друга — ему показалось, что Дзеба покачнулся.

— Покрытан...

— Да, — сказал Покрытан.

Теперь уже Дзеба держал его и не двигался с места, и так они и стояли в дверях, может быть, минуту, а может, и дольше — Покрытан потерял всякое представление о времени. Потом Покрытан сказал:

— Где у тебя окно? У тебя есть большое окно?

Идти было неудобно потому, что Дзеба по-прежнему не отпускал его. И когда выходил в кухню или в другую комнату, каждый раз говорил: «Ты сиди, сиди здесь», — и тут же возвращался, словно опасаясь, что Покрытан исчезнет так же неожиданно, как и возник.

Он рассказывал Покрытану, как его искали. Сам командир дивизии искал. Искали долго и безуспешно. Покрытан думал о том, что его нельзя было найти. Ему давно уже казалось, что он превратился в невидимку. Только сам он мог вернуться назад. Это был долгий путь, но он вернулся¹.

XIII

В январе пятьдесят второго года Покрытан вышел на защиту. Директор института вернулся из командировки, когда Покрытан собирался отбывать домой. Покрытан зашел к директору попроситься. Директор поднялся ему наперечную.

— Сыпал. Уже сыпал! Очень рад!

— Ну, вот... Теперь наш спол исчерпан, — сказал Покрытан.

— Да-да... Признаться, я сомневался... — И директор крепко пожал ему руку.

Из трех или четырех экономистов, посланных из

¹ Фронтовой друг Покрытана лейтенант сорок третьего года Григорий Дзеба, бывший командир табуной батареи 923-го артполка 327-й стрелковой дивизии, умер несколько лет назад — сказали последствие тяжёлого ранения.

Одессы год назад в Киев, кандидатом наук стал один Покрытан.

Друзья поздравляли его. Злые языки намекнули на его «особое» положение. Люди осторожные жонглировали печалью и высказывались в том духе, что чудеса иногда бывают, но вообще-то это Покрытан, конечно, ненормальный...

Все подтверждалось: реакция людей на свершившийся факт уже не может ничего прибавить к этому факту и ничего убавить от факта — в этой реакции проявляется самовыражение человека реагирующего, который перед свершившимся фактом всегда стоит как перед зеркалом.

Покрытан принимал все с радостью и щедростью человека, изведавшего полноту счастья. Только он один и знал до конца, чем была для него эта прожитая в Киеве год. Все же иногда ему было грустно, когда он сталкивался с людьми, изменившими к нему отношение. Он оставался самим собой. Он слишком хорошо знал, что, как бы ни поворачивалась жизнь, надо оставаться самим собой.

XIV

Что было потом?

Если бы вы задали Покрытану такой вопрос, вы бы ждали продолжения рассказа о событиях больших, малых и совсем незначительных и при этом бы испытывали тревожащее чувство. Незатейливый сюжет судьбы рождает бы это чувство: сегодня сюжеты мало занимают нас. Вы почувствовали бы снова, а может быть, впервые тяжесть удвоения вора оттого, что в наш век, беспречно осложненный искусственными отношениями между людьми, незначительные события могут быть такими значительными, а повторяющиеся, полустертые ощущения — глубокими и острыми, как те, которые мы больше черпаем из старых книг, нежели из своего сегодняшнего бытия. Вы почувствуете, что все остается на своих местах; что ценности, данные человеку природой, самой природой и оберегаются, и что подменить их невозможно ничем.

Собственно, здесь рассказ о человеке, который до конца был верен себе, можно считать законченным. Для очерка биографического содержания, каким является этот абсолютно документальный рассказ, здесь не хватает нескольких заключительных штрихов. Вот они.

После возвращения из Киева Анатолий Карпович Покрытан регулярно ложился в клинику В. П. Филатова и перенес еще несколько операций (начиная с сорок третьего года, на операционный стол он ложился десять раз). Оперировал его ученик и коллега В. П. Филатова, ныне видный специалист в этой области профессор Владимир Евгеньевич Швалев. Самая результативная операция была сделана в пятьдесят пятом году: Покрытану было возвращено девять процентов зрения. Что такое десять процентов после одного — вероятно, ни один человек с нормальным зрением ощутить не может.

Почти двадцать лет А. К. Покрытан возглавляет кафедру политекономии — сначала в педагогическом институте, потом — в институте народного хозяйства.

Как и тридцать лет назад, этот человек отличается чрезвычайной работоспособностью. Его работы известны в профессиональных кругах, наиболее крупная из них, посвященная некоторым проблемам политекономии социализма, вышла отдельной книгой, была переведена за рубежом и получила высокую оценку специалистов.

Эти сведения можно было бы изложить более обстоятельно, если б в этом была цель рассказа. Но ко

всему сказанному добавим только один эпизод, в котором оказался свой жизненный сюжет, и сюжет этот был бы самым плохим, если б был придуман...

Десять лет назад Покрытан снова приехал в Киев. На сей раз ему предстояла защита докторской диссертации. Ход защиты был традиционным, но когда оппоненты сказали свое слово, когда были изложены и оценены достоинства Диссертации и, наконец, можно было поздравлять теперь уже доктора экономических наук Покрытана, пришлось несколько отступить от традиции. С некоторым опозданием слова попросил пожилой человек, находившийся в зале, и ему было дано право выступить. Он удивил ученых первой же фразой, заявив, что никогда не был специалистом в области политекономии, но тем не менее хочет выразить свое отношение к происходящему. И прежде чем собравшиеся успели принять неожиданность такого выступления, Покрытан узнал его. Узнал по голосу.

Говорил генерал, командир дивизии, для которого спустя двадцать лет после войны Покрытан все еще оставался его бойцом. Он говорил о том, что знал он, и чего в этой аудитории, кроме него и Покрытана, не знал никто. Он рассказал историю солдата — историю командира огневого взвода с гаубичной батареей. В аудитории собрались люди вовсе не склонные к бурным проявлениям эмоций, но те аплодисменты, которыми закончилась эта защита, заглушили даже испытанный генеральский бас.

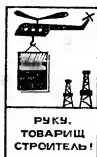
НЕСКОЛЬКО СТРОК ОТ АВТОРА

Н еобходимо пояснить один существенный вопрос: к чему рассказывать о несбытшихся надеждах, о замислах, потерпевших крах? Счастливым образом этот вопрос не занял центральное место в судьбе, о которой здесь было рассказано. Поэтому возникала потребность в этих заключительных строках.

Следы каких только жизненных аварий и катастроф не попадают к каждому на его долгом пути! Но с каким бы молчаливым сочувствием мы ни всматривались в обломки, разбросанные по обочинам, наше внимание всегда будет устремлено вслед тому, чей путь обрел желаемое завершение. Есть в этом какая-то неумолимая логика движения самой жизни. Но... эта же логика имеет оборотную сторону.

Мы привыкаем концентрировать внимание только на том, что у же обрело желаемое завершение и все меньше смотрим на обочины. Мы начинаем коллекционировать результаты и потому часто не видим, как на наших глазах свершается судьба. Мы ждем, чтобы она свершилась. Наше сознание фиксирует личность лишь в момент общественного признания заслуг этой личности. И уже не процесс приводит нас к итогу (процесс ведь может и оборотиться!), а итог заставляет нас присматриваться к процессу. Мы начинаем любить кинотеатр, в котором фильмы крутят от последнего кадра. Нам требуется все больше и больше всяческих утешений, и мы заранее знаем, что есть эпилог, потому что усвоили привычку обращаться в сторону свершившегося.

Эти строки вызваны нелюбовью к эпилогам.



ЕСТЬ ДОРОГА!

Жара в ту августовскую субботу стояла необыкновенная. Да еще такая толчея на Казанском вокзале —дохнуть не под силу. Когда подали поезд «Томич», от жары ли, от суетолики ли вокзальной его пассажиры сомя голову кинулись на посадку: скорей, скорей вырваться с раскаленного асфальтового острова-перрона в прохладу купе. И все-таки притормаживали, пробегая мимо крайнего вагона красного цвета, под нулевым номером, да еще с загадочным трафаретом «Москва—Сургут».

— Это что за маршрут такой? — спрашивали у проводников красного вагона.

Тимофей Петрович Комаревцев — в отуженной форме, китель застегнут на все пуговицы, блестя эмблема на фуражке —сдержанно отвечал:

— Едем на открытие новой дороги Тюмень — Сургут. — И со значением добавлял: — Впервые в истории.

Его жена и напарница Екатерина Васильевна спеша разъяснить:

— Везем корреспондентов. Целых пятнадцать человек. Вот они все посмотрят, напишут что к чему, тогда и лобопитных поубавится...

Проводника вагона, который действительно на десять дней стал базой журналистской экспедиции в Западную Сибирь, еще много раз по всему пути следования отвечали на недоуменные вопросы: «Первый вагон... Впервые...» И слыша в их голосах гордость людей, которые в первый раз проедут по новой трассе, я думал о тех, кто эту дорогу построил. Построил в том краю, где «...крутом болота лишь, тайга и топи лишь», как поется в песне. Почти десять лет этой песне, и все это время с полным правом пелось: «...а мы дорогу строим на Сургут». Теперь эти слова устарели — дорога на Сургут построена...

Рано утром меня разбудили голоса под окном вагона. Один из них принадлежал нашему проводнику Тимофею Петровичу.

— Первый в истории, — объяснял он кому-то. — Из самой Москвы едем...

«Вы построили дорогу — дорога выстроила вас», — читали строители в листовках, которые журналисты разбрасывали по трассе.

Рисунки
Г. ЧЕРЕМУШКИНА.

— Тюмень — столица деревень, — отвечал его собеседник. — А дальше вообще в такую глухомань поедете — глухаря да болота.

Вышел на платформу. С нашим проводником разговаривал местный спецпассажир. Поезд «Томич» учмался на восток, а нас пригласили к специальному составу. На праздник по случаю открытия железнодорожного сообщения от Тюмени до Сургута первым пассажирским поездом ехали лучшие строители 700-километровой трассы. 286-й — такой номер имел наш поезд. На каждой станции деловито подсаживались все новые и новые люди, так что можно было подумать, будто едут они на обычную смену, каждый на свой участок дороги. Поезд «разбухал» до самого Сургута. Шумные встречи, рукопожатия, похлопывания по плечу: «Ну, как? Где сейчас? А поминишь!» Транспортные строители — народ кочевой. Еще вчера люди двух строительномонтажных поездов (СМП) работали рядом, а потом развехались — могут целый год не встретиться.

Журналисты «раскосались» по поезду набирать блокноты. Где еще встретишь сразу такое количество интересных собеседников — путейцев, нефтяников, мостовиков, геологов, лесовиков?

В штабном вагоне начальника управления строительства «Тюменьстройпуть» Дмитрия Ивановича Коротаева вспоминали дела минувших дней. Например, декабрь семидесяти третьего года — смычку на 575-м километре трассы, где был забит «серебряный» кость. Вспомнили первый тепловоз, пришедший к берегу Иртыша у Тобольска, и первый гудок на мосту через Югаскую Обь. Кто-то из журналистов, пришедших в штабной вагон, задал не очень-то складный вопрос:

— Сколько стоит дорога?

— Миллион, — ответил Коротаев.

— Что миллион? — не понял мы.

— Каждый километр стоит миллион, — уточнил Али Халилович Алиджанов, автор проекта участка дороги от Тюмени до Сургута, ныне возглавляющий институт «Сибгипротранс».

— Ого! Золотая дорожка!

— Дорога? Дорога, а бездорожье дороже, — возразил на это сдвинувший у окна и не принимавший до этого участия в разговоре Геннадий Иосифович Шмаль, второй секретарь Тюменского обкома партии. Он слегка раскригивал, и поговорка, в четырех словах которой оказалось сразу четыре «р», напоминала детскую скороговорку. Хотелось повторить под стук колес: дорога? дорога, дороги? дорога... бездорожье дороже... дороже, дороже, дороже...

— Дорога не самоцель, продолжал секретарь обкома, — не для того строена, чтобы по ней кататься. Много лет километр за километром рельсы продавливались на север. Но еще быстрее убегали на север езда за другой нефтяные шишки. Десятилетия назад в области добыли первую промышленную нефть — 206 тысяч тонн. За год. Сейчас каждую сутки мы добываем в два раза больше. Но, например, за вечеринку сутки было добыто 411 тысяч тонн нефти. Если посмотреть по карте на сегодняшние наши нефтяные и газовые месторождения, то сразу видно: они находятся в труднодоступных районах. До строительства дороги основную часть грузов мы перевозили рекой и по воздуху. Теперь представьте: каждый километр надо построить две-две с половиной тысячи километров нефти- и газопроводов — промысловых и магистральных. Нефтеочистные станции, жилые дома, школы, магазины, больницы, клубы. Значит, нужны трубы, кирпич, бетонные блоки, продовольствие, оборудование, техника... И все это надо завезти за время навигации — не больше пяти месяцев в го-

ду. Не сумели создать запас — уже в апреле, а часто в феврале, бывает, даже в январе, нашим строителям делать нечего. А оставшиеся зимовать в местах перевалки грузы тнут государственный карман, не давая никакой отдачи...

Слушая Геннадия Иосифовича, я вспомнил, как несколькими месяцами раньше в Тобольском речном порту я стоял «на берегу Иртыша»... Вокруг, насколько хватало глаз, лежали трубы. Полуметровые, метровые, совсем небольшого диаметра, изрядно порывшие от ржавчины, они громоздились причудливыми пирамидами, уходя на километры за пределы порта. Три баржи стояли под погрузкой, и портальные краны своими огромными «руками» переправляли туда пакеты труб. «Грузить вам не перегрузить!», — подумал я тогда, мысленно прикидывая, в какую копеечку обходится перевалка, сколько эти трубы пролежали здесь, сколько им еще предстоит дожидаться своего часа и как их ждут в Сургуте, Надыне, в Самотлоре. В то время двухкилометровый мост через Обь еще только сверху на своих опорах из воды, и основной пункт перевалки грузов с железной дороги на водную был здесь, в Тобольске...

— Сейчас нефтепромыслы, — говорил между тем Шмаль, — все дальше и дальше уходит от магистральных рек. Если сегодня еще Самотлорское, Сургутское, Западно-Сургутское месторождения проходят там, где есть реки, то теперь мы идем на север. Рек там нет, поэтому наличие надежного всепогодного транспорта особенно важно. В этом году область обязалась дать стране 147 миллионов тонн нефти. 22 из них — сверхплановые, трудовой подарок тюменцев XXV съезду КПСС. Благодаря таким темпам развития Тюмени мы в прошлом году обошли американцев по добыче нефти. В этом году разрыв еще больше увеличится. Если же заглянуть вперед, нас ждет еще большие масштабы добычи.

— Поэтому, — подхватил Алиджанов, — пока мы спокойно едем в этом поезде, строительные десанты уже рубят просеку на Уренгой, к самому Ледовитому океану. А эта полоса, — он указал в окошко, — уже освоена. Сегодня трудно представить, как в 1964 году мы летели над будущей трассой, смотрели вниз и помечали в своих дневниках, что под нами почти сплошь болота. Вы, наверное, смотрите в окно и думаете: «Какие тут трудности? Как в Подмоскovie? Красота». А я еду и узнаю те места, где проваливались в болота машины, где были изыскательские лагеря — несколько палаток, и ни души на сотни километров. Мошка, гнус — летом, минус пятьдесят — зимой. Впрочем, мошара и морозы — это еще полбеды. Приходилось выдерживать бои в различных инстанциях. В 1965 году члены экспертной комиссии хатались за головы: «Миллион за километр! Что вы? Таких дорог у нас никогда не строили». А один товарищ так и окрестил ее: дорога в никуда...

Через несколько дней, когда мы летели вертолетом над участком будущей трассы Сургут — Уренгой — 216 километров в сторону Нижневартовска — все, о чем говорилось в штабном вагоне, обретало зримые черты. Внизу, насколько хватало глаз, раскинулось болото. А прямо под нашим МИ-8 тянулась едва заметная ниточка искусственной твердой земли. Кое-где уже отсыпано плотно железной дороги, даже на несколько километров уложены рельсы от Сургута в сторону Нижневартовска. Потом полотно оборвалось, и едаль просеки потянулись только лежневка.

Но вот снова бугрится насыпь. Под нами — накопительный насыпной гидрососпособ песка. В бурты,

за стенки, надвинутые бульдозером, закачивается по трубе пульпа. Самого земснаряда пока не видно, но, если следить за тянущейся на несколько километров трубой, обязательно увидишь песчаное озеро. В воде механическое чудовище, как мамонт хоботом, заглатывает пульпу, чтобы перегнать ее в накопитель. А к накопителю уже спешат КраЗы, чтобы развезти песок на другие участки трассы. Внезапно обрывается и лежневка, подводя к краю большого болота или торфяной речки. Видны только опоры на берегах: строители ждут металлоконструкции, чтобы пунктир дороги скорей становился сплошной линией...

Поезд остановился на станции Юность Комсомольская. Раньше станция называлась Туртас, но дружба строителей с нашим журналом и комсомольский возраст жителей поселка внесли изменения в карты и железнодорожные справочники. Здесь базируется комсомольско-молодежный строительно-монтажный поезд 522. Я ожидал встретить бригадира путейцев Виктора Молозина, но оказалось, что молозинская бригада ведет ремонтные работы на станции Юнг-Ях. «Ночью Виктор к вам подсядет», — сказал знакомый инженер.

В штабном вагоне разговор после остановки зашел о том опыте, который накопили дорожные строители на Тюмень—Сургуте — этом «испытательном полигоне», как называл Алиджанов Севсиф.

Институт «Сибгипротранс» участвует в проектировании БАМа. Так вот, оказывается, целый ряд экспериментальных технических и технологических решений, прошедших «обкатку» на этой трассе, переносится на магистраль века. Например, раньше поселки для обслуживания дороги располагались в десяти—пятнадцати километрах друг от друга. Маленькие, небогатостроенные. Впервые на участке Тюмень—Сургут их стали располагать на расстоянии 60—100 километров. Высоборжденные средства пошли на благоустройство. Поселок имеет все, что нужно для нормальной жизни: школу-десятилетку, магазины, больницу, прачечную, пекарню. В домах — центральное отопление, горячая вода. И, да, допустим, гидронамыв. Не новинка, но в таких масштабах применен впервые. В порядке эксперимента на участке Юность Комсомольская — Демьянская построили еще четыре года назад двенадцать опытных искусственных сооружений: вместо громадских железобетонных труб использовали металлические, гофрированные. Выгода оказалась бесспорной: в тридцать раз снижались вес используемых материалов, в два-три раза ускорилась укладка пути.

Все эти разговоры о технических новшествах могли бы показаться скучными, да и не совсем понятными непосвященному, если бы не магическое слово «впервые». «Впервые в истории», — вспомнились мне гордые ответы нашего проводника...

Утром ко мне в купе заглянул Виктор Молозин, с которым мне не удалось встретиться на Юности Комсомольской.

— Это мой Володяка, — представил он парня, стоявшего рядом.

Они стояли рядом и улыбались понимающе — оба красивые, загорелые, в одинаковых синих костюмах. Молодой мужчина и подросток. Для Молозина-старшего лето выдалось неадекватным: заканчивал одиннадцать классов, потом сразу пришлось держать экзамены в Свердловский техникум транспортного строительства. Володяка провел летние каникулы, работая в отцовской бригаде.

— Заменял бригадира? — спросил я.

— Ну, заменять не заменял, а работал нормально. Да и порз. Не маленький уже — восьмилеткаслик.



Начальник управления строительства «Тюменьстройпуть» Герой Социалистического Труда Дмитрий Иванович Коротчев.

Я вспомнил, как накануне в штабном вагоне Дмитрий Иванович Коротчев говорил:

— Решение сложных задач всегда требует инициативы, большой настойчивости и смелости. Люди, которые не отягощены догмами, условными представлениями, легко решают неординарные вопросы.

— Самы условия работы в области требуют активного притока молодежи, — сказал Г. И. Шмаль. — Здесь быстро и более активно формируется характер, потому что жизнь бросает людей в такие обстоятельства, условия, когда негде и не с кем посоветоваться. Пока будете созваниваться с руководителями в Тюмени, в Новосибирске или в Москве, — время улетит. Потому и руководители у нас молодые.

К полудню подъехали к берегу Большой Оби. Тысячи людей, цветы, плакаты, музыка, речи. На Оби, по обе стороны моста, собрались плавсредства со всей округи: катера, баржи, моторные лодки. Многоголосые гудки разнеслись над рекой, когда бригадир монтажников Юрий Гончаров перерезал ленточку. Пассажирский пошел по мосту, «разбухнув» еще на добрую тысячу человек, — от моста до станции 14 километров, кому охота тащиться пешком. На станции тоже был митинг. А через несколько минут тихо и незаметно подошел грузовой состав. По сути, этот поезд и был сегодня именинником. Ради потока таких поездов изыскатели пробили первую тропу, ради этого работали под скальным везром над Иртышом и Обью; ради этого неслись пробивались по зыбкимам тракторные поезда. Поезд привез бурные трубы, запчасти к экскаваторам и земснарядам, 50 холодильников и мебель в сургутские магазины.

— И двести ящиков чешского пива, — сказал наш проводник Тимофей Петрович. — Совершенно точно, я узнавал. Впервые в истории.

А что такого? Есть дорога.

Марк ГРИГОРЬЕВ

Внепривычно благополучный для клиники день, когда позади были три недели с шестьюдесятью тяжелыми и все-таки удачными операциями на сердце и легких, в наполненный миром осенний день с теплым солнцем и падающими листьями к старому хирургу пришло ощущение счастья. Оно было соткано из благодарности к этим шестидесяти и ко многим другим, которые были раньше. Особенно к детшкам — они появляются здесь всегда испуганные, тощие, ручки, как палочки (обреченные!). А потом, спустя годы после операции, приходят такие хорошие. Вот оттого, что приходит, что могут придти и еще многое другое тоже могут — и в школе учиться, как все, и даже в футбол стоять, — от всего этого было хорошо. Дрожали в памяти лица матерей. И думалось о счастье вообще. Неужели оно только стихия — кому как повезет в жизни? Нет, не может быть. Нужно учить, умение быть счастливыми. «Шутишь, брат. Этому научить нельзя». И сам себе возражал: «Можно». А потом еще: «Если бы всех детшек учили!»

Это «если бы» стало мечтой. Верой, заклиниванием. Не только для хирурга из повести «Мысли и сердце», которому так важно понять простую схему: человек в мире. Для другого, реального, давшего жизнь книжному, — тоже. Впрочем, разделимы ли они? Николай Михайлович Амосов много раз настойчиво повторял, что профессор Михаил Иванович в его «Мыслях и сердце» — лишь литературный персонаж и не следует видеть в нем фигуру автора. Ему не поверили. Смышком отчетливо прочитываются в повести коллизии авторской биографии, очень уж точно, матрично, воспроизводит герой авторское миропонимание. И не важные читателю, даже не замечены им детали, говорящие о различии.

«Если бы всех детшек учили!» Бесхитростно, без тени многозначительности зазвучала здесь тема, которую Амосов исповедует, которую сделал главной в своей работе. Тема человеческого счастья. Жаль, если кто-то усмотрит в этих словах наивную прямолинейность и не захочет увидеть проблему — большую и актуальную, подсказанную тревогой за человека. Мы часто готовы принять безыскусственность за упрощенчество.

Отказ от условностей — это всегда риск не быть понятым. Амо-



Галина
ТОРЖЕВСКАЯ

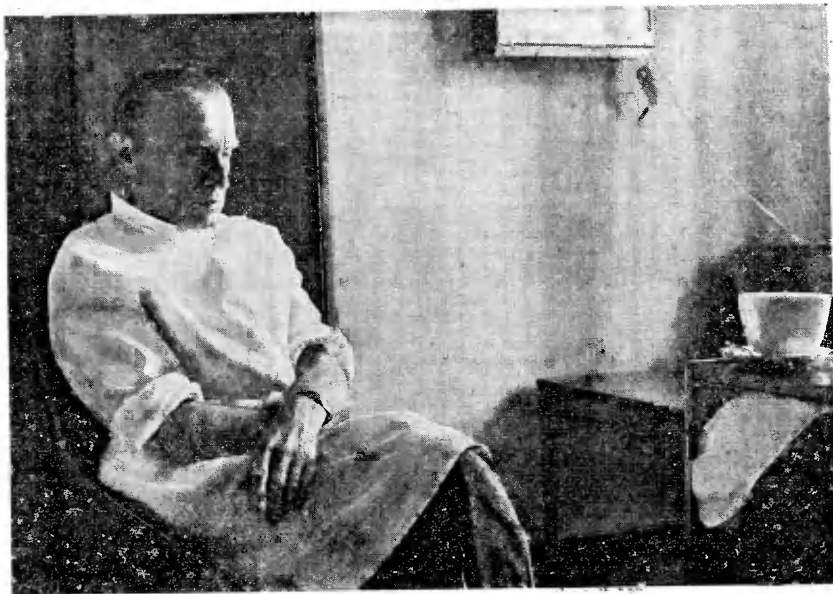
ПОЗНАВАЕМЫЙ И ВОСПИТУЕМЫЙ HOMO SAPIENS

сов шел на такой риск не единожды. И тогда, когда заговорил о путающей неточности всей медицины, о том, что точность придет сюда лишь с кибернетическими методами. И когда начал рассматривать самого человека с точки зрения этих методов, выделяв в нем программы, часть которых дана каждому от природы, а часть — результат социальных, воспитательных воздействий. И когда, занявшись психологией, захотел увидеть ее вне тех традиционных рамок, какими ее транжилят, с одной стороны, с философией, а с другой — с физиологией, и попытался с позиций науки посмотреть на те законы взаимосвязанных проявлений личности, которые до сих пор мы познавали скорее по Шекспиру, Толстому и Достоевскому, нежели по учебникам психологии.

Профессор медицины Амосов стал профессиональным кибернетиком, всерьез занялся социологией и психологией. Он много размышляет и пишет. Но чаще пишет о нем. Точнее, о его научных идеях. За каждой из этих идей — проблемы, которые открыл для себя как нечто насущное, порожденные сегодняшними интересами и запросами человека. Он вторгается в новые сферы, что-то предлагает и что-то отрицает. Часто кажется, что он кощунствует. А он просто работает, смущая иных коллег-медиков кажущейся разбросанностью интересов, гневя многих философов и психологов нетрадиционностью подходов к их наукам и оставаясь на диво последовательным в этой своей «разбросанности» и нетрадиционности.

У Амосова много оппонентов, усматривающих в его суждениях, даже в некоторых его конкретных делах односторонность и субъективность, а в каких-то его трактовках — недостаток профессионализма. Если с этим согласиться, останется неясным, чем сильны его концепции, почему они, хоть и несправные, остаются неопровергнутыми.

Да, по газетным и журнальным статьям взгляды и теории Амосова открываются нам не как научные обобщения, а скорее как разрозненные трактовки биологических и психологических особенностей человека. И кажется порой, что взращены эти трактовки лишь на склонности к теоретизированию. А между тем ратует ли он за постоянные физические нагрузки или за «тренированность» как приближку к постоянной полезной



Николай Михайлович Амосов.

Фото М. АЛЬПЕРТА.

деятельности, высказывает ли предложения, касающиеся воспитания и обучения детей, — это всегда лишь отзвуки того цельного исследования Амосова-ученого. В Институте кибернетики Академии наук УССР он возглавляет отдел, работающий над проблемой моделирования личности. А оно немислимо без всестороннего изучения человека. И худо ли, что сопровождают эту работу не только специальные формулировки, но и безыскусственные размышления на общедоступном уровне?

Его научный подход построен на доверии к прямой логике вычислительных машин и на стремлении познать внутренний мир человека во всей его непрямолинейности. Многие в этом подходе действительно выходят за рамки привычного стиля научных исследований. Но разве не привлекательны сами по себе раскованность суждений, широта взглядов, пренебрежение к авторитету предрассудка, искренность ученого? И не становятся ли эти качества, присоединенные к умению интересно думать, главным топливом для насыщенного творчества? Не всегда беспорочно, но всегда значительного.

Под колесами тало всхлипыла выпавший вчера снег. Водитель такси недовольно ворчал. Ему не нравилась погода, не нравился этот крутой подъем, а главное не нравилась мысль, что он может чего-то не знать в Киеве. Он был почти уверен, что нет на Батзхейской горе тубинштутта. И только на по-

следнем повороте, когда я показывала, куда ехать, вступенулус:

— Так ведь это клиника Амосова, а не институт. Обычные издержки популярности. И вот объясняя, что клиника грудной хирургии — лишь часть большого лечебного и научно-исследовательского комплекса. А потом, когда уже вхожу в ворота, водитель долго изучает вывеску: «Научно-исследовательский институт туберкулеза и грудной хирургии имени акад. Ф. Г. Яновского Министерства здравоохранения УССР».

За серой оградой — серый снег и серые строения. А там, внутри, больничный быт — такой, как везде, с ожиданиями и страхами, с надеждами и безнадежностью. В этом медицинском массиве отдел Института кибернетики не удивляет лишь потому, что шеф этого отдела — Амосов.

Я прежде уже бывала здесь. И в клинике, известной как один из кардиологических центров, осваивающих и разрабатывающих все более сложные операции на сердце. И в кибернетических лабораториях. Сначала была лаборатория медицинской кибернетики. Много лет назад здесь появились едва ли не первые в Союзе диагностические машины — совсем простые, с малым еще объемом умений и знаний. Но они и тогда уже анализировали историю болезней, делали несложные обобщения. И именно они укрепляли веру Амосова не только в машинную диагностику, но и в машинные возможности вообще. И сегодня, когда вместо маленькой лаборатории здесь работает отдел биоклиники Института киберне-

тики АН УССР, от машин ждут уже несравненно больше — чтобы они, к примеру, воспроизводили поведение человека.

Попытки моделировать поведение личности в наше время уже не кажутся пикантной научной вольностью или смелым прорывом в неизведанные сферы. Около полутора десятков лет назад проблема моделирования личности встала как выражение потребности и одновременно возможностей современной науки. Она взволновала и племена кибернетиков. Реализация идеи началась с того, что казалось самым логичным и целесообразным, — с попыток моделировать отдельные элементы психической деятельности.

В разных странах мира начали появляться программы для электронно-вычислительных машин, наделенных «искусственным разумом». Машины поражали наше воображение, демонстрируя способность узнавать определенные предметы, решать задачи, самообучаться. Гроссмейстеры сядили за шахматные доски соревноваться с электронными соперниками. Переводчики, редакторы, даже поэты предсказывали серьезную конкуренцию со стороны электронных коллег.

Но непринужденные разговоры о том, что смогут и чего не смогут будущие электронные специалисты, продажное время оставалось без обобщений. Потребность в них ощутили, когда встал вопрос: «Что дальше? Как перейти от моделирования отдельных функций мозга к воспроизведению психической деятельности в целом?»

Простое объединение отдельных смоделированных элементов в одну систему не было выходом из положения. Во-первых, потому, что операций, доступных человеческому мозгу, необозримо много. А во-вторых, потому, что единого принципа для всех моделей так и не нашли. Чаще всего между ними было очень мало общего. А мозг между тем — поистине универсальный аппарат мышления; он справляется с самыми разнообразными заданиями.

Был период, когда ситуация казалась совсем безвыходной. И многие заговорили уже о границах возможного в моделировании. Но недаром, видно, существует парадоксальная истина, утверждающая, что многое проясняется, если на сложное посмотреть просто. Подход, избранный Амосовым и его сотрудниками, действительно по-своему прост. Впрочем, у них в ходу иное определение — **о г р у б л е н и е**.

Я видела схему, которая отражает сегодняшнее представление о будущей модели. Это перечень важнейших характеристик, из которых состоит личность человека, — биологически обусловленные признаки, черты, проявляющиеся в социальной жизни, рефлексы, формирующие разнообразные чувства. А паутина линий показывает существующие здесь взаимосвязи и взаимозависимости. Все это, выраженное математическими символами, когда-то станет программой для ЭВМ. Всего в схеме что-то около пятидесяти характеристик. В человеке, живом человеке, их тысячи. Это и есть **о г р у б л е н и е**.

Именно **о г р у б л я** объект изучения, исследователи надеются рассмотреть в нем главное. И не нужно быть специалистом в области кибернетики, чтобы согласиться с ними: увидеть сыпком большую панораму можно, лишь отказавшись на какое-то время от деталей. Воспроизвести поведение человека можно, лишь познать самые общие его законы и сознательно обойдя бесконечные тонкости. А потом, уже имея упрощенную модель личности и пользуясь ею, реально будет постепенно совершенствовать ее.

Я сижу в одной из немногочисленных комнат,

вместивших в себя отдал биокрибернетики, и тешусь надеждой увидеть конкретные дела, стоящие за всеми этими подходами и принципами. Вот схема модели. Это уже некоторая материализация исследований. Но и она несет информацию на уровне обобщений. Я же хочу знакомства с самим процессом работы. Потому с готовностью берусь за тесты, которые предлагает один из хозяев комнаты — Владимир Михайлович Белов. Это уже нечто совершенно конкретное.

На столе вырастает пирамида папок с набором вопросов, задач, рисунков, графиков. И я с энтузиазмом беру на себя функции объекта исследований. Похоже, я уйду отсюда, зная решительно все о собственной персоне. Впрочем, мои запросы не распространяются так далеко...

Как раз на той стадии, когда я уже готова перейти в неограниченные возможности тестовых исследований, Белов объясняет:

— Эти методики мы отработывали лишь постольку, поскольку нужно знать все приемы, применяемые для изучения человека. Но для нашей работы они непригодны.

Ну вот... Медленно отодвигаю папки на край стола.

— А какие пригодны?

Пожимает плечами.

— Таких в общем-то нет. По крайней мере в чистом виде нам не подошло ни один из популярных ныне приемов изучения личности как психо-социального явления. Эти методы не дают всеобъемлющих данных о человеке. А нам нужна широчайшая обобщенная информация. Ведь модель должна воспроизводить личность в целом, со многими ее проявлениями.

— Где же вы находите эти проявления?

— В конкретных людях. Наблюдаем их, описываем определенные типы личностей. При этом пользуемся и уже существующими представлениями — скажем, о лидерах и функционерах, об интровертах — людях замкнутых, погруженных в себя, и экстравертах — общительных и открытых. Анализируем связь между биологически обусловленными инстинктами и такими чисто социальными проявлениями, как потребность в общении, готовность к преодолению трудностей, стремление к новым знаниям. Обобщение всех этих наблюдений позволяет строить гипотезы.

Значит, формирование гипотезы — так называется та рабочая реальность, которая предшествует этапу математических символов. Модель всегда начинается с гипотезы — суммы максимально достоверных сведений об объекте изучения. На основе этих сведений строится схема, а затем составляется программа для ЭВМ.

В идеале нужно собрать воедино все знания о человеке, — говорит Белов. — То есть, все те сведения, которые несет психология, социология, педагогика, биология. И, конечно же, художественная литература — да-да. Для понимания человеческой психики она дала едва ли не больше, чем строгая наука. А чтобы правильно интерпретировать и четко классифицировать эти сведения, нужны наши собственные наблюдения и обобщения.

Это кажется парадоксом: с одной стороны, они стремятся располагать всеохватывающей информацией о человеке, с другой — совершенно сознательно идут на **о г р у б л е н и е**. Но объяснение здесь простое: они упрощают, отбрасывают лишь самое существенное среди характеристик личности, но всячески пытаются избежать искажений общей картины. Нельзя, чтобы гипотеза грешила необъективностью. Нельзя, чтобы она недооценивала какую-то сторону

психической или социальной жизни. Тут имеют значение и эмоции, и мотивы поступков, и моральные ценности, и идеальные категории — все, что влияет на поведение человека.

А еще исследователи пытаются уяснить, насколько жестки программы, навязанные нам природой и зависящие от инстинктов. И какова мера воспитуемости человека? В каком возрасте особенно нужны воспитательные воздействия и какие?

Это очень важные для Амосова и его коллег вопросы. Потому что и начался новый этап в их работе — наблюдение за детьми, за группой обычных малышей из детского сада. Для этих ребят составлена специальная воспитательная программа, продуманная до мелочей, несущая им все те духовные ценности, которые в идеале должны формировать личность. Исследователи стремятся создать условия для полного и раскованного самовыражения каждого из этих очень разных ребят. И в то же время они ждут ответа на главный вопрос: можно ли их, разных, сделать всех альтруистами, подавить в них агрессивность, жадность и т. п.?

То, что уже дал эксперимент, подсказывает положительный ответ. И к еще одному выводу склоняется Амосов. Мы, полагает он, преувеличиваем роль индивидуальных способностей; видимо, врожденного здесь меньше, чем приобретенного; то, что называют одаренностью, — часто лишь результат интеллектуальной тренировки.

Впрочем, о результатах этого эксперимента они еще избегают говорить. Считают, что не готовы. Что же, это, наверное, будет отдельная большая тема. («Еще одно увлечение Амосова», — скажет кто-то.)

Да, до полной ясности еще далеко. Открывая новые пути, приходится открывать и новые трудности. Впрочем, это участь многих исследователей. Не всем удается учиться на опыте других. Иногда приходится потрудиться над собственным.

«У шефа много идей», — сказал мне Белов. Шеф — это Амосов. Кандидат медицинских наук, врач-психиатр по профессии, Владимир Белов — его заместитель. А весь отдел биокibernетики — это еще сорок человек. Инженеры, медики, биологи, математики. Большинство из них принадлежит к тому молодому поколению, которое, рано став зрелым, долго не переходит в ранг среднего. Уже минуло больше десяти лет с тех пор, как оно поднялось в науке, литературе, искусстве и уверенно заявило о себе идеями, открытиями, непререкаемым мировосприятием. Его тогда называли поколением тридцатилетних, хотя нередко это было явным преувеличением. Его называют сегодня поколением тридцатилетних, хотя к нему причисляют и тех, кому сорок. Это поколение с большим зарядом интеллектуальной энергии. И оно имеет намерение надолго сохранить все признаки молодости. Прежде всего молодости творческой.

«У шефа много идей», — говорят они. Это и их идеи. Они их не только разделяют, они их реализуют. Они задались целью создать модель человека. И спрашивают: для чего? Они отвечают. Они говорят о человеке и обществе — том вечном единстве, с которого начинается и само бытие, и сознание, и прогресс. Человек от возникновения своего всегда элемент общества.

Они говорят о коммунизме, оптимальном обществе будущего. Сегодня его уже пытаются представить предметно и в деталях. И детали эти касаются не только экономики, но и всех уровней взаимоотношений между людьми. Насколько подготовлен человек к высоким нормам, необходимым для оптимального общества? Моделирование может помочь разобраться в этом. Ведь модель способна воспроизве-

сти типичные реакции людей на такие процессы, как возмущение материального благосостояния или более полное удовлетворение духовных запросов, на многие другие изменения. И, возможно, удастся своевременно разглядеть то неожиданное в этих реакциях, чего желательно избежать с помощью воспитательных влияний. Таким образом, будут сформулированы конкретные задачи перед педагогикой и психологией.

Чтобы знать, насколько в данном случае можно полагаться на эти науки, и приходится исследовать меру воспитуемости человека. Потому и нужны эксперименты, способные показать, можно ли очень разных ребят сделать людьми добрыми и щедрыми, всепонимающими и сострадающими, решительными и убежденными, знающими острую потребность в творчестве и чуждыми мелкой суетности, способной поглотить человека.

Конечно же, они стары, как мир, эти задачи. Но до сих пор неизвестно, насколько в каждом конкретном случае можно рассчитывать на успех в таком воспитании. Ведь зависит он, как правило, от таланта педагога, его психологического чутья, его чувств, его энергии, его собственного духовного потенциала. А не следует ли взять на вооружение какие-то конкретизированные методы, разработанные с почти математической точностью, но извлеченные как раз из опыта больших педагогов? И при этом рассчитанные на разные типы личности. Все это и должна выяснить психология.

Убежденный в огромных возможностях науки, в своевременности идеи моделирования, Амосов насыщает этой идеей страницы своих книг. Он выходит на трибуну, чтобы говорить о ней, разъяснять ее, убеждать ею. Он непосредственно работает над созданием моделей. Те, кто ним рядом, — не просто надежные помощники, они единомышленники.

Быстрой дробью постукивает по доске кусочек мела. Несложные формулы, разные кривые. Без их помощи биокibernетику трудно рассказывать о своей работе. Он привык прибегать к языку математики. Совсем не сложному в данном случае, но чрезвычайно детальному и большому по объему. Ведь именно математика дала тот шифр, благодаря которому стал возможным сам факт моделирования в его современном понимании. И поведение человека ко всей его трепетной неоднозначности, став объектом моделирования, сразу же превращается в упорядоченную систему понятий, каждое из которых требует количественного выражения. Предельная конкретность начинается здесь уже с самых общих определений.

Что такое человек? Амосов формулирует так: многопрограммный автомат со сложными многокритериальным управлением. И при этом подчеркивает: сутью технического подхода совсем не отрицает всего того неповторимого, что делает человека человеком; просто именно с него начинается обрушение и переход к количественным оценкам, обязательным в кибернетике.

Одно из отличий человека от автомата состоит в том, что автомат сначала получает «плату» (то есть определенные стимулы, сигналы), а потом работает. Человек же, наоборот, работает, ожидая «плату». И тут же огорчка: «платат» — условное определение, которое никак не может обижать человека. Ведь это не только материальные стимулы, но и одобрение других, собственная радость от успеха, любое поощрение, любое влияние, которое оказывает на нас общество. «Платат» дает ощущение удовлетворе-

ния. И если оно выше, чем неприятные ощущения, связанные с затрачиваемыми усилиями, то стимулирует деятельность.

...Он вел себя именно так, как надлежит типичному представителю любой сферы социальной деятельности. Работал, формировал свое отношение к разным моральным ценностям, к семье, имел определенный спрос на продукты и вещи. Но вот понадобилось увеличить отдачу от его труда. Где искать прыжки, способные повлиять на его рабочие усилия? По-видимому, и среди так называемых первичных чувств, обусловленных самой природой человека (честолюбие, удовлетворение от деятельности, чувство собственности), и среди вторичных, приобретенных в социальной жизни (чувство долга, гордости, профессионального престижа).

Однако, кроме этих чувств, которые служат резервом для повышения активности, в человеке скрыто немало других, уменьшающих его усилия. Это могут быть лень, утомление, ненависть, жадность и т. п. Их тоже учли. Как и то, что все эти чувства — и стимулирующие и тормозящие — тесно переплетаются между собой; как только изменяется активность одного из них — тут же происходит перераспределение всех остальных.

Наконец, соотношение нужных чувств найдено. Как «запустить» их? Конечно же, с помощью внешних воздействий. И нашему работнику улучшают условия труда, помогают повысить уровень профессиональной подготовки, увеличивают заработок, находят методы морального стимулирования. У него резко возрастает удовлетворение от деятельности. И мы прослеживаем, как он начинает работать напряженнее, с большей отдачей. Цель достигнута.

Все эти события вменяются в короткие минуты. И происходит все в лаборатории. Потому что работники, элементы социального поведения которого мы проследим, — это модель, уже созданная биокриберетиками. Назвали ее — Социон. И хотя Социон еще чрезвычайно далек от настоящей модели социальной личности, тем не менее он уже наглядно продемонстрировал отдельные закономерности системы «человек — общество».

Он, в частности, подтвердил прямую зависимость между социальными проявлениями индивидуума и его эмоциональной сферой. Так уж человек устроен: он стремится к приращению чувства удовольствия. И, как мы убедились, это может стать непосредственным источником его творческой активности. А если продолжить и углубить эту зависимость, то обнаружим, что стремление человека к удовлетворению, к благополучию не только не противоречит интересам общества, а прямо с ними совпадает.

Ведь максимум счастья граждан — одно из важнейших условий коммунизма. Но многое зависит и от критериев, от того, что складывается в представлении о счастье. Только если человек осознал себя как личность, способную приносить пользу тем, кто живет рядом, и обществу в целом; если он постиг, насколько радостнее отдавать, чем потреблять; если он обрел ясное мировоззрение, построенное на гуманности, честности, достоинстве, только тогда приложение его энергии, все его запросы и увлечения будут глубоко моральны в самом широком смысле этого слова.

Амосов очень ценит понятие «общественно полезная деятельность». Может быть, слова здесь чуть поистергались от частого употребления, но то, что они выражают, и есть смысл жизни человека — не биологически, заложенный природой, а именно социальный. Счастье, идущее «снизу», от инстинктов — острое, но оно ненадежно и для нашего человека мало. Только если оно дополнено этой «деятель-

ностью», есть надежда получить крепкий якорь, обрести устойчивый душевный комфорт.

Именно так, не счастье, а душевный, психологический комфорт, предпочитают говорить Амосов и его коллеги, когда рассматривают его с позиций моделирования. Потому что в моделях можно предусмотреть лишь ту составную нашего внутреннего благополучия, которая зависит от внешних воздействий. И только эту составную может обеспечить нам самое совершенное общество. А то, что не зависит от социальных условий, от психологического климата, увы, навсегда останется с человечеством — и боль утрат, и горечь неразделенных чувств, и острое соперничество чужому страданию. Впрочем, видимо, только такой ценой человек может остаться человеком.

Амосов верит в программы, цифры, коэффициенты, во «входы» и «выходы». Но верит он и в высокую духовность. Это он сказал, что есть люди, талантливые на доброту и благородство так же, как на поэзию и математику. И что поэзия идеалов останется и войдет в будущие расчеты.

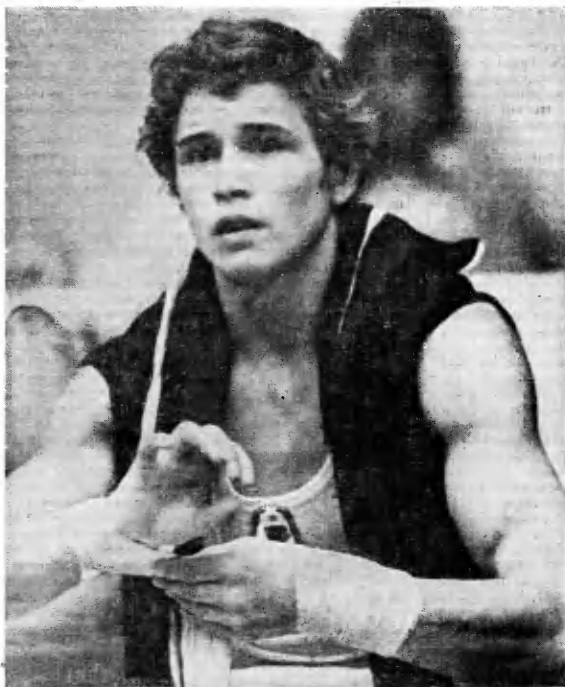
Большие планы всегда вырастают из больших возможностей. Сегодняшняя работа биокриберетиков над схемами, графиками и расчетами, эксперимент в детском садике — лишь этапы в реализации этих возможностей. А Социон — первый доступ к будущей модели. Но он и ее начало. В одном из своих публичных выступлений Амосов говорил о модели личности: «Создаем, немного создали и, наверное, не скоро еще создадим до конца».

До конца — это когда определится наконец мера познаваемости и воспитуемости представителей вида *Homo sapiens*, куда можно будет прослеживать поведение разных людей с их инстинктами и способностями, с их творчеством и увлечениями; когда удастся понять, как направлять развитие отдельной личности, чтобы она — элемент общества — способствовала его устойчивости и прогрессу.

А пока что проблема моделирования личности только начала открывать свои глубинные пласты. И, безусловно, внимания к ней одним лишь биокриберетикам сыскано мало. В ней еще много неясного и спорного. Чтобы она обрела безупречную с точки зрения всех наук стройность, необходимо участие в ней этих наук. Особенно она ждет специалистов по общей и социальной психологии.

Именно этим наукам придется искать ответы на множество еще неясных вопросов, касающихся поведения человека. И, пусть это не прозвучит выпрепие, нам предстоит научить человека счастью, которое поднимет его над суетностью, над самой временностью и краткостью человеческого бытия.

Киев.



Алексей
САМОЙЛОВ

Фото
В. ГАЛАКТИОНОВА.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ САШИ ДИТЯТИНА

На спартакиадном турнире гимнастов, который проводился у нас в Ленинграде, я был лицом заинтересованным, ибо работал над сценарием документального фильма об Александре Дитятине.

Мой близкий друг и коллега, утонченный знаток гимнастического таинства, не преминул пройтись в своей газете по поводу нашей кинозатеи: «Вот уже и фильм крутят о Дитятине — не рано ли?» Он воткнул эту шпильку в репортаж, озаглавленный: «Дитятин и его поколение».

Мы заняли свои места в ложе прессы минут за пятнадцать до открытия финальных соревнований мужского многоборья.

— Читал? — спросил мой друг, доставая из кожаного чемоданчика свежий номер своей газеты.

— Читал, читал... Что-то ты напишешь после сегодняшнего вечера, когда Саша станет абсолютным чемпионом Спартакиады?

— Ну, если станет, напишу, что не рано о нем фильм снимать, а в самую пору, — улыбнулся он.

Честно говоря, особой уверенности в том, что Дитятин станет абсолютным чемпионом, у меня не было. Я помнил, как выглядел Саша на одной из недавних тренировок сборной Ленинграда. Тренер его, Анатолия Григорьевич Ярмовский, правда, предупредил меня, что у Саши повреждена кисть левой руки и он пять дней в зале не появлялся — ходил на процедуры, отдыхал и сегодня будет не в лучшем виде...

Саша действительно покрutился немного у зеркальной стены, плафуса вольные — так, в треть силы, не делая элементов, а лишь обозначая... Потрусил по большому залу... На перекладине прокрутил несколько оборотов, сгибая ноги в коленях и совсем не заботясь о том, чтобы тянуть носки... И с таким все это делал неудовольствием, с такой кислой физиономией!

Его левая кисть была забинтована. Сказал мне, что побаивается. А Ярмовский заметил обеспокоенно:

— Меньше двух недель до Спартакиады осталось... На первые роли Дитятин вырвался дерзко и неожиданно. В прошлом году, еще будучи официально лишь кандидатом в мастера, он выиграл Спартакиаду Ленинграда, а в этом году уже стал обладателем Кубка страны и третьим гимнастом Европы. В семидецать лет! И Воронин, и Клименко, и Андрианов — наши гимнастические звезды последнего десятилетия — вспыхивали позже.

На Спартакиаде СССР от Саши ждали нового взлета. И он действительно лидировал после первых двух дней, а рядом держались Якунин и Кулакисзов — оба из его поколения. Только двукратный абсолютный чемпион Европы Виктор Клименко, представлявший поколение постарше (между ним и Дитятиным восемь лет разницы), «подзагасался» между мальчиками. Виктора, занимавшего вторую позицию, от Саши отделило 0,675 балла. Немало, конечно, но не безнадёжно: достаточно было Дитятину дрогнуть, сорваться, и все бы круто изменилось.

Я допускал, что Саша может сорваться, — тем более, что в этот последний день его тренер буквально за полчаса до выхода гимнастов сказал мне:

— Устал он, очень устал...

Сорвался же Андрианов! Чемпион Европы этого года Николай Андрианов не ангелоподобный орток, как Саша, а грозный гимнастический муж с бурными бицепсами, легким и взрывной, крутящий салют в вольных на такой высоте, куда остальным и не снилось залетать. Так вот сам Андрианов, наша главная опора, получаю «0» при выполнении опорного прыжка в обязательной программе. Андрианов «самостоятельно» из борьбы за титул абсолютного чемпиона, накалив и без того стрессовую атмосферу главного гимнастического турнира страны — практически единственного, куда раз в четыре года собираются действительно все сильнейшие.

Участие Андрианова (он доказал это в последующие дни, получая очень высокие оценки) в дележке медалей абсолютного первенства охладило бы пыл остальных: в спорте борьба за второе место не в два, а в десять или в сто раз менее горяча, чем за первое. Теперь вакансия освободилась, и я боялся, что наш юный герой еще найдет, прибавит, закусив удила, в естественном стремлении оторваться от соперников, и вот тут-то не выдержит, сорвется...

Но тот юноша, который на недавней тренировке был скучен, вял и ко всему безразличен, теперь, на соревнованиях, стал собранным, сосредоточенным и совершенно спокойным, словно и не подозревал о навалившейся после срыва Андрианова обстановке, словно и не чувствовал волевого напора своего преподавателя Клименко.

Первая команда, в которую входили и Клименко с Дитятиным, начала с вольных.

Шаровой молнией метаясь по коверу тугой, налитой силой Паата Шамугия, исторгнувший своим отчаянным трюмом пируэт вопль восхищения болельщиков.

Судья дали грузинскому гимнасту оценку, которая оказалась лучшей, — 9,3 балла (на тот раз судили не из 10, а из 9,4 балла, и добирать десятые доли балла сверх нормативных надо было включением особо сложных и оригинальных элементов).

Дитятин вышел на ковер после Шамугия. Контраст был велик: грозовое небо разрядилось, выглянуло солнце, побежали перистые облака. Тень на гладь. Однако не все гладко вышло — не задалось с пируэтом, два раза в досках не встал. Уж досочки у него лободорого смотреть: как влитой, приземляется, будто магнитом притянутый... не шелохнется. Бюмеханику доскока поставил ему Ярмовский, как опытный педагог ставит голос начинающему певцу.

И вот досочки, «фирменное блюдо», не выходят. В первом же виде не выходит...

9,15 получил Дитятин, 9,25 — Клименко. Расстояние между ними на шагок сократилось — до 0,575.

Но по коно Саша «ходил», как по Невскому или Летнему саду, без малейшей задержки, без единого сбоя, в безукоризненном ритме, словно прислушиваясь к различаемой только им одним во всем зале музыке. Он заработал 9,5 балла, Клименко — на две десятые меньше.

Кольца и опорный прыжок прошли без особых приключений и практически ничего не изменили: перед двумя завершающими снарядами — брусками и перекладиной — ленинградец опережал москвича на 0,825 балла.

Вышли на брусья. Ярмовский установил жерди на нужную ширину, подозвал ученика: «Как?» Дитятин примерился: «Нормально». И пошел с помоста, еще раз сказав: «Будет нормально».

Я смотрел на Ярмовского, когда Саша делал комбинацию на брусках, и, когда дернулся его кадык, понял: что-то случилось, что-то не вышло у Саши. Оказывается, он не вышел в стойку и на большее, чем 8,95, рассчитывать не мог. А Клименко отработал точнейко и, взяв 9,3, подобрался к Дитятину значительно ближе. Правда, их разделяло почти полбалла (0,475), по, казалось, юноша «попался», а опытный мастер только сейчас по-настоящему вошел во вкус той работы, что не для слабонервных.

Попал? Работы бы не так! Он крутил на перекладине не просто чисто, а лихо, с вызовом — не точку поставил, в конце, а восклицательный знак. И в результате у него лучшая оценка на последнем снаряде, лучшая сумма многоборья и звание абсолютного чемпиона шестой летней Спартакиады народов СССР. Спартакиады, посвященной тридцатилетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Шесть дней назад на торжественном открытии турнира Александр Дитятин от имени гимнастов страны произнес клятву быть достойными своих отцов, высоко нести знамя Победы.

В пресс-центре Дитятин сидел за столом рядом с Клименко и третьим призером — Федей Кулакисзовым из Днепропетровска и — светился от радости.

Чем вы недовольны в своем выступлении? — спрашивал мой коллега из Киева.

— На сегодня я всем доволен.

Потом тренеры — Ярмовский и наставник мужской сборной страны Леонид Аркаев — скажут о его слабостях, о том, что надо добавить в некоторые комбинации элементы высшей трудности, усложнить соскоки, — и он будет согласно кивать головой, а улыбка будет по-прежнему блуждать по его лицу.

В гимнастическом строю он стоит всегда на правом фланге: его 173 сантиметра — для гимнаста рост приличный. Еще четыре-пять сантиметров здорово бы осложнили ему гимнастическую карьеру. Глаза его называют в репортажах круглыми, а губы — пухлыми. О губах спорить не берусь, а вот глаза — совсем не круглые. Просто они всегда широко открыты, что придает его лицу выражение некоего постоянного удивления. Одна ироничная девочка, после того как мама, известный тренер по гимнастике, познакомила ее с Сашей, сказала о нем: «Родился, удивился и таким остался». Сказала с высоты своих девятнадцати лет.

Седьмого августа Саша находился в американском городе Миннеаполис, где вместе с другими ведущими мастерами нашей гимнастики участвовал в показательных выступлениях. И едва он закончил свою программу, диктор объявил, что сегодня ему исполнилось восемнадцать.

— Я даже испугался, — рассказывал мне Саша, —

когда весь зал вдруг встал и зашел. Я различал только свое имя: «Александр, Александр»... А американцы пели, оказывается: «С днем рождения тебя, Александр». Это у них такая традиция.

Он хвастался мне ковбойской шляпой, подаренной ему в Штатах, подробно пересказывал поразивший его фильм о гигантской акуле-людоеде, который завершается, впрочем, ко всеобщему удовольствию: погибающий человек в отчаянии швыряет в чудовище баллон с кислородом, потом стреляет, попадает в баллон, и акулу разносит взрывом в куски.

Как все-таки отражается на формировании личности Саши Дитяткина столь раннее приобщение к взрослой спортивной жизни и столь быстрый его гимнастический взлет? Ответить на этот вопрос я попросил Зинаиду Алексеевну Новикову — воспитательницу из спортивной школы-интерната на Выборгской стороне, где учился Саша. Сейчас он уже второклассник института имени Лесгафта, но Зинаида Алексеевна по-прежнему остается близким ему человеком.

— Понимаете, я не очень беспокоюсь, — говорит Новикова, — что Саша зазнается, зарвется, нос заде-

рет, — не такой он парень, не должен. У него душа хорошая. Добрый мальчик, искренний, к другому человеку чуткий, умеет другого слушать, чувствовать — понимаете? — сострадать умеет. Чистая душа. Не должен бы вознестись, залетев высоко, не должен. Но однажды слышу я по радио, как наш Александр выступает, вернувшись из Швейцарии с чемпионата Европы, и говорит между прочим: «Я хотел продемонстрировать на чемпионате Европы все свои лучшие качества...» Какие такие «свои лучшие качества»? Резануло это мой слух, резануло. Самого его я тогда не смогла увидеть, но свое неудовольствие через ребят, его товарищей, передала. Он почувствовал, что к чему, и, возвратившись из Америки, стал у меня допытываться: «Я снова интервью давал в «Спортивном дневнике», слышали? Ну и как? Правда ведь, говорил все нормально?»

А в завершающем репортаже с гимнастического спартакиадажного турнира, принадлежащем моему авторитетному московскому другу, было, кстати, сказано, что снимать фильм о Дитяткине не рано, а может быть, в самую пору.



«НАС НЕ ЗАБУДЕТ РУСЬ»

Когда я была маленькой девочкой, коллекционеры вызывали у меня какое-то особое благоговение. Рядом со мной жила юная особа, в изголовье постели которой висели пуанты Лепешинской: юная особа была балетоманкой. Позже я поняла пустоту ее увлечения. Потом я встречала вполне взрослых коллекционеров гобсековского толка, коллекционировали они достаточно профессионально, но только для себя и не слишком бескорыстно. Анатолий Георгиевич Кравцев — маляр из Брянска, уже двадцать семь лет работающий на сталометинском заводе и много лет собирающий реализм, связанные с именем Есенина, — вновь вернул меня к детскому благоговению перед коллекционерами.

Поначав, войдя в квартиру Кравцевых, я удивилась: где же коллекция, о которой написал в редакцию Анатолий Георгиевич? Трудно было поверить, что в небольшом старом шкафу хранится все его богатство: вырезки из газет и журналов, сотни фотогра-



Анатолий Георгиевич Кравцев и Лидия Ивановна Власова, первая учительница Сергея Есенина, живущая ныне в Брянске.

фий — известных, малоизвестных и практически неизвестных, письма, автографы, киноленты, пластинки, рисунки... Кравцев состоит в переписке со знаменитой Шаганз — Шагане Нерсесовной Тальян, актрисой Августой Асоян-Лави Миклашевской, которой Есенин посвятил стихи: «Заметался пожар голубой», «Дорогая, сядем рядом...», сестрой Есенина — Александрой Александровной, сыном поэта — Константином.

Почетное место в коллекции занимают книги и статьи с воспоминаниями о поэте, с анализом его творчества, на многих — дарственная надпись Анатолию Георгиевичу. Библиографический справоч-

ник трудов о Сергее Есенине упоминает и работу А. Г. Кравцева (об актрисе А. Л. Миклашевской в период ее работы в Брянском театре).

С чего началась эта коллекция, точнее, с чего началась потребность Кравцева коллекционировать? Вопрос этот, должно быть, так же прост и сложен, как один из вечных вопросов — с чего вообще начинается любовь и привязанность.

Анатолий Георгиевич любил Есенина с детства, отец его, старый брянский рабочий, был человеком образованным, имел в доме библиотеку. Анатолий Георгиевич хорошо помнит книгу Есенина в

Константину Симонову—молодому, красивому... 60-летнему—
сердечный привет от читателей и редакции «Юности»

Воздвигать себе памятник —
дело нелегкое это.
Я его воздвигал
под разрывы снарядов и мин.
Постаментом я сделал
железное тело лафета
В окружении черных
холодных носов субмарин.
Слух пройдет обо мне,
как солдат на победном
параде.
Впрочем, он бы прошел
без войны, без погон
и петлиц
Ну хотя бы за две —
до и после военных
тестсди,
За одну из пяти
неописанных мною странц.
Если трезво азглянуть,—
мне совсем не нужны
слухи эти:
Чтоб всяк сущий язык на Руси
о тебе громогласно кричал!—
Там начало конца,
где трещат без конца
о поэте.
Там, где искренне любят
поэта,— начало начал.
Почему ж мне так грустно?..
Стихи обрывались на этом.
Видно, тот, кто писал,
потерял вдруг к стихам
интерес.
И, поскольку ему
надоело быть только поэтом.
Он давно перешел
К написанию романов и пьес.



Дружеский шарж П. ОФФЕНГЕНДА.

милой обложке. Война помешала ему получить образование, и с годами увлечение коллекционированием помогло ощутить истинную сопричастность к искусству.

Свою любовь к искусству А. Г. Гранцев передал сыновьям. Старший его сын недавно окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и стал художником-постановщиком, младший — учится там же.

Страстную любовь к поэзии Есенина Анатолий Георгиевич передал не только своей семье. Он постоянно выступает в школах, домах культуры, клубах. Вот один из отзывов. Преподаватель литературы Р. Пашкова писала в заводской многотиражке: «Более двух часов находились мы в плену интереснейших фактов, собы-

тий из жизни поэта, казалось, что мы побывали рядом с Есениным. Нельзя было без волнения слушать рассказ Анатолия Георгиевича о посещении им первой учительницы Серге Есенина — Лидии Ивановны Власовой».

— Знаете ли вы других собирателей Есенинианы? — спросила я Анатолия Георгиевича.

— Знаю. Один из них — москвич — он недавно умер — совершил просто подвиг. Он «расписал» всю жизнь Есенина по дням...

Когда я совсем уже собралась уходить, Анатолий Георгиевич показал мне посмертную маску Есенина, и в его взгляде ярко вспыхнула трепетная преданность поэту. И я жалела, что не произнесла в тот момент вслух есенинское: «Мы умираем, сходим в тишь и

грусть, но знаю я — нас не забудет Русь». Жалко, потому что гостеприимный хозяин дома, скромный человек, профессия которого не имеет никакого отношения к литературе, по-своему помогает сбываться есенинскому пророчеству.

Обладателям ценных коллекций да, видимо, и всем нам небесполезно помнить слова философа: «Для меня нет интереса знать что-либо, хотя бы и самое полезное, если только я один буду это знать. Если бы мне предложили высшую мудрость под непременным условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался».

Галина НИКУЛИНА



В. ДЖАЛАГОНИЯ

У вас есть знакомый компьютер?

(Диалог на страшном нерве)



— Ну, нетерпеливо спросила мама, едва открыв дверь, — узнала, кто будет физику у Юрика принимать? — Да, дорогая, узнала. Компьютер.

Мама наморщила лоб, на котором в канун приемных экзаменов в вузах появилось немало новых бороздок.

— Постой, постой! Я определенно где-то слышала эту фамилию. Этот Компьютер не родственник Бориса Георгиевича?

— Вряд ли. Скорее его «Жигулей», да и то очень далекий. Дело в том, что компьютер — это машина.

Мама помолчала, беря себя в руки, и спросила очень вежливо, но на страшном нерве:

— Милый, ты что, считаешь меня идиоткой?

— Нет, почему же, — осторожно сказал папа. — Я ничего такого не говорил.

— Тогда как же ты хочешь меня уверить, что физику у Юрика будут принимать «Жигули»?

— Кто тебе говорил про «Жигули»? — взвился папа, и в комнате раздавалось негромкое гудение. Это завибрировала его первая система. — Я тебе говорил про компьютер. А компьютер — это такая машина, такой электронный экземпляр, такая ЭВМ, такой большой-большой арифмометр! Понятно? Мама поджала губы и до самого ужина их не разжимала.

— Ну, хорошо, — сказала она уже за чаем. — Пусть арифмометр. Но скажи сразу, ты берешься найти к нему ход или, как всегда, свалишь это на меня?

Папа поперхнулся и долго-долго откашлявался.

— Ты понимаешь, что говоришь? К кому я должен искать ход? К компьютеру? К этой железяке?

— Да, — твердо сказала мама, —

к этой железяке, если эта железяка будет решать судьбу нашего Юрика.

Гудение усилилось. Если вначале паники нервы издавали не лишенный мелодичности звук случайно потрешенной скрипичной струны, то теперь вступил контрабас. Это как минимум.

Но мама ничего не слышала. В ней тоже что-то гудело.

— Любопытно, как это ты себе представляешь — дружеский контакт с электронной машиной? Может, мне ее в ресторан пригласить?

Мама саркастически усмехнулась:

— Ну, конечно, ресторан — это первое, что пришло тебе в голову! Если захотелось выпить, так и скажи. Зачем прятаться за спину машины?

— Ну, а ты-то, ты-то что предлагаешь?

— Да мало ли что! Ну, проявить элементарное внимание, ну, подарок сделать, презент, сувенир какой-нибудь...

— Для чего машине сувениры? Можешь ты мне это объяснить?

— Ну, не сувениры, так запчастки. Все владельцы машин, которых я знаю, только тем и занимаются, что достают для них запчастки. Могут же понадобиться компьютеру какие-нибудь дефицитные детали — катод, анод, электрод — я знаю... Ну, пол-литра машинного масла высокой очистки он может взять, этот твой электронный приятель!

Папа застонал и стал рвать на себе волосы. Их было не очень много, и делать это приходилось с разумной экономией.

Мама щелчком аккуратно стянула паники волосы в совок и поставила вопрос ребром:

— Ты мне прямо скажи, Юрочка — твой сын?



Папа побегал в ванную и запер дверь изнутри. Он включил холодный душ и, язвзя зубами, стоял под ним до тех пор, пока не стал совсем синим и пупырчатым...

— Что я говорила! — с торжеством сказала мама на следующий день, который был целиком заполнен сложными телефонными переговорами. — Он действительно его родственник!

— Кто? — слабым голосом спросил папа.

— Борис Георгиевич.

— Чей? — еще тише спросил папа.

— Компьютера.

Папа больше ничего не спросил. Он только с тоской посмотрел в сторону ванной.

— Ясное дело, не самого компьютера, а того, кто за ним присматривает. Как он называется — оператор, что ли? Он женат на золовке жены Бориса Георгиевича со стороны ее первого мужа и согласен нам помочь. Так что доставай подфарник и задний мост.

— Я и не знал, что у компьютера есть фары и задний мост, — сказал папа, начисто утративший способность удивляться.

— Это не для компьютера, а для Бориса Георгиевича, — спланировав, как ребенку, объяснила мама. — И еще надо Булгакова и Ивана Во.

— Вот не думал, что Борис Георгиевич Булгаковом увлекается! — Булгаков и Во — для оператора, того самого, мужа золовки жены Бориса Георгиевича со стороны ее первого мужа. Он очень зрелый молодой человек.

— А для самого компьютера ничего не надо? — кратко поинтересовался папа. — Я спрашиваю, потому что боюсь чего-нибудь упустить.

— Для компьютера не надо, он железный.

— Можно еще один вопрос, родная? Просто в порядке самообразования. Как он, собственно, намерен действовать, муж золовки жены Бориса Георгиевича со стороны ее первого мужа? Научит компьютер писать шпаргалки?

— Что ты, что ты! Со шпаргалками сейчас очень строго. Он просто так запрограммирует машину, что она все время будет зажимать Юрочку «отличник». Понял?

— Понял, — сказал папа и побрел в ванную, заранее язвзя зубами...

Безупречно спланированная операция «Компьютер» сорвалась в самый последний момент по причине настолько вздорной, что о ней в век НТР и говорить как-то нельзя: Булгакова достать не удалось.



ДУТЯ ТОР

Рисунок М. ФЕДОРОВА.

Он спускался с неприступного ледника, с горных вершин, на которые еще не ступала нога альпиниста. Шерсть покрывала его могучее тело. Через плечи была переброшена наследственная шкура, сорванная некогда ликим предком с натурального мамонта. Острые когти босых ног держали его на склонах надежнее металлических «кошек». Игравочи, он перепрыгивал через зияющие пропасти и трещины, как через лужи.

Кончились льды. Так далеко он еще никогда не заходил, разве что воровать овец... Но сейчас ему было не до них. В его доисторическом черепе впервые за 500 лет мелькнула мысль. Что было этому причиной — украденный ли у альпинистов транзисторный телевизор, опостылевшее ли одиночество (все его сородичи уже давно вымерли), — сказать трудно. Но эта появившаяся неизвестно откуда мысль встревожила его несознательное бытие и погнала к людям.

Чабан, должетитель Ибрагим, пристально разглядывал пришель-

ца. Много разных туристов повидал на своем веку старец.

— Хиппи — шайтан! Стиляга — шайтан! — сурово осудил его Ибрагим. — Овца такой турист видит — пугается, худеет, колхоз план не выполняет. Хиппи — шайтан!

К вечеру он спустился до высокогорного кафе. И тут он увидел ее. Ту, кем часто сбивался на экране украденного телевизора и по ком тоскливо выли ногами.

Покачивая бедрами, туго обтянутыми эластиком, она подплыла к нему. Нежная и белая мечта стояла рядом и держала в зубах белую косточку. Только протяни руку... Ему стало так хорошо, как будто он месал спину о камни. Расчувствовавшись, ласково заурчал.

— Пойдем отбежим, что ли? — небрежно бросила мечта, выплевывая белую косточку.

Вдруг изо рта ее повалил дым...

С жалобным визгом выскочил прищелк из кафе и на четвереньках поспалал вниз от огненной мечты, пока не достиг разницы, заостренной каменными корнями. С перепугу он вскочил

в одну из них и — надо же так случиться! — сразу попал прямо в квартиру небезызвестного этнографа профессора Закутарова, одного из немногих научно верующих в существование «снежного человека». Закутаров в данный момент творчески хралел на своей железной кровати.

Отдышавшись, беглец подошел ближе и стал разглядывать спящего. Он часто видел его в горах. Этот бородач печально бродил по вершинам, словно что-то там потерял.

Закутаров перевернулся на другой бок и промучал: «Где же ты, алмасты, отзовись... Хр-р!»

— Ал-м-ы-а-с-т-ы! — заревел алмасты.

Профессор широко раскрыл глаза, посмотрел на волосатое чудовище и закричал:

— Перестаньте меня разыгрывать! Я уже сыт по горло такими шуточками! — Он ткнул в стенку пальцем, и тысяча солнц осветила пришелицу. — Я вас узнал! — еще громче закричал Закутаров. — Вы мой теоретический противник Петров! Вы не верите в существование снежного человека. Вон отсюда!!!

Алмасты быстро юркнул под кровать.

— А ну-ка выходите, поговорим по душам... — Закутаров встал, прошелся по комнате и угрожающе скрипнул бицепсом.

Гость, привыкнув к свету, поднялся, выпрямился во весь рост с железной кроватью на могучих плечах.

Закутаров сразу же успокоился. Между хилым Петровым и этим волосатым атлетом с фантастической мускулатурой не было ничего общего.

— Садитесь, пожалуйста, — вежливо сказал Закутаров, с опаской поглядывая на него.

Алмасты, ежедневно общаясь с украденным телевизором и слушая песни альпинистов, привык к человеческой речи и сейчас тонким чутьем, доставшимся ему в наследство от предков, понял, что его не будут бить и что этому бородатому коротышке можно и не проламывать череп. Дружелюбно рыча, не снимая кровати с плеч, он сел на пол.

«Наверное, какой-нибудь спортсмен пьяный заблудился!», — подумал Закутаров.

Пришелец перестал грызть кровать. В его черепе снова зашевелилась мысль.

— Шайбу! — заревел он. — Ну, заяц, погоди! Штирлиц! — изрыгал он слова, заученные из телепередач. — Пан Зюзя! Елена Вели-

канова! Люблю! — и запел мелодию, которой в программе «Время» сопровождается сводка погоды.

«Что за бред! Ну и видик у него!...» думал ученый, присматриваясь к прищелкнутому вниманию. — Череп, шкура, клыки... Очень напоминает мой эскиз снежного человека, который так бессовестно высмеял Петров на ученом совете. Все-таки это его проделка. Подговорил какого-нибудь штатгиста переодеться, а сам с друзьями под окном со смеху закатывается. Не на того напали!..»

— Так, значит, кто вы? — ехидно спросил алмастодед.

— Ал-маа-сты-ы-ы!

— А почему не Юлий Цезарь? Алмасты молчал.

— То-то. И поставьте кровать на место! Не в цирке!.. А Петрову вашему передайте, что я на такие штучки не клюю! Пусть он так своих аспирантов развлекает. А вам должно быть стыдно! Не вид такой интеллигентный человек...

«Интеллигентный человек», раскрыв клыкастую пасть, возмущенно слушал профессора.

— Курить будете? — спросил Закутаров. — И правильно делаете, что не курите. Здоровье сохраните...

Мифический житель гор с ужасом наблюдал, как этот человек засунул себе в рот белую косточку, которую он уже сегодня видел у своей белокурой мечты, как взял в руки маленькую коробочку, из которой вдруг выскочил огненный язычок. Врзев, снежный человек отшвырнул кровать и выпрыгнул в окно.

«Странный юноша, — подумал профессор, — наверное, стыдно стало...»

Алмасты мчался по горам со скоростью легкового автомобиля, обгоняя ползущих на подъем альпинистов.

— Хау экспрессиво! Браво-брависсимо! — восхищались иностранцы.

— Вот пжикн! Заслуженного захотел получить! — возмущались местные инструкторы.

...Через неделю на снежном склоне был обнаружен необычайный след босой ступи. Закутаров срочно вылетел к месту находки. След был удивительно похож на его эскиз ступи снежного человека.

Через день эта сенсация облетела весь мир.

г. Нальчик.

ИЗ ПИСЕМ ШКОЛЬНИКОВ В ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Я живу и учусь во втором классе.

Здравствуйте! Я не знаю, к кому попаду в руки.

...но я уже добарываюсь со своим характером.

Ваша книга устроила целую бурю в моих чувствах.

Мне эту книгу подарили за активную участь в работе кружка юннатов.

И вот я решила написать письмо в редакцию. Это первый шаг в моей жизни!

Мой возраст 1 метр 24 см.

Я хожу на дрессировочную площадку. Правда, я там занимаюсь одна, так как Рекс дворняжка и его туда не берут.

Иногда на меня нападает чувство писать.

Мне очень нравятся книги для животных.

Есть у меня подруга Таня. Мы с ней делимся всем, но почему-то она мне жалеет худшего, а я ей лучшего.

Дорогие выпускники интересных приключений!

Прощу писать отзывы о моих плохих стихах.

Мне почему-то нравится Печорин в делах любви. Я сама хочу походить на Печорина в любовных делах, и это мне удастся.

Старать иметь ружье оказывает мной каждый день.

Мы живем четвергом: мама, мама, бабушка и я. Не вредно ли будет ценку общество столько любя?

Собрала сотрудник отдела писем Центрального Дома детской книги Татьяна Ефремова.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Евгений БОРИСОВ. У костра. Рассказ 2

Юрий МАСЛОВ. Уроки музыки. Рассказ 9

Алексей КАПТЕР. Восьмой. Рассказ 17

Николай ЛЕОНОВ. Явка с повинной. Повесть. Продолжение 31

ПОЭЗИЯ

Владимир КОСТРОВ. «...И поворот, и сердце
скалось...». «Я вспоминаю, словно поми-
наю...». Баллада о Вахше 15

Олег АЛЕКСЕЕВ. «Видю хмурое поле боя...».
«Меж светлых берез подмосковных...». «Оль-
ха цветет — зеленым дымом...» 16

Виталий КОРОТИЧ. Читая Ленина. Перевод
с украинского Е. Храмова 29

Алексей ДАДЬЯНОВ. «Лучшее, что было, сбере-
гу...». «Мы едем шагом. Свет луны...» 29

Борис ДУБРОВИН. «Принимались все ко дну
траншеи...». «Старшина прокричал мне, стре-
ля...». Баллада о красных ягодах 30

Григорий ПОЖЕНЯН. Беседы с сыном. «Топчи,
топчи свой след, Авдей...». «— Что вы сказа-
ли?...». Круги 83

Людмила ЩИПАХИНА. Самолету 84

Семен ДАНИЛОВ. Дороги. Молодости. Перевод
с якутского И. Фоякова 84

Владимир РЕЦЕПТЕР. «Пусть весело тикают на-
ши часы...». «Веселым дьяволом влюбиться
е гости к вам...». «Присядь на колени ко
мне...». «Мне снилось, что не брошено пись-
мо...». «Оставь меня на крайний случай...».
«Ты заметишь, как чайка сарлива...». «Актри-
са пола песни Беранже...» 87

Александр ГОРКИН. Друг и наставник моло-
дежи (К 100-летию со дня рождения
М. И. Калинина) 58

КРИТИКА

Игорь ЗАБЕЛИН. Книги о путешествиях и путе-
шественниках (Дневник критика) 63

Круг чтения. Маленькие рецензии и
аннотации 70

Николай ПИЯШЕВ. А. В. Луначарский: «Бо-
роться, творить... всю жизнь» (К 100-летию
со дня рождения) 72

Владимир ОГНЕВ. Из черногорских заметок 73

Юрий ЦИШЕВСКИЙ. Школа мастерства (К на-
шей вкладке) 81

ПИСЬМО НОЯБРЯ

Лариса СТРЕЛЬЦОВА. Разве я неправа? 85

Сергей ЛЬВОВ. Стыдно быть Митрофанушкой 83

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр ДАНИЛОВ. Испытание (Сильные
духом) 97

Марк ГРИГОРЬЕВ. Есть дорога! (Руку, това-
рищ строитель!) 100

НАУКА И ТЕХНИКА

Галина ТОРЖЕВСКАЯ. Познаваемый и воспи-
тательный Homo sapiens 103

СПОРТ

Алексей САМОЙЛОВ. Взрослая жизнь Саши
Дитятина 107

ЗАМЕТКИ

И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Галина НИКУЛИНА. «Нас не забудет Русь» 107

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

В. ДЖАЛАГОНЯ. У вас есть знакомый ком-
пьютер? 109

Василий ТРЕСКОВ. Дитя гор 110

Из писем школьников в Дом детской книги 111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Редакционная коллегия:

29 А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
29 В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
30 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
83 К. Ш. КУЛИЕВ,
84 Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
84 С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

Технический редактор
С. И. Суровцева.

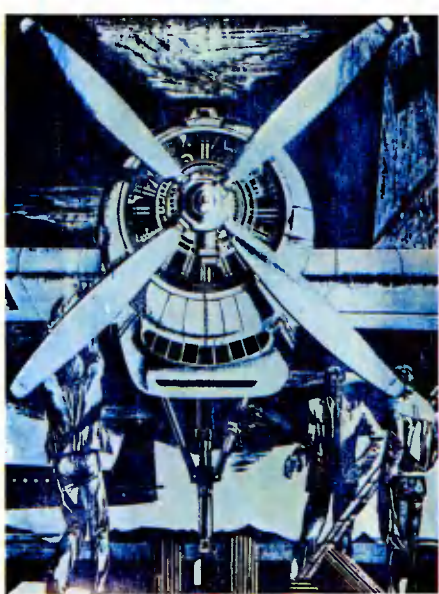
На 1—4-й стр. обложки
рисунок К. БОРИСОВА.

73 Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6.
Улица Горького, № 32-1.
81 Телефон редакции: 251-32-83.

85 Рукописи
не возвращаются.

83 Сдано в набор 26 VIII 1975 г.
А 13055.
97 Подп. к печ. 13/X—1975 г.
Формат 84×108^{1/16}.
100 Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 600 000 экз.
103 Изд. № 2517. Заказ № 1071.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина,
125865, Москва, А-47, ГСП,
уд. «Правды», 24.



В. ЯКУШИН. Перед ночным вылетом.

К 25-летию
мастерской плаката
Московского художественного
института имени В. И. Сурикова.



В. РЫБАКОВ, В. ЧУМАКОВ.
Деталь панно «Вперед к коммунизму».



Р. ВАРДИГУЛЯНЦ. Конкурное поле.
(автолитография).



И. БОЛЬШАКОВА. На озере.
(автолитография).